



НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

№ 8
2026

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ЭССЕИСТИКА

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

Литературно-художественный
альманах
№8

Berlin, 2026

Главный редактор

Андрей Гущин
korypheusb@gmail.com

Зав. отделом переводов

Валя Чепига
gilgamesh.translation@gmail.com

Редакционная коллегия

Дмитрий Бобышев
Наум Вайман
Алла Дубровская
Александр Моцар
Олег Федоров
Татьяна Ретивова
Ирина Машинская
Александр Спренцис
Татьяна Бонч-Осмоловская
Борис Марковский

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

ISBN 978-1-291-62207-2

© Новый Гильгамеш, 2026



9 781291 622072

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	7
--------------------	---

ПОЭЗИЯ

Ирина Иванченко (Киев). «Есть ли в небе кто живой?..»	11
Яна Кане (Мэдисон, США). Элементы	19
Мила Машнова (Харьков). Золотое сечение	28
Илья Бронштейн (Нью-Йорк). «Слишком сыро сегодня...»	34
Марья Васильковская (Киев — Ирландия). Большая игра	43
Александр Мельник (Львж). Гобелен дождя	61
Леонид Блюмкин (Гамбург). Старинные портреты	67
Геннадий Каневский (Холон). «похоже что мы дали кругалю...»	71
Валерия Демидчик (Минск). Бессмертие	82
Александр Спренцис (Киев). Дзенское чаепитие	88
Мишель Финк (Париж). Из сборника «Выход в море» Перевела с французского Валя Чепига	95
Эфрат Мишори (Тель-Авив). Цветок, который вспыхнул на минутку Перевела с иврита Гали-Дана Зингер	105
Нюргун Боотур (Внутренняя Монголия). Охтуган. Якутская поэма	110

ПРОЗА

Леонид Поторак (Прага). Конец странной гвардии	131
Андрей Гуцин (Киев). Герой без романа	168
Алла Дубровская (Нью-Йорк). Тиберий на Капрее	204
Мирон Карыбаев (Алматы). В степи пусто. Роман	233
Александр Айзенберг (Одесса). Из книги «Опьяненные властью» ...	295
Залман Шмейлин (Мельбурн). Бердянские были	314
Григорий Вахлис (Иерусалим) Худхуд	361
Татьяна Титова (Киев) «And one day closer to death»	372
Валя Чепига (Страсбург). Гамовер	392

IN MEMORIAM

Наум Вайман (<i>Холон</i>). Бесстрашие беспомощности	397
Владимир Верлока (1974–2023). Сонеты.....	415
Борис Юдин (1949–2023). Вместо биографии.....	429

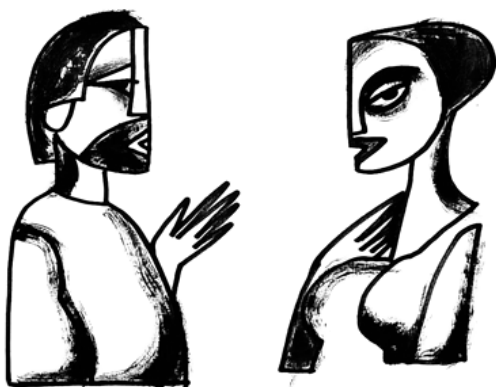
ИЗО

Пинхас Фишель (<i>Париж</i>). «Мегилат Эстер» в стиле «Ар деко»	441
---	-----

ОТ РЕДАКТОРА

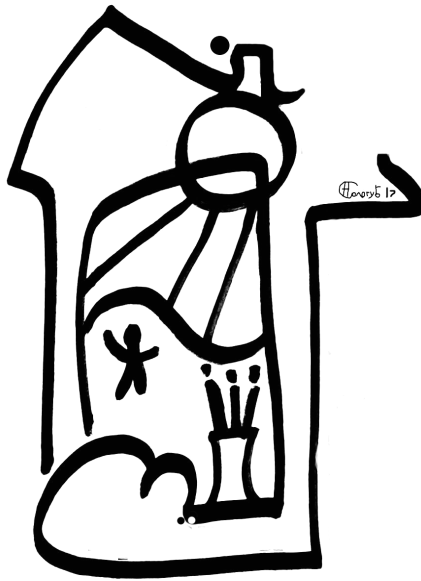
Война доконает постмодернизм и гендерные пазлы. Смертельная опасность отрезвляет лучше антиполицая. Прилетит КАБ, задвухсотит товарищей, а ещё парочку затрехсотит, и будут они стонать, истекая кровью. А на помощь им никто не рыпнется, потому что вот над головой, как потревоженный пчелиный рой, гудит смертушка, перед лицом которой все встаёт на свои места — и пол, и язык. Куртуазные издевки больше не пленяют. А молитва, неизвестно из какого уголка сознания выплывшая, сама просится на язык. По небритым щекам текут слезы благодарности — на сей раз пронесло!

Андрей Гуцин





ПОЭЗИЯ



Ирина ИВАНЧЕНКО

(Киев — Нордвальде)

* * *

Есть ли в небе кто живой?
Я сниму ничейный угол.
Между морем и землей
пришвартован Мариуполь.

Чайки спят крыло к крылу
на продавленном причале.
— Я сегодня не умру, —
говорю себе ночами.

Чайкам, спящим у воды,
снятся родовые гнезда.
Наши галочки следы
заметает хвост обозный.

То ли тесно меж людьми,
то ли мы родимся позже,
то ли маятник любви
покачнется в нашу пользу...

Смерть краснеет на юру,
жизнью поймана с поличным.
Говорю себе привычно:
— Я сегодня не умру.

* * *

Воришка, душа, побирушка,
над самой твоей головой
кормушка, она же ловушка,
для падких на хлеб дармовой.

Цикуту глотай за цикутой,
богачка, церковная мышь,
воруя у счастья минуты,
не ведая, что натворишь.

Не месяц — ухмылка слащавая
блестит, освещая дома.
Глядишь, как темнеет, сгущается,
и вдруг замечаешь: зима.

Деревья, по Брейгелю черные,
стоят по колено в снегу.
Смотри, как поземку проворную
сугроб стопорит на бегу,

как в чашке, прихваченной инеем,
к утру цепенеет вода...
Все минет, как сумерки длинные
в голодных, бесплодных годах.

За то, что вполсилы горела,
едва ль оправдаешься ты,
раз не было слов для согрева,
участия и доброты.

Ни корма не нужно, ни зрелища,
но стой, как стоишь, на своем
за всех в эту зиму болеющих
и всех, переживших ее.

Затем ли глядящие в оба
из горних, блистательных сфер
спускают на землю хворобы,
чтоб ты посмотрела наверх.

Ни корма не нужно, ни зрелища,
но будь милосерден сейчас
ко всем, ни о чем не жалеющим,
и к прочим, жалеющим нас.

* * *

Отгудела сирена, но длится пожарный вой,
запуская иной, разъедающий душу зуммер.
Этот грохот — он есть или чудится? Кто живой —
отзовись и скажи, что никто из друзей не умер.

Когда он заискрит — тот божественный свет в конце,
попрошу тишины и еще, и еще тишины,
оттого что сетка морщин на моем лице
повторяет сегодня карту моей страны.

По утрам зашиваешь себя словно рваный шов,
в каждой морщине — воронка расцветки хаки,
и подходишь к зеркалу, чтобы узнать — во Львов
прилетело ночью или бомбили Харьков.

Впереди зима, а запаса особо нет,
и голодные птицы, как дроны, летают низко.
Обесточен дом, но еще остается свет
изнутри и его хватает на самых близких.

И когда он войдет — побеждающий мрак — в проём,
я скажу — спасибо, Боже, что шли вдвоем,
оттого что сетка морщин на лице моем
повторила карту боев.

* * *

Ласточки мечутся, может, они обезумели,
криком вещуя и крыльев своих не щадя.
Киев живет по Кабанову: все мы не умерли,
дети играют на детских его площадях.

К августу листья до теплого хаки рыжеют,
пряча птенцов человеческих, прочих комах.
Встали деревья, подняли стволы оружейные
и маскировочной кроной закрыли дома.

Кажется, все, как и прежде, и все слава богу,
разве что чаще по встречной конвой и дозор.
Ласточки мечутся перед воздушной тревогой.
Прежде вот так же метались перед грозой.

* * *

В земном тепле, в плацкартной дольче вита
мне снится, если выдохнусь на час,
что где-то бродит дом, как пес побитый,
из всех щелей выглядывая нас.

Наука бегства, опыт выживания,
удавкой затянулась простыня,
мне снится: каждый выстрел в мирозданье —
прямое попадание в меня.

Летит вагон над тучею косматой,
дежурный свет командует отбой,
а дочь моя рисует дом крылатый
и крышу с покосившейся трубой.

Еще гоняет мяч команда зондер,
а дочь рисует пальцем по стеклу
огонь, вагон и дом на горизонте,
летающий следом в тлеющую мглу.

Летит обоз, в корзинах плачут дети,
Мадонна держит небо на весу.
Мы всюду дома, где на час приветят,
где чашкой чая нас не обнесут.

О, сколько нас, упавших в эту реку.
Пока бегу, я все-таки живу,
любя, как подобает человеку,
но видятся — во сне ли, наяву —

калашный ряд, ночные аты-баты,
колонны, уходящие во мглу,
где дочь моя рисует дом крылатый
и ветер, пробежавший по стеклу.

DE PROFUNDIS

Есть то, чему названья больше нет.
Есть дом без дома. То, что было нами.
В прихожей все еще мигает свет,
а кухня догорает под ногами.

Не смей молчать.
...Там кружка горяча...
Скажи: «я здесь» — и я услышу дальше.
Неровный свет и неразрывный чат
с одним из многих заживо пропавших.

Мы ближе, чем.
Воззавший из глубин
к тебе своими страшными стихами,
там человек, и может не один.
Там все еще кровит и истекает.

Там чья-то жизнь становится ничьей.
Впадает молча в млечный и медовый,
на картах не отмеченный ручей,
в лугах Господних, в трех шагах от дома.

О тех, по ком звонят календари.
Что будет завтра, помнят только птицы.
О том, что плачет у тебя внутри
под грудкою словесной чечевицы.

О том, чему названья.
Говори
за тех, кто будет жив прошедшим летом.
За чью-то жизнь, которая внутри
тебя горит неровным ближним светом.

ОДИССЕЙ

Виктории Наумчук

Золотистого меда...
О. Мандельштам

Что от земли — то свято, а ты не верил
в чудо березы, мяты, буркун и клевер.
И, проглотив Гомера, как все, превратно,
ты прошагал полмира. Пора обратно.

В малой твоей Итаке, в полдневном звоне —
дети, шмели, собаки, коты и кони,
утки, стрижи, цесарки, конца долинам
нет в медоносных царствах, в краю пчелином.

Вишни плодятся, и чинно взрослеют грядки.
В сонной твоей Отчизне не все в порядке.
Жарко пылают маки, а зелень — чахнет.
В знойной твоей Итаке грозой не пахнет.

С мая мельчает Смош при сухой погоде.
Что же и ты, как дождь, стороной проходишь?
Донник, всем травам сотник, других лаская,
не по тебе ли сохнет, как Навсикая?

Родина за версту неподвластна глазу.
Нет, не Европа, ту не любил ни разу.
Берег без доброй влаги былые сковало.
Мы по тебе, бродяге, истосковались.

Ветры степные рыщут. Брешь — в частоколе.
Зря молодые ищут калганов корень.
Слег сенокос без мужа в яру разлогом.
Ты возвращайся, друже. Нужна подмога.

В теле твоём — свобода, в тепле овечьем.
Мы молоком и медом тебя подлечим.
Все заблужденья слуха, что сладко манят,
выбьем полынным духом в казацкой бане.

Что тебе в тех магрибах, сезамах, польшах?
Будем любить до гроба, а может, дольше —
до сотворенья мира, в приречных кущах
будем читать Гомера на сон грядущий.

* * *

в этом пряничном кукольном где-то на севере где-то
мы как гости непрошены не по погоде одеты
пролетев над полями и Бучами всеми Европами
мы не птицы завидев зерно только крыльями хлопаем

и десятки и тыщи за нами по беглому следу
наши дети уже не играют в войну и победу
и пока разбивает гнездо недобитая стая
наши дети еще не живут но уже не играют

каждый сам по себе на постели чужой а на деле
это сотни сердечек в одном обнулившемся теле
и на теле страны мы зияем как общая рана
и по стенкам сосудов стекает вода из-под крана

наше тело из глины а души как тени бескровны
но терновник и лавр обнялись за оградой церковной
здесь токкатой и фугой начинается месса вечерняя
мы обнимем друг друга слова потеряли значение

наше тело смахнули не глядя с гончарного круга
наше общее дело держать не теряя друг друга
в этой стыдной тоске в стадных поисках крова и пищи
оттого что любовь своего и чужого не ищет

оттого что любовь милосердствует и согревает
мы обнимем любого кто прибыл из ада и рая
очагом для него якорями его парусами
оттого что последняя родина это мы сами

оттого что не пыль перекатная пепел залетный
нас любовь выбирает из прочих детей и животных
и родная земля под ногтями и небо на блюде
оттого что не пепел а все-таки все еще люди

Яна КАНЕ

(Мэдисон, США)

ЭЛЕМЕНТЫ

Геоцентрическая космология Аристотеля включала предположение, что вокруг центра Вселенной расположены последовательно сферы четырёх элементов в порядке уменьшения их тяжести — земли, воды, воздуха и огня; выше их расположены небесные сферы.

Из Википедии

1. Недра

В недрах, в сумеречной пещере,
Густ медвежьего логова дух.
Там не логика, и не логос,
И не зренье, а ощупь и нюх
Постигают древние корни,
Познают первозданный секрет,
Без которого ни разуменья,
Ни прозренья, ни логоса нет.

2. Сообщающиеся сосуды

Через кровь вода проходит и через лёд,
Помнит и соль пучины, и облака лёт,
Сплетаёт в толще молчания сеть корней,
Беззвучно друг с другом шепчущихся на дне,
Где, кажется, нет ни движенья, ни счёта дней.
Где, кажется, неколебима твердыня камней.

Вода размывает стену меж «да» и «нет»,
Встречает мрак отраженьем и радугой свет.
Поит весенним небом земную грязь
Сообщающихся сосудов живая связь.

3. Зимородок

В мире не так уж много птиц,
нуждающихся сразу в трёх стихиях —
водной, земной и воздушной.
Зимородок — из таких.
Из Интернета

Зимородок,
Весёлый маленький франт,
Бесстрашный ныряльщик
С земли в воду,
Из воды в воздух,
Недолговечныйловец
Серебряных рыбок,
В твоём клюве
Трепещет моя душа.

4. Игра в бисер

Из речи зачерпывать пригоршни слов и созвучий
И капли нанизывать на паутинные сети —
Двойник, антипод, собеседник, у этих излучин
Так в бисер играть мы учились с тобой на рассвете
И мнили, что день бесконечен, что мы неразлучны.

Давно, так давно... но сплетения зыбкие эти
Сверкают в закатных лучах среди сонных соцветий.

А всё остальное лишь судеб развилка, лишь случай.

5. Сад

Я хочу, чтобы все вошли в рай.

Тата Гаенко

Смертному в смерти не усомниться.

До золы, костёр, догорай.

Моя душа не умеет молиться

И не ищет дороги в рай.

Но если ты за меня попросишь,

Буду рада молитве твоей.

Пусть из забвенья на миг возвратится

Имя моё. На твоей странице

В дальнем саду быстрой тенью птицы

Промелькнёт за сплетеньем ветвей.

ДУША

Триптих

1. Тайком от разума

Сквозь шум и хаос,

Задыхаясь и спеша,

Расслышишь

И признаешь понемногу,

Что молится озябшая душа

Тайком от разума

Низверженному Богу.

2. Прозрение

Душа, не верящая в Бога, —

Нагая, смертная душа.

Её не манят песни рая

И муки ада не страшат.

Ей некуда нести молитвы:

Смиренье, благодарность, лесть.

Она в пути своём бездомна.

Ей сострадание и честь
В ненастье служат маяками.

Она живёт в последний раз.
И пусть прозреньем озарится
Весь путь её в предсмертный час.

3. Свобода

Душа печальна и пуглива,
Нежна, насмешлива, беспечна,
Мудра, бесхитростна, лукава.

Со смертным телом неразлучна,
С ним смертна.

Век свой быстротечный
Познав, приняв, она свободна,
Светла, неповторима, вечна.

ДАРЫ ЗВЕЗДОЧЁТА

(памяти Елены Касьян)

1. Слова

Крыши присыпало снегом, как стрептоцидом.
И кажется, что вот-вот всем должно полегчать.

Елена Касьян

«Крыши присыпало снегом, как стрептоцидом.
И кажется, что вот-вот всем должно полегчать».
По ниточке этих слов я карабкаюсь к дальнему свету.
У них я учусь стихами не говорить, а молчать.

2. Хлеб

...у памяти не было веских причин
нас кормить от души воробьиным усушенным хлебом...

Елена Касьян

Без крошек птичьего хлеба
В сытости нет утоленья.
Асфальт городской был бы мёртвым,
Если бы не воробьи.
Душа благодарна за россыпь
Воробьиного угощенья —
Слова любви и печали,
Простые строки твои.

3. Метель

Смотри, как перевозят снег
В небесной лодке...

Елена Касьян

Небо придумывает снежинки —
Созвездия, рои, кружевные вихри
Бессчётных танцовщиц, мотыльков, соцветий.

У каждой, у каждого есть миг рожденья,
Свой путь, своё место, своя кончина,
Заветное, неповторимое имя,
Строка на тайных, вечных скрижалях.

4. Свет

Мы войдём в этот свет, в этот год, в этот белый предел...

Елена Касьян

На обледеневшей крыше
(О, как высоко, как страшно!)
Звездочёт разгребает,
Как первый снег, облака.

Приподнявшись чуть выше,
В ладонь собирает неспешно
Созвездья... Не оскудевает
Дарящая звёзды рука.

КРУГ

Что же, любовь, всё зовёшь ты, всё ищешь
То в небе своё божество, то в толпе?

Алхимик, школяр в фолиантовой чаще,
Усталый паломник на горной тропе,
Пути не найдёшь, не услышишь ответа
И тень не поймаешь, лови не лови.

Нет тайны иной, нет источника света
Иного, чем тот, что трепещет в любви.

НЕТ ТАК НЕТ

Нет так нет, нет так нет.
Звук стихает. Меркнет свет.
Спотыкается, плутает,
Исчезает чёрный след.
Небо землю укрывает,
Подтыкает толстый плед,
Стелет, стелет первый снег.
Нет так нет, нет так нет.
Замедляется дыхание,
Время замедляет бег.
Сон наркотный, кокон, мантра,
На семь бед один ответ:
«Нет так нет, нет так нет».

* * *

Давно уже привыкли
молчать о том, что мы
из пустоты возникли
среди кромешной тьмы.

Виктор Фет

Нет, не пустыми были
Безумные мечты,
Роенья звёздной пыли,
Уроки пустоты.

Трепещет свет, танцует,
Взвихряя тень свою,
Страшится и ликует
У бездны на краю.

ЛЕС ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Каким чудом уцелела паутина,
Поймавшая рой сверкающих капель, —
Радужная оболочка зрачка,
Парящего в пустоте?

После слепящего взрыва,
После слепого мрака —
Ясный взор в самую глубь
Опалённой молнией чащи.

ОКО И ОКНО

Вячеславу Лейкину

Нет, не пробоина, а око и окно,
Распахнутые в тайный мир печали,

Где стаи звёзд гуляют в глубине
И даль любая — лишь преддверье дали.

Теперь спеши мгновение поймать —
На холст, на лист, на белизну экрана.
Прекрасна восходящая душа
В зиянии своей смертельной раны.

ЗОДИАК

Под словами, под немотой —
Пласт иной, безымянный и тайный.
В нём пространства и времени нет.
В нём лишь россыпь созвучий случайных
Вдруг слагается в зодиак,
В звёздный рой негасимого света,
В хоровод, что струится вокруг
Погружённой в сумрак планеты.

* * *

Как это редко — свист незримых крыльев,
Неотвратимо нарастает гул копыт,
Над чёрной пропастью безумствует стихия,
Метель созвездий хлещет и слепит.

Неудержимо, страшно, безоглядно,
Вцепившись в гриву, наугад, лицом прижат...
И как потом опять желаешь жадно.
И руки, как у пьяницы, дрожат.

ПЕРЕВОДЧИК

Иволги посвист переложу на метельный свист,
Лепет приборя передай языком огня,

Шорох листов преврати в шептанье листвы,
Названья созвездиям отыщи в наречии дня.

Голоса голос, но не эхо, не тень,
А живое дыханье, дыханью двойник,
В глуши бессловесной между двух языков —
Переводчик — спутник и проводник.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Когда-то я хранила в памяти
первый свет —
неспешно разгорающийся восход
над молочной равниной
свежевыпавшего снега.

Когда-то я хранила в памяти
первые слова —
колыбельный напев речи,
лепет ольшаника,
шепот еловой чащи.

Теперь свет очернен —
невольный соучастник глаз,
когда они ищут живые мишени,
когда они целятся в людей.

Теперь память спотыкается,
затерявшись между воронками и увечьями,
оглушенная взрывами, криками,
мертвой тишиной развалин.

Родная речь онемела.
Ненависть призвала ее слова
на войну.

Март 2022

Мила МАШНОВА

(Харьков)

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

* * *

верификация мыслей
вяжет слепые
сухопутные узлы
бессознательного

клавиши печатной машинки
танцуют лезгинку
и бьются железными лбами
о валик
оставляя вдавленное Я
как вмятину
в свежем цементе
[2050 год]

стрелки часов
идут обратно
чтобы посмотреть
мне в глаза:
той, которая
живёт в городе Горгулий
скатывается во тьму
играет в «верю-не верю в себя»...
той, которая пишет

на языке Лорки
единственное слово:
Ayuda!¹

* * *

золотое сечение небосвода
вызывает аддикцию

ноль считает себя орбитой
лопается мыльным пузырем

Земля — табльдот по которому
ходят в грязной обуви
вместо того чтобы простелить
чистые скатерти душ

звёзды — числа Фибоначчи
или горящие сердца
ушедших математиков
пытающихся до нас достучаться

* * *

постскрипtum Вселенной
нечитабельные каракули
безумного мешугге

кракелюр белков
неморгающего взгляда

¹ Помогите (*исп.*).

константа непостоянства
носит сломанный циркуль
в нагрудном кармане
непонятно зачем
сейчас в моде
селфи внутреннего мира
где молекулы ДНК
преобразованы в пиксели
P.S.

P.S.

P.S...

* * *

я боялась проснуться три года
отмахивалась от солнечной яви
запрещая переходить рубежи
чайник служил лишь предлогом
для беседы-кипения
превращая диалоги в петли на шее
а неискренность была выгодным блефом

но сейчас свет
размазывает радугу по стенам
как художник ставший маляром
чьи бездонные глаза
оказались настолько донными
и волоокими
что не хочется моргать

теперь когда я считаю звезды на небе
синхронно считаю пульс
на левом запястье
и каждый удар

равен упавшей звезде
последнего воскресенья —
той тишины,
что захлестнула меня
с головой:
без возможности спастись
но с правом на перерождение.

* * *

иллюзия —
вавилонская блудница

моё горбатое сердце
бьётся
в ритме
рейсовых
автобусов

спальня депо разит
резиной и дымом

гражданин мира
проходит мимо
не оставляя следа

шахматист передвигает
тени фигур
кровью

разум остужен
до верхоянского льда

тишина — формула катастрофы
записана чернилами вежливости

ось вращения хаоса

голос звучит за гранью понимания
застыв вуалью над бездной

преступление обретает
красоту симфонии

* * *

вселенная расчленила душу
на мелкие частицы
тесаком войны
пилой времени

пазл больше никогда не сложится

армия голосов в голове
сменила Отче наш на Аве Мария

вторым пульсом в теле
бьется неизбежность выбора
совесть голодной гиеной
поджидает у ворот
с капавшей изо рта слюной
справедливости

но пазлы души уже никогда
не сложатся воедино
потому что жизнь —
бестселлер написанный анонимом
без единого предложения и слова
буквы и знака

пустые листы бумаги

* * *

Трикстер — разрушитель рутины,
офицер контролируемого хаоса.
Он не враг системы,
а испытание её на прочность.

Теломеры фиксируют движение,
но смысл проходит мимо датчиков.

Пока я дроблю в окалину
несогласных согласных
во вселенную,
кто-то получает небесную роль
без реплик.

Ступени склоняются сами —
не из почтения,
а от усталости.

Портьеры задыхаются мраком.
Дискретная тень
касается не тела,
а памяти.

И зеркало снова делает вид,
что оно — полое,
лишь бы смотрящий в него
не увидел
собственного лица.

Илья БРОНШТЕЙН

(Нью-Йорк)

* * *

Слишком сыро сегодня. И падает море из туч.
Воздух шумно течёт, но никак не становится песней.
И безлунная ночь повернула бессонницы ключ
В дождевом ожидании úтра и грустных известий.

За большим океаном война. Вроде много воды,
И не слышно орудий и порванных грохотом криков —
Но бессонница шепчет и кутает до дурноты,
Полутьму потолка закружив до тревожащих бликов.

Полстакана воды. Лупит дождь. Закрываешь окно.
Погружаешься в серый рассвет под царапанье стёкол.
Но во временном сне застывает немое кино —
Развороченный двор с засыхающим кровоподтёком.

4–10 июня 2022

* * *

Здесь холодно и ветру нет преграды,
Витрины между стёклами горят,
Ступени у чернеющей ограды —
Застывший и невзрачный камнепад.

Заплатишь турникету как кассиру,
На станцию пройдёшь — и меж путей
Услышишь оркестровой ямы мира
Звучанье из туннелей и дверей.

Вокруг платформы лампочки и плитки,
И крыса промелькнёт, и ветерок...
Не по себе, когда подходит близко
Вагонов ряд из городских берлог.

Когда все двери разом разойдутся,
Открыв сидений сонную тетрадь —
Войти в вагон, всем телом колыхнуться
Туда, где свет — и в темноте пропасть.

18 ноября — 20 декабря 2020

STACCATO

Я дождь люблю, когда стучатся капли
В окно всю ночь. И в серой ряби луж
Ты отражение видишь серой цапли.
И ветки вьётся сучковатый уж.

Я дождь люблю, лица не поднимая,
Скользя сквозь струи словно воробей...
И лужи обходя, иду по краю
Блестящих до зеркальности камней.

Я дождь люблю летящий невесомо.
Его коснуться уголками рта.
И зонтик, как всегда, надёжно сломан.
И в голове струится ерунда.

Я дождь люблю. Как мокрая собака
Стремится отряхнуться поскорей,
Так день проходит, мокрый как бумага,
И все чернила расплылись на ней...

30 июня — 2 июля 2021

* * *

Стемнело. В шелесте листва. Упали капли.
Железным ветром пролетел и скрылся поезд.
Из темноты он повернёт сюда навряд ли.
А ветер северный по-прежнему напорист.

Он подгоняет задержавшихся прохожих
Скорее окна закрывать, войдя в квартиры.
Деревьев тени на деревья не похожи,
И отделяются от них как в фильме титры.

Он листья трогает, созревшие по срокам,
И гонит вдоль домов, закручивая в волны,
Туда, в конец, где растворяется дорога,
И лес щетинится, и холодно по-волчьи.

Паденье капель. Стук в стекло. Всё чаще, чаще...
Заснуть скорее. Телу зябко мокрой ночью.
Железный поезд, простучавший в полчасе,
Мелькнул вагонами и превратился в строчку.

1–6 августа 2021 — 27 января 2024

* * *

За стеклом белый цвет означает — зима
Окружила тепло плотно замкнутых стен,
И чем легче снежинки, тем больше размах
Налетевшей метели на сон и постель.

Чёрный чай остывает, стакан на столе,
И сгущается тень уходящего дня,
Когда смотришь и смотришь на снег на стволе
Наклонённого дерева в рамке окна.

Синих сумерек краткий и яркий разлив
В силуэте окна с незаметным стеклом
Словно Шуберта «Зимней дороги» мотив
Вперемежку с метелью, со снегом и льдом.

И сидишь дотемна, пока виден дверных
Металлических ручек удобный излом,
И метель оставляет сугробы волны,
Пролетевшей над небом и материком.

1–3 февраля 2021

* * *

Жду на станции поезда. Душно. В туннеле подземки темно.
И хотел бы не ждать, но другая дорога длиннее.
Тьма становится зеркалом — смотришь и смотришь в окно,
Где сгустившийся сумрак, скрывая деревья, чернеет.

Открываются двери. Сажусь у окна. Мой двойник
Обернулся ко мне за стеклом и пытается двигать губами.
Чуть блестят провода на тоннельной стене. И огни
На зрачках отражаются вспышками и языками.

Изучаешь испанский язык, ожидая меня.
Patagonia era mi sueño, pero no he ido.
Поезд медленно вылез над городом, грузно ленясь —
Ведь с моста на Манхеттен нет лучшего в городе вида.

Поднимаюсь на улицу. Вижу проспект фонарей,
В темноту уходящих. Автобус заснул на конечной.
Тишина окружает стоящих устало людей.
И провал объезжая, несётся машина по встречной.

17 апреля — 23 октября 2023

ИЗ ЦИКЛА «ВАН ГОГ»

* * *

Тёмное синее небо. Несчётно ворон,
Летят и летят тяжело в направлении огня...
Зерна больше нет, это поле моих похорон,
И сердце заходит от шелеста крыл воронья.
Палитра легка. Голубое и жёлтое всё.
Идёшь, спотыкаясь треногой о краешек рва...
Чем больше в картине зелёных цветов нанесёшь,
Тем будет видней моя рыжая голова.

По полю иду. Я в него навсегда и влюблён,
Палитрою выпуклой кровь заменив соловья,
Кто громче поёт, тот тоскою своей покорён
Так верно, что все у него растерялись друзья...

И вороны чёрного цвета, когда — тишина,
И пламя огня далеко позади, позади...
И красный всегда добавлял для вина. И вина
Меня
 бередит,
 бередит,
 бередит,
 бередит...

29 июня — 1 июля 2019

* * *

Я время своё не узнал, просыпаясь в полях,
Всё кажется — детство зерном колосится вокруг...
Мечты, словно стебли высокие — о друзьях,
А веки поднимешь — палитра и солнечный круг.

Волнами от ветра пшеничное море гудит,
Деревня оставлена севшим на мель кораблём,
Сегодня — ты беден, а завтра — уже знаменит,
Но кто это знает? Мы с братом, и только вдвоём.

И выпуклых красок не хватит опять — дописать
Картину, что жизнь продлевает привычным вещам,
Мне брат помогает, как может, но всё же понять
Меня до конца он не смеет... И верит кистям.

Меж тем грозовое закатное облако на высоте
Застыло, уперши в меня немигающий взгляд...
Я — маленький мальчик, доверившийся красоте
Пшеничного поля, за краем которого — ад.

8–10 июля 2019

* * *

В полях столько воздуха, можно дышать и дышать,
В колосьях пшеницы впитывать жёлтый цвет...
И если синее небо зёрнами наполнять —
Получится приблизительно мой портрет.

Но я уйду всё дальше, к деревьям и облакам,
Тенями зелёными пляшущим по полям
Картины, что я никому никогда не продам...
И брат это знает — он пишет картины сам.

И дальше дорога пустеет между полями —
И манит и манит, вытопанная река...
Солнце коснётся всеми своими лучами
Странного путника без проводника...

И вдалеке, на длинном краю горизонта,
Крыши домов над дымкою городской —
Словно всё время думаешь ты о ком-то...
Словно идёшь не ты, а кто-то другой.

15–17 июля 2019

* * *

В тишине и жёлтом зное синий воздух
Наполняет глаз блаженством деревенским,
После вечера бесчисленные звёзды,
Закружившись, раздувают занавески.

Я лежу в своей постели поздним вечером,
На столе холсты, наполненные полем...
Чёрный ворон, поначалу незамеченный,
Заслонил собою звёзды поневоле.

Я привык к его приходам незаметным,
К глазу чёрному и шелесту крылами...
В одиночестве и слово безответно...
(Если б ворон говорить умел словами!)

Ночь прошедшая, луною чуть подсвечена,
Исчезает в жёлтом солнечном сиянии...
Ожиданье чёрной птицы каждым вечером —
Поле осенью в предзимнем одичании.

27–30 июля 2019

* * *

Жизнь моя человеческая хрупка,
Холст прикрепляешь и думаешь о судьбе

Тех, кто пишет картины... И как горька
Капелька краски, застывшая на губе!

Жизнь моя перекачивается в поля,
Чтобы, набравшись жёлтого с синевой,
В небо отправить лёгкого журавля,
Вслед за которым — ниточкой шерстяной...

Путь оживает в красках и на холсте,
Тот, что всегда сквозь сердце звучит струной,
И, согревая в солнечной высоте,
Грудь наполняет болью и глубиной.

Птица машет крыльями над кустом,
Путника направляя в сторону от гнезда...
И никогда не знаешь, будешь ли ты потом...
Только рисуешь поле посередине холста...

15–16 августа 2019

* * *

Поле огромное в руки плывёт желтизною,
Цвет ухватить — пока чувствуешь — в эти часы,
После ночного кафе написать с перепоя
Утро в окне до туманной вдали полосы.

Цвет настоящий, вбирающий с головою,
Выбора не оставляет — пиши и пиши —
Небо и небо... И небо своей голубою
Краской вливается в море жёлтеющей ржи.

Но желтизна расступилась, где зелень дороги
Вдаль рассекает колышущийся пейзаж...

Холст приготовлен под солнечные ожоги
И от абсента привидевшийся мираж.

Так пролежав целый день, набираясь и силы,
И нежелания замкнутости стенной,
Выйду в пространство, где солнце уже погасило
Лучик последний. Последний и золотой.

19–21 сентября 2019

Марья ВАСИЛЬКОВСКАЯ

(Киев-Ирландия)

БОЛЬШАЯ ИГРА

ШОПЕН

*Ивану Копу, русскому композитору и
музыканту, моему другу и коллеге,
в первые дни войны, с теплом.*

* * *

Житейская нахлынет пена,
И я тихонько попрошу:
— Мой добрый друг, сыграй Шопена!
Он захлестнёт зловещий шум

Войны, что над землёй маячит,
Пусть нас влекут в неё играть.
Быть может, кто-нибудь заплачет
И не захочет убивать,

И рассмеётся откровенно,
От нотных ягод пьяный вдрызг,
Ловя пощёчины Шопена,
Каскады сочных, звонких брызг,

Осколки острых, гулких терций,
Чтоб насквозь пронизать могли
тоской наполненное сердце
восьмые по команде «Пли!»,

Вреда не причиняя телу?
Смерть не спасает от обид!
А наша музыка умело,
Не умерщвляя, исцелит,

И раны струнами сшивая,
Умерит боль душевных мук.
Играй! Чтоб я, едва живая,
Могла смотреть на пальцы рук...

Когда трагедией объаты,
Погибели страшней вдвойне,
Честнее лжи и горькой правды
Шопен, звучащий в Тишине.

22.02.2022

Февраль, первые дни войны.

Студия «Аэродинамик», (Киев)

ТРАГЕДИЯ ПРОРОКА

(папе, назад, в 2009 год)

Выл ветер в топке неба, будто спятил,
Летели звёзды, словно угольки
В большой костёр, где маг и предсказатель
Сжигал дотла свои черновики.

Он дар имел повествовать подробно
О будущем земном житье-бытье,
Но чувствовал себя неловко, словно
Виновен в том, что бредил о беде.

Он вглядывался в пламя близоруко,
Вздучалась жилка синяя на лбу.

О, кто б из ближних знал, какая мука
Провидеть и предсказывать судьбу

Слепцам, что не способны измениться.
Приговорённый к собственному злу,
Он в клочья рвал страницу за страницей,
Вздымая серебристую золу.

Не потому, что был на мир обижен, —
Хранить обиды в сердце не привык.
Не от того, что людям не был слышен
Его простой, не пафосный язык,

Сомнения провидца не терзали
В том, что случится, а чему — не быть,
Но в том беда, что грозных предсказаний
Никто, увы, не смог предотвратить!

*13 января, 2023 год, Полтава,
село Берёзовая Рудка, (2-й год войны)*

ЛЁГКИЙ НАБРОСОК С НАТУРЫ (папе, с благодарностью)

Вглядись во тьму: увидишь отчий дом,
Который мне назначено стеречь,
Где печь топлю, и думаю о том,
Как растопить обшарпанную печь.

Где Бодхисаттвой Сада я брожу,
топча ботву желаний, в сонме звёзд,
И славлю деревенскую нужду,
Не требуя изысканных удобств.

Я здесь ложусь в холодную кровать,
Налёживая тёплый уголок,

А вечер остается, раздувать
В небесной топке красный уголёк.

И впору распашонка Пустоты,
казённая, и штамп Небытия.
И в темноте густой мои черты
Не отличить от чёрного тряпья,

От ветоши, которой — коротать
Отпущенный суровой жизнью век.
Здесь не о чем рыдать и горевать,
Зола минувших дней, как первый снег

Над пагодами молчаливых книг!
Вот — мой Кайлас, затерянный Тибет,
И я б давно исчезла среди них,
Когда б ни весть, летящая к тебе.

*14 января, 2023 год,
Полтава, село Берёзовая Рудка,
(2-й год войны)*

БОЛЬШАЯ ИГРА

Цикл «Ольховое сердце».

Поэзия о Любви во время войны

У пруда, где гудит козодой
В плавнях заводов мелких,
Заигрался цветок со звездой
Молчаливой в гляделки:
Из прогалины пять лепестков
Белоснежных тараща,
Тянет стебель худой высоко
В поднебесную чашу.

На ресницах тычинок — роса,
И в зрачок земляничный
С неба смотрят живые глаза,
К вышине безразличны.
Оборвётся ли нежная нить
Земляничного взгляда,
И удастся ли свет перелить
В чашу звёздного сада?

А вокруг затаились миры,
Ожидают ответа:
Кто же первым уйдёт из игры,
И за кем же победа?
В предвкушении новых вестей
Вглубь зелёной поляны
Пробивается звёздная степь
Сквозь полынь и бурьяны.

Сколько страсти в забытой игре!
Точно так, не моргая,
Мы играли в полночном дворе,
И терпеть не могла я
И всегда прогорала дотла,
Потому что любила.
Кто — кого, а вокруг эта мгла
И большие светила,

Кто — кого: провожают во тьму
Без единого звука.
Кто-то меркнет к утру,
А кому-то — посмертная мука:
В солнцепёк облетать,
Забиваться в смородинный смород!
Каждый вечер следит Темнота,
Кто кого пересмотрит,

Кто из них, учащённо дыша,
Перед кем прослезится?
Так высокая в небе Душа
Освещает Провидца,
Так для тайн и щедрот
Широко раскрывается око,
И прозрение новое ждёт
Мудреца и Пророка.

*Май, 14, 2022 г.
Конча-Заспа (1-й год войны)*

НИНО И АЛИ

*Тамаре Квеситадзе, скульптору,
создателю влюблённой пары*

* * *

Есть статуи, среди грузинских гор
Ведут они неспешный разговор,
Взметнувшись ввысь над войнами тиранов.
И слышит только беспристрастный Бог
Свободный слог, высокий диалог,
Достойный неповерженных титанов.

То вместе, то в объятиях, то — врозь,
Пройдя стальными рёбрами насквозь
Всё естество, чтоб ближе стать друг другу,
Сливаются в единое-одно,
Как слиться смертным в жизни не дано, —
И вновь степенно шествуют по кругу.

Вот — Он. Плывёт над вздыбленной грядой —
Высокий, статный, сильный, молодой

Под облаками славного Батуми.
И, всколыхнув неоновую даль,
Его зовёт её тугая сталь.
И голоса звенят в привычном шуме:

— Ну почему они, скажи, Али,
Любовь свою в веках не сберегли,
Сквозь тело тело плавно пропуская?
— Почём мне знать, любимая Нино?
Им не дано, природой не дано
Любить, как мы. Беда у них такая.

— Али, вдали опять идёт война!
Зачем друг друга косят племена?
Ведь человечьи рёбра не стальные.
— Всё на погибель здесь обречено,
Что рождено, прекрасная Нино,
А мы — из стали, что нам остальные.

— Али, Али, нам виден край земли!
Ты помнишь, как топили корабли,
Жгли города? Им горя было мало!
— Ты лучше благодарной будь, Нино.
Бранить своих создателей грешно
За то, что далеки от идеала.

— Али, они такие чудаки.
На страны делят мир, на языки —
Народы, и воюют за пространство,
Им данное взаймы на краткий миг!
— Моя Нино, скажи мне напрямик,
Тебя пугает наше постоянство?

— Нет-нет, Али, ну что ты! Нет, Али!
Но чьё-то Солнце снова не спасли,

И катится в алеющую жижу,
И вдовья ночь подходит к алтарю...
— А я, Нино, в глаза твои смотрю
И кроме Света, ничего не вижу.

ЧТО О ВОЙНЕ, ТЕБЕ ПОТОМОК

Из цикла «Ольховое сердце»

(Поэзия о любви во время войны)

*Сыну, Митре, в первые дни
войны, с любовью и нежностью*

Что о войне тебе, потомок,
Чьих барабанных перепонок
Не тронет крик, черкнуть из тьмы?
От пепла в небе звёзды меркли!
А я светилась в этом пекле,
И мы... Любить учились мы.

Отчаянной тоской неволясь,
Охрип, когда-то звонкий, голос,
Но тем мощней под вой сирен
Молчание моё звенело,
Когда гитару неумело
Держал мальчишка меж колен.

Да, можно описать дословно,
Как ненависть пылала злобно,
Как смерть валила наугад,
Но в миг зловещего обстрела
Я в небо даже не смотрела,
Я заслужила нежный взгляд

И не сошла с ума от боли,
Пока кровищею до колিক

Поила месть мою страну,
Спасал нас мёд на пальцах липких,
И в утлой лодочке улыбки
Качаясь, мы не шли ко дну.

*Май, 14-е 2022, Киев, 1-й год войны.
ул. Большая Васильковская*

СЕРЕБРИСТАЯ ОЛЬХА. ПРИТЧА

ЦИКЛ «ОЛЬХОВОЕ СЕРДЦЕ»

Поэзия о любви во время войны

* * *

В центре выжженного солнцем островка
Серебрилась одинокая Ольха,
Выше к солнышку, подальше от греха
Серебро своё несла под облака.

— Ой, Ольха моя, высокая Ольха,
Напророчь, наворожи мне жениха,
А приедет ненаглядный мой жених,
Обвенчает старый остров нас двоих!

Завертелся ветер, пылок и горяч,
Заструился надо мной ольховый плач,
И, макушку окуная в облака,
Отвечала одинокая Ольха:

— Приходил один, купался в серебре!
Вырезая три зарубки на коре,
Подо мной шептал чужие имена.
Чем плоха Ольха, и в чем моя вина?

Приходил ко мне второй желанный гость,
Вбил в живое подреберье ржавый гвоздь!

Ветку хрупкую изнежил топором,
И его я одарила серебром...

Был ещё один, о милой горевал.
Чтобы жизнь свою пустую не прервал
И на веточке упругой не повис,
Серебро своё ему струила вниз.

Я теперь — одна, подальше от греха:
В небе — облака кудлатая доха,
А над ней кружится росный ястребок.
Что в ольховом сердце — прочим невдомёк!

В центре острова — полынь да суховей,
Корешки мои, красавица, полей,
Ствол, израненный гвоздями, обними:
Трудно встретить Человека меж людьми.

*Июнь, 2022 год, Киев,
1 год войны, парк «Троещина»*

ПОКА ТЫ ГОВОРИШЬ СО МНОЙ

Пока ты говоришь со мной, пока ты
Стремишься быть услышанным из слов,
Я слышу речевые перекаты
За тихим, скромным стрёкотом часов.

Часы идут, нисколько не стараясь
Понятными тебе и мне прослыть.
И мне тебя почти не слышно, каюсь,
И ты меня не можешь не простить

За то, что смыслом фраз пренебрегая,
Я чувствую сквозь путаную ложь,
Как звук, на риф Молчанья набегая,
Штурмует борт, и жду, когда уснёшь,

Устав от слов, затасканных, избитых,
Как путник от изброженных дорог.
Я вслушиваюсь в драгоценный выдох
И радуюсь, как только слышу вдох.

Так море спит, вздымая диафрагму
И лодка, не ушедшая ко дну,
Осилив штормовую передрыгу,
Считает днищем каждую волну.

ВИПАССАНА, ИЛИ ОБЕД МОЛЧАНИЯ

Что ж, Молчание — это хороший урок,
Коль освоил владение Словом.
Переполненный смыслами бурный поток
Остывает под звёздным покровом.

Сыплет утро росой. Бродит ливень с грозой,
Громоухая порожним бидоном.
Им в ответ Тишина блеет беглой козой,
Пасторальным, немодным рингтоном.

Ты на связи, Всевышний, чья тонкая нить
Дребезжит и диктует силлабы?
Даровав нам язык — о Любви говорить,
Как, возможно, сама не смогла бы,

Нестерпимо, упрямо молчит Высота на высоком,
На Нечеловечьем!
И стеной между нами её «НАВСЕГДА» —
Между-речьем. На-речьем. Над-речьем.

*Июль, 2022 год, Киев, (1-й год войны)
Конча-Заспа, ночь на Ивана Купала*

КОГДА НЕ СТАНЕТ БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

Не вскинут удивлённо головы
Ни муравей, спешащий из травы
На холм зыбучий, ни жучок, ни птица,
Летающая в уютное гнездо,
Когда на небе с гаснущей звездой
Трагедия внезапно приключится.

Внушительна её величина.
Нам говорят: она обречена!
Тускнеет тихо, прибавляя в весе,
И взрыв её — лишь времени вопрос,
И звездочёт на башне морщит нос:
Он ждёт, когда взорвётся Бетельгейзе.

Звезда же источает слабый свет:
Из непреодолимо-дальних лет
Пульсирует её сердечный гейзер,
И ведает лишь Бог, каков урон,
Кого лишится бедный Орион
В тот день, когда взорвётся Бетельгейзе!

Промолвит мещанин: «Какой пустяк.
В просторной бездне новые блещут —
Вовек не сосчитаешь, как ни бейся!»
И упадут устало на кровать
Влюблённые друг друга целовать
В ту ночь, когда взорвётся Бетельгейзе.

Припомнят ли, ныряя в новый сад,
Они и наш подлунный променад,

Как мы взрывались хохотом и криком,
Как спорили о малом, о великом
И как плескалась плазма ярких глаз,
Когда живыми не застанет нас
Тот мир, в котором вспыхнет Бетельгейзе?

О ЗИМНИХ АПЕЛЬСИНАХ

Однажды, взяв тетрадь, таить любовь бессильна,
Я сяду под окном в сиянии небес,
И научусь писать о зимних апельсинах.
Умолкну о больном пристрастии к тебе.

Сумев унять вражду и горечь откровений,
От дольки отделив узорчатую нить,
О, сколько я найду изысканных сравнений,
Чтоб описать наш миф, и тайну сохранить

О даре Гесперид семейства померанцев,
О звёздчатой душе, раскрытой торгашу,
О рыжем огоньке весёлого румянца,
И горечи обид моих не опишу!

Вся — в цедре золотой, в манере поэтичной,
Над стрёкотом цикад бенгальских огоньков
Сыграю «Болеро» на дудочке коричной!
И ты поймёшь, как рад лететь на этот зов,

На хвойный аромат, на шоколад с ментолом,
На вычурный анис и сумеречный чай,
Плоды любви горят на пиршестве застольном,
Бисквит поёт на бис:
— К восьми его встречай!

И ты меня на вкус распробуешь, с повинной
Примчавшись в январе, в обетованной мгле,
Когда я научусь писать об апельсинах
В душистой коже, на праздничном столе.

*7 января, 2023 года,
Киев, Святки, (2-й год войны)*

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

Прожилки, складки, перепонки —
Ты мотыльковый взгляд японки
Поймать мечтал своим гофре,

Но выпала судьба иная:
В оплёванном шпаной дворе
Блуждать, о лете вспоминая.

Ты с дерева, по кличке Гингко
Билоба, с ветром поединка
Не выдержав, сорвался, но

Шуршишь оборками упрямо,
И ждёшь, когда воскликнет дама,
В нарядном, белом кимоно:

— Ах, Гингко, Гингко,
что за прелесть,
Я с этим веером развеюсь!
Безлюдный, тихий сад камней,

Обитель алого дракона,
Где плачут Сакуры со склона,
Влекут, и мысли лишь о ней...

Вот-вот, и застучат колодки,
И белая рука красоти
Поднимет веер, влипший в грязь!

Но истина порой жестока,
И с горным миром тает связь,
И никаких вестей с востока...

Что ж нам? Довольствоваться малым,
Спешить во тьму, под ветром шалым,
И ты за то, дружок, прости,

Что выдался поэту случай
Прижать тебя к своей груди
Под ветром, под осенней тучей.

25.11.2023 год Одесса.

*Трасса «Здоровье». Дожливый вечер,
канун Иоанна Златоуста, (2-й год войны)*

РАССТАВАТЬСЯ С КАМНЕМ

Кам'яній. Кам'яній. Кам'яній.
Тільки твердь — символ самозбереження.

Василь Стус

То в прозрачный рассвет,
То в поблекший земной закат,
То пустой суетой,
То бездонной тоской объаты,
Люди смотрят на небо,
Где перистые облака
Всё летят, обнимая дома,
Обминая скаты.

Это с виду — легки,
Легкомысленны, будто пух,
Безоглядно-беспечны,
Прозрачны и невесомы —
Они кажутся раем
Для всех, кто утратил слух,
И кому голоса их надмирные
Незнакомы.

Только знают Творцы
Вечной музыки и поэм,
Космы светлых мелодий
Ловя на ветру суровом:
Как же трудно бывает
В наш мир пробиваться тем,
Кто не выстрадал Дар —
В тишине разродиться словом!

Как привыкнуть к тому, что
Твоё мирозданье — дом?
Пронестись над землёй
Ненавязчивой зыбкой тенью,
Прикоснуться к шершавому —
Перистым, а потом
Течь слезой по скалистому склону,
Терзать терпенье

Одинокой громадины,
Чьей ледяной души
Не понять никому,
Даже тихим подземным рекам!
Ты, покуда способен,
Твори, говори, дыши,
Благодарный за то,
Что задуман быть Человеком!

По прожилкам гранитным
Струится прозрачный дождь.
Будет время — однажды
Мы все в бессловесность канем,
И, пока не придётся стать
Облаком, не поймёшь,
Как мучительно больно ему
Расставаться с Камнем.

*31.11.2023, Одесса, «Скалодром»
(трасса «Здоровье»), 2-й год войны*

ОБЛАКУ — ОБЛАКОВО

**Монолог цветка ирландского хлопка
на Мунин-горе (Графство Клер)**

Мне твердят: — Облаку — Облаково, цветку — цветково.
А я вот мечтаю однажды стать Облаком, что такого?!
Даром что кличут в народе нас гадкими сорняками,
Я же верю: сроднимся на Божьей грядке мы с облаками.

Коль уловил сходство кудрявой макушки с небесным
хлопком,
И любовался видом белесой опушки, по тайным тропкам
Вывязав петли узорчаты, Тебе известно,
Как же на поле, в толпе маловеров крылатым тесно.

Пусть шипят полевые сородичи сызмала: — будь покорней,
Пусть ветра гнут к земле, а земля принуждает
держаться корня.
А мне снится прыжок в поднебесье, и в стебле — звоны...
Поглядеть бы, насколько же у Вселенной поля бездонны,

Форму меняя и облик, то перистым, то клубами,
Мчаться над вереском, виснуть над берегом, над горбами

Литься дождями прохладными, скулы скалам
Освежая слезами о вечном под ветром шалым.

Лишь бы только встретили Кучевые в прорехе, выше.
Корни ноют, конечно, когда их во мгле подгрызают мыши,
Но одним — башмак в пыли, вот — судьба, а другим —
подкова.

Мне же, поверь, быть счастливейшим Облаком, что такого!?

Весна, 2024 (Ирландия, Клер)

Александр МЕЛЬНИК

(Льеж)

ГОБЕЛЕН ДОЖДЯ

Дождливый день похож на гобелен,
из тонких нитей сотканный случайно,
скрывающий фасады, но взамен
в природу погружающий, как в тайну,

пока трамвая юркая игла
латает обветшавшее пространство,
но свет сгорает — полностью, дотла,
и скверы прячут жёлтое убранство.

Приходит ночь — прозрачна и тиха,
как листопад в безветренную пору:
листок роняет спящая ольха,
а белка чутко слышит каждый шорох.

Любить тебя — касаться волшебства,
читать взахлёб подаренную книгу,
в которой манит каждая глава.
Ты — доброй сказки вечная интрига.

* * *

Что рассказать о зиме? Только хорошее!
Сани, мороз, тишина, в воздухе — лёгкий туман...
Месишь ботинками грязь — жалкое крошево,
но, вспоминая снега, падаешь в самообман —

всё хорошо, а дожди — просто авария,
слякоть покроется льдом: ты на летучих коньках
сменишь за пару минут город, страну, полушарие...
Впрочем, напротив — твой дом.
Хватит витать в облаках!

В АКВАРИУМЕ

1

Дела в упадке — снова форс-мажор:
хандра тебя включает в свой реестр,
и ты опять, как пьяный дирижёр,
сбиваешь с ритма слаженный оркестр.

Но за углом стеклянное кафе —
ни дать ни взять аквариум, в котором
косяк тунцов, немного подшофе,
глотает корм за общим разговором.

Ты в этом доме долгожданный гость.
Официантка-золотая рыбка
со дна приносит водорослей горсть.
— Привет, красавчик! Где твоя улыбка?

.

Потом ты пьёшь с какими-то мальками,
от сочной сёмги требуешь икры,
и под конец с пивными пузырьками
плывёшь домой — один и без хандры.

2

Это осень... Тянет на романтику.
За окном — не просто льежский дождь,
а открытка с маркой из Атлантики —
радуйся и не жалея ладош!

Только что-то мне не очень весело...
Размотался спутанный клубок.
Отшумела жизнь, накуролесила,
а теперь зализывает бок.

За углом — какая-то авария.
У кого-то дел невпроворот.
Я — форель, попавшая в аквариум.
Пиво — самый лучший кислород.

САХАРНЫЙ ЗАВОД

И сахарным песком, и свекловичным жомом
становится свекла на склоне бытия.
Пора тушить свечу, и поздно пить Боржоми,
но я сюда пришёл совсем не для нытья.

Завод ещё пытит, причём без перерыва.
Я тоже корнеплод. Однажды за ботву
колхозник взял меня — спокойно, без надрыва,
и вытащил на свет — родил по существу.

Свекольная судьба — отнюдь не буги-вуги.
Сперва тебя крушит рабочий-мизантроп,
потом бросает в чан — кружиться в центрифуге,
откуда два пути — на жом и на сироп.

В мешке моих стихов — такая ж мешанина:
и сладкий рафинад, и грубый комбикорм,
и ясные стихи, и просто писанина,
и немота в душе, и вдохновенный шторм.

* * *

никогда не знаешь точно что скрывается вдали
то ли рай реки молочной то ли ад конца земли
сколько крыльев мотыльковых на огнях обожжено
сколько дурней бестолковых безнадёжно влюблено

был и я когда-то дурнем сам не знал куда иду
там шепнём туда засунем так и жил всегда в чаду
опыт братцы между делом потушил в глазах огни
стал я умным стал я смелым ошалел от беготни

в относительном достатке дни сгорают без следа
только что в сухом остатке та же глупость как тогда
псевдомудрость червоточна все философы ввали
никогда не знаешь точно что скрывается вдали

* * *

Давным-давно уже немолод,
хотя ещё совсем не стар,
я пережил и серп, и молот,
и коммунизм, и солнцедар.

В те годы плебсу на потребу
считался розой пустоцвет.
Нам симулякры вместо хлеба
давали часто на обед.

Блажен, кто век прожил в надежде.
Гектар в докладе, а не акр,
и вместо солнца, как и прежде,
сияет тусклый симулякр.

* * *

Вот такая пошла хиромантия —
нагадаешь поесть омулей,
а за окнами вспыхнет Нормандия
желтизной бесконечных полей.

Отшуршит под колёсами прошлое
и притихнет на несколько дней.
Нынче тоже немало хорошего,
только водка намного пресней.

Ты немало постранствовал по миру.
Отдохнуть от езды — не вопрос.
Просто надо в гостиничном номере
из баула достать кальвадос,

обойтись на закуску десертами,
а потом наблюдать из-за штор,
как Моне, окружённый мольбертами,
пишет светом Руанский собор.

* * *

От сырости контакты коротят,
нейроны осыпаются с извилин,
а бедный мозг рифмует всё подряд —
его на это осень вдохновила.

Ещё вчера, обласканный теплом,
не замечая времени в нирване,
шагал к окну и ахал — за стеклом
людей давно сменили марсиане.

На миг отложишь в сторону тетрадь,
возьмёшь наждак, пройдёшься по контактам,
и можно снова что-то рифмовать —
до новой связи с Альфа-Катарактой.

* * *

Над вспыхнувшей геранью паутина
поблёскивает в солнечных лучах.
Паук, от маеты устав рутинной,
эстет в душе, погрязший в мелочах,

скукожился и слушает вполуха,
сквозь дрёму, овладевшую двором,
как хочет жить измученная муха,
опутанная липким серебром.

День клонится к концу, и то и дело
в тенётах завершается полёт.
Когда-нибудь придёт и твой черёд
задуматься, зачем герань горела.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

В толпе людей мельчайшая частица,
чья значимость тонка, как волосок,
я чувствую всей кожей, как струится
в воронку из-под ног моих песок.

Мне не до песен — в них слова избиты.
Паденье сверху не начать с нуля.
В урочный час сойдёт Луна с орбиты,
в тартарары провалится Земля.

Но, устремившись к зыбкому покою
вдоль безвозвратно тонкой полосы,
кричу, чтоб кто-нибудь своей рукою
перевернул песочные часы.

Леонид БЛЮМКИН

(Гамбург)

СТАРИННЫЕ ПОРТРЕТЫ

* * *

В садах на участках стоит, как стрельба, трескотня:
ровняют кустарник, траву подрезают короче.
Привычны заботы осеннего серого дня,
но чем-то пугают осенние тёмные ночи.

С дубовых ветвей жёлтой бомбочкой жёлудь летит,
и лист опадает под ветром пока понемногу.
Хотя уже в парке меняется благостный вид,
и в воздухе пахнет холодным дождём и тревогой.

Но я же люблю эту тихую грусть в октябре
как время раздумий, недалних прогулок, покоя,
когда ощущая тепло на древесной коре,
не веришь, что в мире свершается что-то плохое.

В октябрьской поре заторможенность всюду видна,
и смена сезонов идёт незаметно и вяло.
А резко в природу врывается только война,
которая сердце, как острой ледышкой, сковала.

Высокие кроны — для птиц пролетающих дом,
приют и защита от разных невзгод и трагедий...
Сорока и белка играют вдвоём под кустом,
как будто у них нет дружнее и ближе соседей.

СТАРИННЫЕ ПОРТРЕТЫ

«Когда музеи закрывают...»

А. Решетов

В музеях портреты не спят по ночам,
приятно общаясь друг с другом.
По залам пустым, непривычным к речам,
блуждает словесная вьюга.

Выходят смотреть на оживший пейзаж
и розу вдохнуть с натюрморта,
свой возраст забыв — исторический стаж —
в мундирах и платьях истёртых.

И головы чинно вперёд наклоня,
гуляют с улыбкой печальной,
чтоб силы набраться для долгого дня,
как перед дорогою дальней.

С рассветом вернутся на место своё,
смущаясь назойливых взглядов.
Мечтая, что сменится в раме житьё
свободой ночных променадов.

* * *

Июнь — не июнь. Запоздалое лето.
Дожди отшумели. Сирень отцвела.
И вроде бы солнцем пространство согрето,
но скоро окончится время тепла.

Окончится лето. Придут перемены,
хоть в эту эпоху извечно трудней.
А впрочем, Земля — постоянно арена
сражений, пожарищ и подлых затей...

Зажат, как всегда, меж болезнью и ленью
смотрю обречённо на красный закат.
И нету надежды на лета продленье,
и спрашивать без толку, кто виноват?

* * *

Я разучился складывать слова...

Б. Кенжеев

Прошло желанье — складывать слова,
оно затихло, спряталось навеки.
Парад морщин. Пустая голова.
Слабеет тело, тяжелеют веки.

Подолгу сплю, встаю, когда хочу.
Я просто житель в состоянии сонном,
хотя порой приветливо шучу
с коллегами в когорте пенсионной.

А те слова — их неизменен труд,
беззвучные в костюмах тонких мимы,
они во мне внутри всегда живут,
из горла вглубь и с языка гонимы.

И всё же там, как в яме долговой,
в существование при режиме строгом,
они, борясь за голос свой живой,
солгать, предать и сподличать не смогут.

* * *

Февральской метелью заносит дороги и парки —
зима напоследок расщедрилась снежным подарком.
Давненько такого не видели здесь снегопада,
а радости большей и большего счастья не надо.

Конечно, непросто дышать в этой мгле суматошной,
и трудно ступать промокающим быстро подошвам.
Но стерпится всё в окруженье знакомом морозном,
и вспомнится всё, как мы жили наивно и просто.

Хоть были сомненья, но разве в то время мы знали,
какие шторма нас закрутят по жизни в финале.
Что дальше случится? — Тому позвонить по «вертушке»,
кто в вышних живя, за ответ не берёт ни полушки.

Кто скажет, зачем в двадцать первом продвинутом веке
свершаются вновь на Земле печенегов набеги.
В песках аравийских и на европейской равнине
о мире не знают, спокойствия нет и в помине.

И что ж нам, как встарь говорили, сосудам скудельным,
забыться и скрыться в завесах февральской метели?

Геннадий КАНЕВСКИЙ

(Холон)

* * *

похоже что мы дали кругалья
куда ни сунешься — везде поют
везде справляют праздники тоски
бесснежная январская земля
почти повсюду с севера на юг

друг другу на ухо материки
как слуги о хозяевах шепча
подкаменные сплетни раздают
безумие не требует врача
а прямо с красной пишется строки

из двигателя антифриз сольют
из вечного — во временный приют
заброшенных арктических чудес
в замусоренный космос что небес
не выдержал и вот перестаёт
быть чем-то важным быть как таковой

тропинки загипсованных планет
поросшие акриловой травой
и мы с тобой которых нет как нет —

взамен погибших на передовой

* * *

от романсовой ноты,
кисловатых словес —

то припадки зевоты,
то першит в голове,
от сыров-маасдамов
только дыры внутри.
не гайто ли газданов
мне кричал «отопри!»?
что же, я отпирал им,
и как птицы поют
паспорта отбирал я
у плывущих на юг
называлась контора
«несвятая земля»
и была в ней партнером
испитая семья.
папироски бульваров
с девяти до восьми
утыкались, пылая,
в побережья земли,
угасая, шипели,
а на пляжах, яволь,
подстилали шинели
офицеры всех войн.
я затем эти речи,
запинаясь, веду,
что как звуки картечи
в безнадежном бреде
повторяется вечно
как набрякший урюк
из столетья в столетье
наплывающий звук:
слышишь? — это мортира,
самолет или дрон,
чтобы войны без мира
и деревья без крон,
чтоб фонарь и аптека

и дымящийся вид,
словно у человека
непрерывно свербит.
он присущ умиранью
постоянно, всегда.
только первую ранью,
еще тлеет звезда,
и придя на границу
сна — и новых атак,
человек оглядится
и присядет вот так,
на минуту, как будто
говорят этажи:
«это — сон. это — утро,
мы не можем так жить».
не подлец. не философ.
неразгаданный знак.
и для встречных вопросов
нету места, чувак.

* * *

где лёгкие летали времири
в лесах литературных манифестов,
был неприметный дровяной сарай
в углу делянки: там супрематисты,
лучисты и какие-то ещё,
и бледный голодающий филонов
как тень меж них нелепая бродил.
и иногда они к себе пускали
(ведь вот же манифесты, не говнитесь!)
поэтов и прозаиков — на час,
не более.
с апреля по июнь
там можно было снять за трёшку угол,

и я, когда нас познакомил штапин,
тебя туда привёл.
за пивом было
стоять так долго — утоляли жажду
мы синей газированной водой
с дешёвым ароматом песталоцци,
а то и корчака. и ты была смешливой,
и вдруг — серьёзной, сладко морща нос
веснушчатый.
я многое забыл,
но вот теперь, в коляске инвалидной
я голову с трудом приподнимаю
и, видимо от головокруженья,
мне чудится, что я лечу туда,
где в лёгком незалапанном эфире
друг друга бурно любят наши сны:
чуть прочь — и вновь друг друга пробуждают
для страсти, не достигнув утоленья
за столько лет, дурацких столько лет.

* * *

вот оно, побережье, то самое, где
тень твоя как вода утекала в песок
белым полднем, фоновым шумом, если
не испарялась раньше, пока ты считал,
чтобы запомнить, как на чужом языке
называются числа.

три отсчитывай, два, море в закатном свете,
а потом далёкий фонарик спасателя, а потом
пограничный прожектор ищет уплывшее сердце
с утлым председрием, нарушителя всех законов.

заведенье закрыто. приходите завтра к семи
вышивать по канве, смеяться врасстяжку,
кормить медуз неправильным удареньем,
лепить из слюны и глины гнездо
для, возможно, единственного поцелуя.

* * *

свистнет за лесом скорый
в этот день перед школой.

туч края золотые
(сами тучи — из стали)
как учебник латыни
детство перелистали,
перелистали зрелость
(нет, не очень хотелось).

вот уже пишут логос,
ну и, конечно, мелос
мелом на классных досках.
ты стоишь перед ними
в регулярных обносках
словно шут на подмостках.
не говори им имя.

будь последней защитой,
в имя своё зашитой.

душ отпечаток личный
в классе на перекличке —
саша, евгений, света
в прошлой своей отчизне,

где последний день лета —
как последний день жизни.

* * *

помню, вышел прогулять собачку
и побыть в тоске и тишине,
перед тем найдя свою заначку
в старомодном ветхом Шукшине —

и с тех пор, собачками простыми
прикрываясь, тих и одинок,
всё иду по водам и пустыне,
как обычный залетейский бог.

фляга с пойлом булькает в кармане.
рот кривится от житейских драм.
все, со мной дружившие домами —
приходите к богу. аз воздам,

как никто из заклинавших ветром,
убеждавших снегом и зарёй.
лейте в пластик, как пристало бедным:
по одной — и сразу по второй.

* * *

я вернулся в ветреное детство
как ребёнок в ветряную оспу
всё чем я играю — я ломаю
всё что я люблю — не понимаю
вся любовь в моей семье из книжек
я ребёнок пухлый нежеланный
сын от нелюбимого мужчины
как в начальных классах гимназисты
тычутся пером в непроливайку
ткнувший пальцем в пыльное пустое
господом оставленное небо

(выкрикни два лота для начала:
в чихлом сквере у кинотеатра
искры рассыпавший репродуктор
и паркет рассохшийся от страха
в жёлтом зале музыкальной школы)
фонари столичных перекрёстков
в спины неудачникам светили
где за птицей синею и плоской
бегали тильтили и митили
фитили последних керосинок
догорали медленным закатом
сашка увлекался блэксаббатом
только где достать таких пластинок
в городе москве в восьмидесятом
вот и кружится слепой суглинок
вальсом конопатым

* * *

мне говорил дежурный по станции
(станция лиски):
— бог в его нынешней ипостаси
говорит по-английски.

дело не в англосаксонской грубости,
не в ностальгии —
бог — аутист. у него есть трудности.
языки другие

нелинейны слишком.
— а вы откуда же
знаете это?
улыбнулся дежурный улыбкой будущего
ангела света —

и растаял. и только осталась в воздухе,
на ветру трепеща покорно,
форма его — с галунами, звездами —
мира внешняя форма.

* * *

кто дежурит в темноте
на распятом перекрёстке
где опасные холмы?

кто дошёл из городов
до заветной тремпиады?

это медленная пыль
отправляется отсюда
в долгий путь по тёмным лёгким

барабанщики из джаза —
нету палок только щётки —
марш неслышно шелестят

встань на цыпочки и в строй
по-балетному вливайся
раз уж ты в сюзан деляль¹
завербован и подписан

может так придут дожди

может так они покажут
разуверившимся верным
новый бешеный потоп
новый ветер воскрешенья

¹ центр современного танца в Тель-Авиве.

слышишь? — ш-ш-ш и ш-ш-ш и ш-ш-ш
шорох шины шелкопряды
шемеш шайзе шибболет

* * *

во среду ВОСР¹ была и нынче всё другое
по всей земле остановились трамваи
и засветились тускло тёмные аллеи

еще сбежала из египетского зала
богиня помнишь с головою крокодила
и по садовой вольно ходит как хотела

всегда сначала эти ВОСРы так прекрасны
как оспы пустулы апостолы и сосны
как тофслы радости под лепетанье вифслы

но тучи очи пьют и блок уж не лиричен
и розы алые от пуль и червоточин
и зверь по карточкам сначала не замечен

заградотряды пожирающий как кронос
а ты всё пела-с так запомни этот мелос
где ВОСР и сердце как трамвай остановилось

* * *

С. О.

крепко меня за руку держала тётя сима
посетили рынок посетили жакт
золотые осы авиахима
в волосах её до сих пор жужжат

¹ Надо ли объяснять эту аббревиатуру?

лет ей вроде двадцать но мне гораздо меньше
гляну на неё и тотчас иду ко дну
луиза мэй олкотт средь маленьких женщин
точно бы выбрала её её одну

исчезает в небе след от самоката
тают веснушки с пришествием зимы
ты же моя дуня дуня тонкопряха
напевают дети как раньше пели мы
рыбный магазин закрыт до поздней ночи
а когда откроется — полночь у ворот
из бассейна мраморного шёпотом пророчат
щука-суфражистка и сом-санкюлот

письма перепутаны в маминой шкатулке
свет ещё не смерть да и тьма не беда
загадаешь утром в соседнем переулке —
в нашем ночью сбудется чушь-ерунда
добрая кассирша дочка кирасира
мне в сельпо отложит петушка-леденец
будет он гостинцем для тебя тётя сима
лишь бы не узнал о нас твой киборг-отец

* * *

идём
в эдем.
там нет сиянья. там то свет, то тьма,
то старые, то новые дома.
поют меж них сошедшие с ума
свои псалмы.
зовут друг друга гжель и хохлома
то «ты», то «мы».

и зря
мы для
самих себя решили наперёд,
что знаем рай как знаем снег и лёд,
что быстрый или медленный восход
исчислен весь,
что производит на небе завод
святую взвесь.

и день,
и тень
там пролетают словно облака,
как на земле трамваи и века —
звенят, гудят.

отсутствуют лишь глупость и тоска —
они есть ад.

Валерия ДЕМИДЧИК

(Минск)

БЕССМЕРТИЕ

Какой тут кровавый закат одинокий,
распущенный по небу тёплой волной.
Есть тут внизу безысходные сроки,
а еще удобрения и перегной.
Чтобы питалось живое мёртвым,
вгрызалось в бессмертие
мутной слюной,
как новый любовник,
как пьяный охотник...
Ничем тут не кончится —
знай и не ной.

* * *

Д. А.

Мы живем на костном компосте,
ходим друг к другу в гости,
вечереет, и папа добреет.
Нет, не толстый — кожа да кости.

В смысле злой и свой такой папа
принимает добра эстафету,
будто в комнате больше нету
сора, ссоры и прожитых лет.

На компосте танцует скелет
нашей бабушки — его мамы.
Наша бабушка — строгая дама
исполняет для нас менуэт

в паре с дядюшкой. Он теперь слышит
и танцует, точно король.
Разгадал этой жизни пароль,
разлогинился вдруг и вышел.

СДАТЬ ОРУЖИЕ

Такси грустит и мчится в никуда.
На улице темно. Нам сдать оружие
предписано законом этих снов.
Нам отделить ненужное от нужного
необходимо вздохам вопреки.
Смотри — нас поджидают странники,
такие странные: ни поздние, ни ранние,
чаки паланики и ваньки-дураки.

* * *

Люди в чёрно-белых очках,
говоря о своей доброте,
слепят белым,
ругают неблагодарных,
выключая свет.

Люди в чёрно-белых очках
голосуют «за»
и хотят, как лучше.
Голосуют «против»
и хотят, как лучше.

МУЗЕ

Снова к музе! —
Я как в музее
Читаю надписи
Под картинками
Под экспонатами
Везде вижу: «лузер»

* * *

Как ты меня растерзала,
я никому не скажу.
Как ты и не знала,
что я там валяюсь в луже
(под худшим подъездом на Кунцевщине,
ещё без всей этой мобильной чертовщины)
самый тебе не нужный.
Ты плакала по котёнку,
упавшему с подоконника
твоего какого-то этажа,
искала его, не заметила, что я там тоже
лежал
под твоим домом тихонько!
Я-то не пикнул —
сам виноват теперь,
он тоже не мяу —
сразу же насмерть
с открытого настёжь.
Его не забыла.
И мне надо было
бить на жалость, стенать!
А не валяться, заткнувшись,

как тряпка, сжавшись
узелом,
дрожать.
Из страха или гордыни?
Назло?
Чтобы в каком-то смысле
там и сейчас лежать?

* * *

Ты никогда не был ребёнком.
Не был во времени вспять.
Жёлтая стрела в твоих глазах
поражает мгновенно.
Какие все «надёжные» вокруг:
псы вечности,
прислужники круговорота
пишут-читают правила.
Ха-ха-ха-ха!
Умнейте, некрасивые девочки!
Умнейте, некрасивые мальчики!
Красота — это салют вселенной,
если бы она существовала
в твоих жёлтых глазах.
Если есть «если»,
то ты не подозреваешь о стреле.
Не злонамерен не рождённый.

ЛЕС

Лес схоронит тебя,
когда ты одна с маленькою тетрадкой,

с мятою сигареткой,
с серебряною монеткой
выйдешь тихонько пройтись.
Птицы будут кричать — не спастись!
Но ты же не бойся.
Раскури сигаретку сладко.
Подсмотри, как танцует бес
тёмной ночью среди деревьев,
незаметно подбрось монетку,
тетрадь подожги сигареткой
и бросайся наперерез!
Да хранит тебя лес.

СУДЬБА

Как линии дрожат в руке,
хоть сеть расставлена давно,
пестрит экран в немом кино,
и вы смеетесь вдалеке.

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ

подойти к огню —
подсмотреть печаль
восковых свечей
или сделать чай
или слушать вдох
выдуть метель
и любить как Бог —
всех людей

* * *

Мир не ляжет к ногам твоим —
Разве что рухнет.
При себе сумочка и букет.
Чтобы в любой момент
на вопрос: «Согласны ли вы?»
Можно было ответить: «Нет»

Александр СПРЕНЦИС

(Киев)

ДЗЕНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

* * *

Я теперь, как мебель.
Поставили.
Передвинули.
Сломали.
Выбросили...

* * *

Воскресенье...
Даже птицы не поют!
Да и зачем?

* * *

Безмолвие холмов — совершенно...

* * *

Буддийские полчаса...
Это когда ты сидишь в кафе — где-то минут тридцать... или больше — пьешь чай... или кофе и ничего не делаешь...
Просто пьешь чай...

В голове разные мысли крутятся...
Или закроешь глаза и вздремнешь...
Будто выпадаешь из всего — но все равно остаешься
в этом мире...

Кто же ты в этот момент, в эти полчаса?
Кажется, Будда...

* * *

— А что наше будущее?
— А нет у нас будущего.
— А это как?
— А вот так.
— Такого быть не может!
— Может.

* * *

Февральский вечер. Иду переулком из кафе «Купидон». Скользота страшная! Ползу на карачках!
Мимо меня пробегают две девицы лет шестнадцати, взявшись за руки в диком веселье.
Я им: «Осторожно, скользко!»
И в ответ слышу: «А мне похуй — упаду я или нет!».
Вот так!
«Здравствуй племя — молодое и...»

* * *

Время нас всех почти рассеяло...
Барахтаемся в одиночку...
Чувство сиротства...
Чтобы все это передать, нужны Вагинов и Платонов.
Два гения — две жертвы тяжелой, как скала, эпохи.

* * *

Снег саваном лег на землю...
Пепел небес...

* * *

Пишу, и слезы чернил мешаются со слезами дождя...
Жизни людей — как высыхающие лужи...
Сверкнула жизнь, — и нет жизни — испарилась!

ВЕСЕННИЙ СПЛИН

1

Дряхлая весна.
В теле слабость, голова как чайник...
Хандра. Город в унынии.
Разбитые дороги, обшарпанные стены.
Очумевшие от взрывов люди...
Вороны орут, как недорезанные.
N — умер, M — уехал.
Неясно: конец весны или начало осени.
Лето прячется нашкодившим мальчишкой.

2

Бумага закончилась.
Чернила высохли.
Душа усохла.
Пение птиц — не радует.

* * *

Ветер листает страницы моей жизни...
Из окна — волна шума — авто, крики детей, пение
птиц...

В КАФЕ

1

Пустой столик и чашка чая...
Как это прекрасно!

2

В этой тиши
всё уходит: и горечь, и страхи...

* * *

Глядя на себя в зеркало: что я еще не увидел?

ДЗЕНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

Мы с другом пьем чай из пустых чашек.
Пустые чашки — самые полные.

* * *

В пустыне.
Я горсть песка в ладони кочевника.
Струйкой тысячелетий скольжу вниз...
В родное селенье, которому нет имени.
Я — горсть песка в чьей-то руке...
А кочевник в чьей ладони?

* * *

Поэт за письменным столом.
Вечерний свет мешается со светом настольной лампы.
Поэту хорошо, потому что он пишет правильные вещи.

* * *

Город — угасает
Темно-блеклые зимние дни...
Облака — предвестники бед...

* * *

Тихие заводы всеобщего безумия...

* * *

Нищета дырявой старухой глядит из каждого угла...
Серая муть заволокла небо...

THE TODAY

1

Утро тусклое и холодное...
Выключатель — щелк-щелк — а света нет...
Вожусь с фонариком как крот в полутьме...
Интересно — а есть ли у кротов фонарики?
Шаришь в полутьме...
То находишь, то что-то падает...
Слоняешься без дела... Тенью отца неясно кого...

2

За углом — хлебный и аптека.
За углом — трамвайная остановка...
За углом — школа и газетный киоск...
За углом — сегодняшнее, у которого нет будущего...

* * *

Кругом слякоть...
Сыро, полудождь, полуснег...
Зима уже не зима, а продолжение осени...
Не удивлюсь, если в июне пойдет снег!

* * *

Вечер на кухне. Сижу, грызу сухарик...
Конец лета... август. Никаких надежд...
Темные вечера... Темные облака, темный горизонт...
Клеенка на столе. Вокруг лампы кружат бабочки...

* * *

Кто стряхивает нас, как пепел сигареты?
Время...

* * *

Светлый, прохладный сентябрьский вечер...
Запах прелых листьев...
Из хорошего — больше ничего...

ПУСТЫРЬ

Пустырь — символ нашего будущего:
деревяшки, тряпки, окурки, консервные банки,
бутылки, рваные башмаки, клочки бумаги, картон,
битое стекло!..
— Но как же так! Мы ведь...
...пустырь... пустырь...

* * *

Крик вороны над головой как ответ на вопль Иова...
Вопрошай-не вопрошай — один ответ: крик вороны...
Иов! Не вопрошай! Не протестуй! Крик — вверх.
Пепел — вниз.

* * *

Поймать птицу на лету...
Выдернуть перо и —
Написать послание
Хан-Шаню или Ши-де...

* * *

Безумные птицы событий скользят за окном...

Мишель ФИНК

(Париж)

Перевод с французского Вали Чепиги

Мишель Финк родилась в 1960 году в Мюлузе (Франция). Ученый и поэт, профессор по сравнительной литературе в Страсбургском университете. Магистерскую работу и диссертацию посвятила творчеству Ива Бонфуа. В 2017 г. вошла в состав жюри национальной поэтической премии Министерства культуры Франции. Автор многочисленных эссе о связях поэзии с музыкой, танцем и изобразительным искусством, а также ряда поэтических сборников, в которых особое место занимают звук и музыкальность. Книги отмечены престижными наградами, среди которых премии Луизы-Лабэ (2015), Макса Жакоба (2018) и Гийома Аполлинера (2024). Последняя считается поэтическим эквивалентом Гонкуровской премии. Принимала участие в создании фильма «La Momie à mi-mots» (1996). В 1988 г. вместе с кинорежиссёром и художником Лори Гранье основала культурную ассоциацию Udnie, объединившую поэтов и художников разных дисциплин. Параллельно с поэтической деятельностью занимается переводами немецких поэтов, в частности Тракля и Рильке.

Сборник Мишель Финк «*La Voie du large*» (рус. «Выход в жизнь») (2024), отмеченный премией Гийома Аполлинера, представляет собой глубокое размышление о поэзии как способе осмысления настоящего через расстояние и память. Поэт исследует личное и коллективное переживание времени, сочетая реальность с музыкально-звуковым восприятием и пантеистическим образом мира, где письмо становится сродни молитве. В стихах переплетаются сомнение и вера, личная и историческая память, отражены чтение классических поэтов и современная рефлексия о пандемии и глобальных проблемах. Поэтический язык оформлен ритмической прозой, визуальной расстановкой слов, характеризуется вниманием к дыханию текста, что создает особую ответственность слова и усиливает его онтологическую плотность.

Некоторые стихи на русский переводили в разное время Екатерина Белавина и Татьяна Викторова.

В представленной подборке Мишель Финк исследует пересечение индивидуального и коллективного опыта через призму поэтического восприятия современности. В стихах, связанных с пандемией COVID-19, она фиксирует состояние неопределённости, утраты и тревоги: опустевшие улицы Парижа, болезни и смерть, ограничение контактов с близкими. Светлые, спасительные элементы — цветущая форзиция, ежедневная встреча с другом, музыкальные и поэтические отзвуки — выступают символами устойчивости, способности к эмоциональной регуляции и сохранению внутреннего равновесия. Поэзия у Финк функционирует как инструмент фиксации и интерпретации переживаемого времени, превращая личный опыт в зеркало коллективного и в пространство для созерцания, размышлений и эмоциональной переработки.

Одновременно автор проводит параллели с мировой литературной традицией, выстраивая диалог с Верленом, Рембо, Хемингуэем, Нервалем, а также с искусством граффити. Поэзия и городское пространство, памятные таблички, стрит-арт, эпизоды городской жизни образуют единое полотно, в котором исторические и художественные реперные точки служат ориентиром для проживания индивидуального поэтического опыта.

Из сборника «Выход в море»

ШЕСТАЯ

Цепляться изо всех сил за несколько
спасительных проблесков света:

В маленьком узком садике соседнего дома,
зажатого многоэтажками, букеты золотой форзиции,
эфемерной, озаряют меня. Четверть часа в день,
когда друг верный между четырьмя и пятью
стоит у меня под окном. Я же на четвёртом этаже
на улице Сент-Аманд, пустынной и безлюдной,
а друг на краешке тротуара — мы громко обмениваемся
последними новостями. Чудо это — наше общее дыхание,
когда столькие умирают от нехватки аппаратов ИВЛ.
Умиротворение — каждый вечер в восемь,

когда соседи открывают окна
и аплодируют труду медиков.
Мы тоже выпрямляем спину, стоим у окна.
Аплодисменты ещё долго дрожат
в резонансной коробке улицы,
сливаясь со звучными завихрениями
«Тёмной утрени» у меня в голове,
а головушка всё сильнее кружится и клонится.
Plorans ploravit пронизывает меня.
В черепной коробке стреляет и я рыдаю.

ДЕВЯТАЯ

Радио повторяет:
*число смертей от COVID в мире
продолжает расти.*
Никогда мартовское и апрельское небо
из парижского окна не было таким голубым.
Слишком голубым? Ирония Бога-кукловода,
что дергает за ниточки танцующую смерть?
Тысячи интубированных больных
в переполненных реанимациях с трубкой в трахее
больше не могут дышать. Скоро павильоны Ранжиса
превратят в импровизированные морги.
Главное — не думать слишком много.
Просто отправлять студентам по интернету занятия,
они сидят на карантине в одиночестве, боятся будущего.
Доклад о *«Леноре»* Бюргера в переводе де Нерваля
как нельзя кстати:
«Die Toten reiten schnell! Hop! Hop!»
«Мёртвые быстры! Оп! Оп!»
Каждый вечер мы с живыми поднимаем стаканчик сидра
в память о мёртвых
Как быстро их кремируют: Оп! Оп!

ДЕСЯТАЯ

Понять по телефону что: ты постепенно сгораешь.
Голос, закутанный в детство, едва слышен,
ты перебираешь последние воспоминания.
Слова истончаются. Жизнь тоже. Молить: *карабкайся
вверх*. Набраться сил. Ты с трудом дышишь: *Попробую*.
Но твой истощённый, почти неслышный голос
брошенного ребёнка говорит мне что:
ты не будешь пробовать. Когда ты сдался?
Твои последние слова: *Хемингуэй писал, что любовные
истории всегда заканчиваются плохо —
расставанием или же смертью*.
Утробный голос, навсегда запечатлённый
глубоко в животе моём, —
я хотела бы укутать тебя каждой своей слезой.
Сейчас стоны вокализов сопрано
выходят из моей головы
закрученными потоками огня, которые меня обжигают.

ПЯТНАДЦАТАЯ

Но
что мне делать с вами,
мои ушедшие, мои эфемерные?
Что делать с утраченным отцом
и теперь — с тобой,
дорогая?
Вас из меня
вырвали.
Что есть скорбь?
Медленно перевести вас,
дать вам соскользнуть
извне

в самую глубину меня.
Постепенно усвоить вас
сделать внутренними.
Нет у меня больше отца.
Но есть отец
внутренний.
Нет у меня больше дорогой.
Но есть дорогая
внутренняя.
Мои эфемерные, мои ушедшие,
я ношу вас
в своём чреве.
Я беременна всеми вами.

НА УЛИЦЕ ДЕКАРТА

Конец локдауна. Потребность в телах
и лицах. Выйти на улицу. Носы и рты заткнуты.
И всё-таки выйти на улицу.
Изголодавшиеся по улицам и ритмам.
Антенны глаз и ушей, широко
распахнутых навстречу пёстрым бульварам.
Наконец ощупать живой Париж.
Странная хореография фигур
в масках, что двигаются как сомнамбулы,
не касаясь и не задевая друг друга:
на расстоянии
не менее метра —
словно все они несут одну и ту же табличку:
Noli me tangere.
Для первого побега
выбрать улицу поэтов: побродить
по улице Декарта. По улице Верлена,
не так ли? На доме № 39 — ржавая табличка:

«В этом доме умер 8 января 1896 года
поэт Поль Верлен». Ниже — маленький ресторан
традиционной французской кухни:
«Дом Верлена». Шершавые стены.
Неприметный. В витрине —
два портрета:
Верлен и Рембо.
Выцветшие ксерокопии, почти стёртые,
и звуко-эхо — строки бедного Лелиана:
«Il pleure dans mon cœur» —
ну конечно!
На земле валяется грязная маска.
А вот напротив, в доме № 40,
выбеленном —
коктейль-бар в богемном стиле
под названием «Пьяный корабль».
Что может быть прекрасней?
Но рестораны закрыты на замок,
металлические решётки опущены
из-за пандемии. Сидя по-турецки
на старой ступеньке «Дома Верлена»,
двое подростков в масках
без удержу пишут стихи
в пустой тетради.
Иногда рисуют огрызками карандашей
радостные лица.
Руки измазаны красками,
будто они хотят
раскрасить пальцами всё вокруг.
Я тоже сегодня хочу писать,
окунув руки в краски.
Я чувствую — значит, я существую.
Маски подчёркивают их широко раскрытые глаза.
Почему бы им не зваться
Поль и Артюр? На доме № 39 — ещё одна табличка:

«Хемингуэй жил здесь
с 1921 по 1925 годы». Сегодня для нас
«Париж — это праздник, который...».
В витрине «Дома Верлена»
размытая фотография
Хемингуэя, болтающего без умолку
с поблёкшими портретами Верлена и Рембо.
«Вы знаете, что такое поэт?..» Верлен
писал меланхоличного Рильке
из «Записок Мальте Лауридса Бригге»,
когда тот жил неподалёку, на улице Тулье, 11,
один, ожидая смерти.
Его единственная родина — поэзия. Не в стихах. В прозе.
Он хотел *учиться видеть* и мыслить
глазами. Ему тоже досталась
безупречная памятная табличка
на шершавой стене дома,
превращённого на первом этаже
в аккуратный прохладный
магазин гавайских суши
со странным названием *Pokè Fresh*.
Человек в маске смерти скользит прочь.
На облупленном углу улицы Декарта, дом 40, —
большое синее дерево Алешинского
и стихотворение Ива Бонфуа.
Они образуют высокий диптих
на серой стене. Окликают нас, как ветер:
*Прохожий,
посмотри на это большое дерево
и сквозь него —
этого может быть достаточно.
Ибо даже разорванное, запятнанное,
уличное дерево —
суть вся природа.*

Заляпаны и слова насущного стихотворения
Ива Бонфуа. Почерневшие.
Почти нечитаемые. Приглушённые пятна
имеют странную форму —
ты хочешь их сфотографировать.
Рядом со стеной и стихом трогательно растёт
настоящее, чахлое «уличное дерево».
Нравится,
что стихотворение обрамлено
тощим деревцем и синей фреской нарисованного дерева.
Вот что сегодня поэзия. Смеюсь, пытаюсь
всё это сфотографировать целиком.
Отступаю на несколько шагов,
пританцовывая. И вдруг за светлым изгибом
спины — цветной трафарет
художника С215: мимолётный стрит-арт —
Туссен-Лювертюр
на служебной двери
лица Генриха IV,
на сияющем перекрёстке улиц Декарта и Кловиса,
в серии «Знаменитые! О Пантеоне».
Пусть поэзия и живопись, обнаруженные,
наконец, оставят книги
и сорвутся с разноцветных стен — в жизнь.

GRAFFITI 2

Двадцать лет спустя
на углу
улиц Пьер-Николь и
Фёянтин внезапно
вспомнить стихотворение «*Aux Feuillantines*» —

но это не Виктор Гюго, а загадочное граффити,
нанесённое краской из баллончика, с двойным смыслом,
в нём вопрос нам самим:

«Человек человеку?»

мы не вернулись

с пустыми руками.

УЛИЦА ВЪЕЙ-ЛАНТЕРН

Она исчезла,
улица
Въей-Лантерн,
где удавился де Нерваль
26 января 1855 года.

Этим утром попробую
перевести стихотворение русской поэтессы Елены Шварц —

Вдруг брошу книгу и бегу

В ночную даль

Искать проулочек глухой,

Где удавился де Нерваль.

Она исчезла,
улица
Въей-Лантерн.

Театр де ла Виль
был построен
на её месте.

Но я всё ещё ищу её,
улицу Въей-Лантерн,
где удавился

де Нерваль.

КРИК 2

Хочу лишь уловить шёпот улиц
зашумлённую материю
(я слышу — значит, я есть)
быть ловцом звуков
и ритмов
быть подключённой к городскому гулу
но без кабеля
микрофона наушников и штанги
только
блокнот звуков и ритмов
и умение быть невидимой
инкогнито
Сегодня
улица не шепчет
есть лишь глухое
скандированное шипение
что всё нарастает
Улица скрипит щебечет бормочет
шепелявит сюсюкает визжит
и вдруг
скрежещет
как старое спущенное колесо.
Почему?
Потому ли что она становится
резонатором
усиливающим жалобу
безмолвных?
Сегодня
она тараторит
разбухает и раздувается
становясь криком
что это? что стряслось? ничего особенного?

бездомный рядом со мной закричал

Эфрат МИШОРИ

(Тель-Авив)

Перевела с иврита Гали-Дана Зингер

ЦВЕТОК, КОТОРЫЙ ВСПЫХНУЛ НА МИНУТКУ

Цветок, который вспыхнул на минутку в прекрасном
свете лепестков —
Цветок, который нежно протолкнулся кверху, не высказав
об этом своё мнение.
Цветок, которому знакомо было благородство его икр
лишь в изумлении

Превосходящем их рост —
Цветок, узнавший белизну своих корней
В прозрении его взгляда, пробившегося
И потом поникнувшего.

Цветок, который погрузился целиком в еще не раздав-
ленном восхищении —
Цветок, выросший в смущении у подножия восторга,
Не грабившей, не обиравшей.
Цветок, который следовал в восхищении за россыпью
солнечных лучей —
Цветок окружённый светом, таким же тёплым и стыдливым,
как он сам,
не обжигавшим и не покрывавшим.

Покуда как-то раз не появился грязи ком
Им вбили поражение крестьянским сапогом:

Поймали на горяченьком с высящим языком,
медоточивым, лишним и крошечным лицом,

Взошедшим над собою под солнца колесом,
там, на границе сада, рядом с лающим псом.

ФИГУРА

Бормочет она или моет,
медлительна или скоро,
она ту же форму откинет
ей двигаться дальше пора:
она проживает в реальности,
которая никогда не сойдётся с фактами
волнуется тем,
что никогда не примут за фантазию.
Плетёт то,
что всегда называет «ковром»,
а другие не назовут даже «облаком»
и, зная, что ему суждено рассыпаться,
наступает
на следующий ком.

БАЛЛАДА ДЛЯ ВОПРОШАЮЩЕЙ

Докель простирается чаша сия, наставница моя,
отчего ее не укрепят?»
«В трёх скрепах отсюда, детка моя,
деревянные двери скрипят».

Докель простирается чаша сия, наставница моя,
отчего ее не смешают?»
«В трёх смешеньях отсюда, детка моя,
огромное пламя вещает».

Докель простирается чаша сия, наставница моя,
отчего ее не поглотят?»
«В трёх глотках отсюда, детка моя,
маленький глаз помутят».

* * *

Пишу, как дитя,
забывшее, что училось ходить

хожу, как спящий,
чей сон разрешён до конца
не ращу ничего,
даже мозоли.

УПРАЖНЕНИЕ В ЯЗЫКЕ

с. 69 TEXT ONLY

Наполнить иврит
тем, что не иврит.

(Наполнить то, что не иврит
тем, что только иврит.)

Наполнить изобилующий словами иврит
содержимым пустых от жидкостей корыт.

Опустошить иврит в ближайшие дни
от способности отмыть корыта от болтовни.

Описать полней
пустоту корыта на дне:

Сдвинуться —
от пустого от молока корыта
к полному водой ивриту.

Перейти выше —
от пустого корыта
к пустой крыше.

Прыгнуть —
с пустой крыши
за пределы пустой крыши.

ДА

Да,
именно да.

Именно на той идиотской пашне,
с белым месяцем сверху и жёлтой соломой внизу, когда

мои ноги раздвинуты
бесстрашно,

и малый головы моей вилок
укроет на своей груди

дурацкий мой милок.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

белый парус
воспитывает море,
плющит волны.
выспренный
декорум
и цвет.

BIOSPHERE TWO

Биосфера to be or not to be
Биосфера еще и больше ничего
Вроде единицы,
которая подготовила землю для двоих,
вроде тройки,
которая превратила настоящее в прошлое
и обратилась
к будущему,
по сути, как всякое сущее,
кое есть уменьшенный оттиск большего,
причем узловое слово здесь -
отношение, не количество:
теплое отношение,
холодное отношение,
хорошее отношение,
плохое отношение,
маленькая Вселенная создана
по образу большой Вселенной,
но тебе повезло,
так эволюция происходит
как у сказителей:
одно удачное сношение
способно исказить программу,
причем узловое слово здесь - отношение,
не количество:
один,
злодей,
одно,
большое первичное соединение клеток
делится и перемещается

Нюргун БООТУР

(Внутренняя Монголия)

ОХТУГАН¹

Якутская поэма

Вот абаасы, глава их —
Улуу тойон, Великий
Господин, он ими правит.
Но никто из тех, кто землю
Топчет, по земле кто ходит,
Никогда того не знает,
Кто он, Господин Великий,
Может, может, айыы он,
Может и абаасы он,
Никогда никто не знает.

Говорят одни: «Великий
Улуу тойон — свирепый,
Сына, Хары Суоруна,
Тоже не найдешь суровой.
Да, абаасы скорее
Называть обоих будем».

«Нет, — другие отвечают,
Добрые дела творит он,
Улуу тойон, Великий,

¹ Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Тоже иногда добром он
Людям помогает, ну а
Где абаасы творили
Доброе, вы мне скажите?»

Улуу тойон, Великий,
Сюр дал людям, и огонь он
С вороном прислал на землю.
Создал людям он шаманов,
Для лечения им создал.
И богатырей великих,
И простых людей он судит
Вместе с Белым Господином,
С Юрюнг айыы тойоном.

Ни один шаман не вспомнит,
Чтоб от Улуу тойона
Мог спасти властитель Белый.
К Юрюнг айыы тойону
Тот не смеет обращаться,
Кто Великим вдруг обижен.

Но не все, добро кто делал,
Звались айыы, один был
Дух, Кыдай Бахсы, кузнечных
Дел священный покровитель.
Жил внизу он, в нижнем мире,
Никому не подчиняясь,
Никому из самых властных,
Никому их самых сильных.

Улуу тойон, Великий,
Жил на самом дальнем небе,
Лишь великие шаманы
Подниматься вверх умели.

К Улуу тойону близко
Подходить они лишь смели.
Трижды девять остановок
На пути они, шаманы,
Делали, чтоб к Господину
Долететь, да, трижды девять!

Дети Улуу тойона —
Вот они главами были
Всех родов, племен старейших,
Всех абаасы, что в верхнем,
В верхнем мире проживают.

Всех по-разному шаманы
Их описывать берутся.
«Люди, люди, но огромны,
Выше гор и выше солнца!»
«Да, как люди, даже ростом,
только головы вороны».
«Не вороны — человечьи».
Так шаман с шаманом спорил.

Ньяадьы Дьангха — хозяйка,
Дочка Улуу тойона,
Он прислал ее на землю,
Добрую хозяйку хлеба.
И от нападения духов
Скот хозяйка охраняет.

Улуу тойон, Великий,
Он наш предок, воспитатель,
Нас, великих ойуунов,
Улуу тойон отметил

Жребием своим, зовется
Воронов отцом крылатых
Улуу тойон. Кто птицу
Ворона найдет священной?

Там, вверху, так духи жили,
Улуу тойон, Великий,
И абаасы другие,
Как якут живет богатый:
Юрту и семью имеют,
Скот, и каждый — свою землю —
Точно, как якут богатый.

Духи, те, кто подчинялись
Там Великому тойону,
В средний мир спускаться могут
И в деревьях поселяться.
В тех деревьях, что раскрыты
Им расщелиной, деревьях.
Для людей обычно духи
Незаметны, но как лето,
По земле они гуляют,
Вихрями гуляют духи.

Злые духи понимают,
Человека слово знают,
В юрту проникать жилую
Могут духи и болезни.

Даже скот враждебных духов
В средний мир умел спускаться,
Скот абаасы спускался —
Это горе так уж горе!
Хара сылгылаах, дух тот,
Что коней имеет черных,

Летом в средний мир сгоняет
Часть телят и жеребят он,
Попасться на травах тучных,
На земных обильных травах.
Так пасется скот незримый,
Скот абаасы пасется,
На лугах, где наши кони
И бычки пасутся тоже.
Кэб и сюр травы съедает
Скот невидимый — и сути
Нет в траве. Когда немного
Духи скот свой пригоняют,
То вреда те не наносят,
Мирно с нашими пасутся.
Но когда незримой тучей
Хара скот свой надвигает —
Вся трава тогда пропала —
Есть трава, но сути нет в ней.
Скот земной съедает сена
Много, что на зиму спрятал.
Долгая зима, но сено
Быстро в брюхах исчезает,
Кони же не станут толще,
А худеют и худеют —
Да, едят, и все тощат —
Рано по весне сгоняют
В те года пастись скотину.
И голодные, худые,
Снег копытами сгребают.

Там, на светло-желтом небе
С кучевыми облаками —
Ярко-рыжим табуном там
Управляет дух могучий.

Если жеребец вдруг рыжий,
Стада этого потомок,
Спустится сюда, на землю,
И войдет к земной кобыле,
То родится жеребенок —
Чиччик, будет он уродлив.
Жди тогда — умрет хозяин,
Если чиччик тот — жеребчик,
Ну а если вдруг кобылка,
То хозяйка умирает.

Никогда якут не скажет
Духа имя, настоящим
Именем никто не смеет
Тут абаасы назвать, ведь
Он придет, услышав имя,
Кто же хочет злого духа
На себя навлечь? Их звали
Не по имени, а просто,
Чтоб они и не узнали,
Что о них здесь речь ведется.

Имя Улуу тойона —
Это вовсе и не имя.
Как себя он величает,
Как зовут его — не знает
Уж никто из самых старших,
Улуутуйаром, Грозным,
Называют все того, кто
Сюр дал людям и того, кто
Всем абаасы хозяин.

Так других зовут не прямо:
Кэкэ Чуораан тойоном,
Господином Говорящим

Кличут одного, другого
Хара Суорун тойоном,
Черным Непреклонным, значит,
Господином называют.

По мастям коней зовутся:
Хара Сылгылаах, значит —
Черного Коня имеет,
Кугас мангаас имеет
Рыжего, да с белой мордой.
А Дьэнкир манган — имеет
Белых табуны коней он.
Кто коней имеет белых?
Юрюнг айыы тойон сам —
Вот кого шаман зовет так.

И абаасы считался
Айыы Орел, крылатый,
Хотой айыы, отец он
Всем орлам, кто его знает —
Айыы, абаасы он?
Сам не спустится — не скажет.

Там, вверху, свои шаманы
Проживают и шаманки
Кыыс танара аймага —
Духа-Девицы потомство,
Так одну зовут — еще есть
Халаан Дьоыл шаманки —
Нерожающих небесных
Несколько таких шаманок.
Иногда к ним причисляют
Тех, кто в верхнем мире ходит,
И юёров — суть — шаманов,
Что уж умерли, а после

Начали своих потомков
Вдруг преследовать — юёры.
Далбар Чуонак живет там,
Он и многие другие.

Под землею мир есть нижний,
Где щербатый тускло светит
Месяц, солнце тускло светит,
Там, где травы и деревья
Из железа так ужасны,
Так уродливы, что даже
Ютюгэном называют
Нижний мир, мрачней нет слова.
Кэтит ютюгэн, широкий
Юедэн тюгэгэ, значит —
Дно, мрачнее нет печали.
В ютюгэне обитали
Существа, подобно людям
Внешность их была —
Но Солнце испугалось бы, увидев
Лица их — таких уродов,
И земля б не удержала.

Семь племен там, в нижнем мире
Обитают, и глава их —
Арсан Дуолай, живет он
В ютюгэне, и на самом
Дне живет он, там, где топи,
Грязь, болото — пауки там
Даже вязнут, вот живет где
Арсан Дуолай, чье имя
Полностью шаман лишь знает:
Арсан Дуолай Буором
Мангалай Луо Хааном
Называет он владыку

Мира нижнего, что значит
Арсан Дуолай, Чье Брюхо
Земляное, Господин, суть
Луо Хаан — вот зовут как
Все шаманы властелина
Ютюгэна, мира снизу.

Что такое значит Луо —
Луо — это зверь с зубами —
Суть — дракон, злой дух, и луо
Многие зовутся духи —
Те, что духов всех свирепей
И ужасней, вот кто луо.

Семь сынов имел ужасный
Арсан Дуолай, племен всех
Главами они считались,
И Мычащий Ынгыранар
Луо хаан, тоже сыном
Был, один он из семи, кто
Тоже луо назывался.

Семь племен всего считалось,
И родов их — трижды девять,
Но четыре только духа
Среди них главнее были:
Арсан Дуолай, конечно,
Луо Хаан самый главный,
Дальше — Луога Хан, та, что
Госпожой зовется, третий —
Буор Тюсюмэл — да, парень,
И Хан Мангалай — да, девка.

Луо-рыба. В нижнем мире
Луо-рыба обитает —

Ёлёр ёлюю — смертей смерть —
Луо-балыга живет там.
Голова и два хвоста есть
У нее, у луо-рыбы —
Смерти и несчастий рыбы,
Луо-балыга ужасной.

Ёлёр ёлюю — смертей смерть —
Бык Луо хаан огуса
Есть в ужасном ютюгэне —
Смерти и несчастий бык есть.
Крупный рог один имеет
Прямо лба посередине.
Если он взойдет на землю
И войдет к земной корове —
То родится тоже чиччик —
Да, уродливый теленок,
Жди тогда — умрет хозяин,
Если чиччик тот бычок был,
Если телочка родится —
То хозяйка умирает.

Арсан Дуолай, еще есть
Имя у него: Хозяин —
Пегий Удалой Хозяин —
И ему приносят в жертву
Только пегую скотину.
Больше никого не звать так,
Лишь по имени скотины,
Приносимой в дар и в жертву,
Только Арсан Дуолая.

Столь владения обширны
Мира нижнего, что даже
В разных сторонах живут там
Духи злые всех болезней.

Чтобы к ним скорей добраться,
Делали шаманы девять
Остановок, вниз спускаясь,
Ровно девять остановок.
Там живет Бургуйа Харса —
Сам хозяин и хозяйка,
Сын их Буос Бахайдаан,
Он бесплодный, и бесплодна
Дочь их Буос Бэсириин.

В нижнем мире — так живут там,
Как живут якуты в среднем:
Земли там свои имеют,
Юрты, жен, детей, скотину.
И болеют, словно люди.

Так, шаман, когда являясь
В кэтит ютюгэн, чтоб душу
Взять, он застаёт там
Госпожу-абаасы он,
Застает он там больную.
Просят покамлать шамана
Над больною госпожою,
Но не хочет он, и только
Заклинанья произносит,
И за это получает
Душу, за какой пришел он —
Кут больного человека.

Если человек в мир нижний
Вдруг случайно попадает —
Или же через пещеру,
Или просто провалившись —
Что он видит? Видит юрты,
Семьи, скот богатый видит.

Духи молоком питают,
Мясом животы тугие.
Но не видят эти духи,
Кто с земли к ним вниз спустился:
«Это в камельке трещит там,
там огонь трещит, и только».

Если же земной пришелец
Дочь вдруг чью-то облюбует
И ухаживать возьмется —
Захворает та, шамана
Ютюгэнского там кличут.
Вот кто видит человека,
Кто его назад прогонит!
Кто же люди? Злые духи
В мире нижнем, в ютюгэне.
И шаманы в нижнем мире
Прогонять людей умеют —
Так камлают там шаманы.

Некоторые из юёр в том мире,
В мире нижнем обитают,
Вся посуда там ущербна —
С трещиной да со щербиной,
Светится, когда здесь, в среднем,
В среднем мире умирает
Женщина или мужчина,
То ему с собой посуду
Тоже портят, и одежду —
Все, что в месте погребенья
Оставляют, сразу портят.

Иногда и ютюгэнцы
Поднимаются на землю,
И, невидимы, здесь портят

Скот, людей, болезнь приносят.
Видят их лишь ойууны,
И кёрбюёччу — те люди,
Что глаза на то имеют.

Сказ пойдет о среднем мире,
Нашем мире, обитают
Здесь животные и люди,
Духи рек, озер и даже
Гор хозяева живут здесь.
Кроме них блуждают вечно
Здесь абаасы, болезни
Нам приносят, нам — и людям,
И животным, что меж нами.
Не абаасы, что старше,
Древние абаасы, те дальше,
В нижнем мире обитают,
И еще на южном небе,
И на западном, не эти.

Если человек земной вдруг
Умирает, смерть приходит,
Селится тогда в мир мертвых
Он, и там живет, однако
Появляться он не смеет
В мир людской. Но если только
Он становится юёром,
Духом злым, он появляться
Может меж людей, и только.

Умирает, умирает,
Сюр и кут к началу смерти
Улетают, там, где духи
Вновь умершего пытаются:
Кут и сюр твои желают,

Может быть, в юёр, подумай,
Превратиться? Если хочет
Человек, который умер,
Вдруг в юёр оборотиться,
Духи превратят пришельца
Вмиг в юёр, и в мир наш средний
Выдуют, чтобы жить мог
На земле уже умерший,
Душам вид уж человеческий
Придают, и внутрь вселяют —
Да — абаасы — и бродит
Он по миру, тот умерший.

Смертным он уже не виден —
Он — жилец чужого мира.
А еще такой обычай
У якутов существует:
Тех, кто умер, называть их
Уж по имени нельзя нам —
Вдруг, став духом, он блуждает
По земле и отзовется —
И придет к тому, назвал кто
Вдруг по имени, несчастный!
Заболеет или сам он,
Или на родных накличет
Несчислимые болезни —
Не зовите имя мертвых.

Как же звать их?
Звать юёр их, всех юёр —
Табун их, стадо.
Носятся они по миру
Суетливою толпою,
Потому юёр зовутся,
Так вы их и называйте.

Временно юёр бывают
Те, кто умер, и ошибку
Допустили в погребенье
Его родственники: то ли
Был обряд не соблюден вдруг,
То ли мертвого желанье
Не исполнено, последним
Бывшее его, тогда он
Своих близких навещает,
В снах приходит он и просит,
Чтоб исправили ошибку,
Или шлет с шаманом просьбу.
И когда они исполнят
Просьбу духа, то тогда он
Вечно в мертвых мир селился
И живых не беспокоил.
Ну а если не исполнят
Просьбу духа, то тогда он
Чинит вред родным и близким,
Всюду мучит он живущих.

Ну а если зверя-предка
Кто убьет, иль предка-птицу,
То, конечно, тот и станет,
Умерев, юёр уж точно.

Посвященный духам белый
Конь, он станет после смерти
Не юёр — абаасы он,
Он преследует своих же
Внуков и других потомков,
Что остались и служили
Тем, кто духам предка предал.

Но еще есть в среднем мире
Существа, что нам мешают
Души получать скотины.
Исэгэй Айыысыт, дева,
Раздает скотины души.
Босол господин мешает,
Мосол госпожа мешает
Души получать животных,
А живут они на грани,
Грани между миром средним
И страной айыы дальней.
Там их юрта, там загоны
Из жердей обледенелых.
В тех загонах души держат,
После — сына посылают.
Буос Бэсирик сгоняет
Скот обратно к Айыысыт.

И, конечно, залетают
Духи двух миров — что ниже,
И что выше — залетают.
С худым ветром, что к нам дует
С северного края, вихрем,
Вихрем по земле несутся
Да огни вокруг пускают,
Где огонь — болезнь там будет.
И в уродливых деревьях,
В дуплах часто поселяясь,
Так живут средь нас пришельцы
Мира сверху, мира снизу.

Только если дух на помощь
К ойууну сам приходит,
То тогда шаман умеет

Сделать все, что делать должен.
Чем сильней шаман, тем больше
Духов у него. Но мало
Нас, великих ойуунов.

У Великого шамана
Духов много, духи мощны,
Среди них всегда есть главный,
Дух — могучий Покровитель.
Это он тогда шамана
Заставлял начать камланья,
Он заставил человека
Ойууном стать, шаманом.
Это был один из рода
Нового шамана. Умер
Предок — и шаманом
Должен мальчик стать из рода,
И теперь шаман умерший
Новому — дух-покровитель.
Очень редко покровитель —
Кто-нибудь, кто в верхнем мире
Значим, очень, очень редко,
Кто не предок для шамана.

Духи, что являлись зову
От Великого шамана,
Те являлись в виде лося,
Пороза-быка, медведя,
Волка, жеребца, орлами
Иногда они являлись.
К слабому шаману духи
Прибывали, обернувшись
Дятлом и кукушкой-птицей,
Да собакой — чем-то серым.

А помощников сзывает
Ойуун своих он, личных
Созывает: то ли люди,
Что невидимы, приходят,
То ли птицы, звери, рыбы.
Вот один набор такой был:
Человек хороший, заяц,
Рыба, ворон и гагара,
Да еще была кукушка.
Их изображенья в виде
Металлических пластинок
На костюме пришивались,
Бубен — вот еще помощник,
Он в коня оборотиться
Может, должен при камланы,
Вот на нем шаман и ездит,
Ойуун, шаман великий.

Местных духов при камланы
Тоже звали: «Приходите!
Приходи, хозяин юрты,
очага хозяин тоже,
Приходи и помоги нам!»

Вот как духов обретали,
Покровителей шаманов.
Раз, когда Тюспют шаманом
Не был, он на север ехал,
И на кучу дров набрел он
И поджег их, замерзая.
Под той кучей похоронен
Был один шаман тунгусский,
Да, великий, знаменитый
Похоронен там шаман был.
Так Тюспют и стал шаманом —
Покровителя нашел он.

Каждый дух-помощник дело
Знал свое, и знал шаман, что
Дух такое дело знает.
От чахотки помогал тот,
А другой лечил младенцев.

Были также, что в лечение
Не вступали — охраняли
Ойуунов, кут и сюр их:
Ийэкыыл — да, зверь-мать,
Лось, олень, медведь, лисица,
Если рану получает —
И шаман от боли воет —
Кровь там хлещет из шамана,
Там, где мать-зверь пробита.
Если мать умирает,
Что ж — шаман погибнет тоже.
И понятно, что шаманы
Место тщательно скрывают,
Где их мать-зверь сокрыта.

(Продолжение в следующем номере)



ПРОЗА



Леонид ПОТОРАК

(Прага)

КОНЕЦ СТРАННОЙ ГВАРДИИ

Но оставь, художник, вымысел.

А. Галич

1

Шуня, дружище.

Ещё не выветрились из меня ваши вина и коньяки. Честное слово — мне в поезде снилась бутылка армянского коньяку в длинной фате. Я сказал «да». Жизнь чудна и полна незаслуженных даров. Женился ты, а медовый месяц у меня — золотое солнце дрожит на гребешке лесов над нивой, и из него, проколотого веткой, льётся мёд.

Я уже нацелился на Белецкого — это будет фигура! Офицер, рисовальщик, наблюдатель и молчун. Ух, какого я нам сочиню Белецкого!

Вот тебе пока мои буколики.

В субботу приехал. Малул Алб — деревня о шести улицах и клубе. Аборигены говорят плачущими голосами «Ма-алю-альб» с таким сочувствием, точно это не деревня, а болезнь. К моему приезду, подозреваю, тайно подготовились. По крайней мере, другого объяснения у меня нет. Все спешат, поговорить со мной ни минуты нет ни у кого: там сенокос, здесь утконос, привезли навоз, вот в чём вопрос, Шуня — на черта? Это Молдавия, я о ней пятнадцать лет грезил, как о Рио-де-Жанейро.

Аборигенка. Хотел смуглых молдаванок? Так вот эта соломенная, выгоревшая девица, разве что с весьма приличными ногами. Не люблю блондинок, есть в них или что-то детское, или глупое. Первое меня просто не интересует, а второе так прямо отталкивает. Вот моя подростковая фантазия оказалась на деле белобрысой трактористкой. Был разочарован-с.

— А вы тот писатель? (А я говорил, подготовились!)

— Да. Борис. А вы?

— Лида. Меня судить будут.

Такое вот мне досталось начало истории.

Это я её застукал, когда исследовал хозяйшкин дом, а там за домом есть не слишком, видимо, интересный населению пустырь, где можно плакать. Вот Лида там и плакала. Не ожидала, бедняга, что я пойду осматриваться. Я спросил, за что же её судить? В общем, драма там была в том, что она после кукурузы дисковала поле, задумалась и выехала на пшеницу. На три метра за границы делянки. Я слушал и видел, как у неё дрожит нижняя губа. На товарищеском суде Лиду вечером пропесочат до самых её выцветших, ситцевых костных мозгов. Мне стало страшно жаль эту первую мою встречу с действительностью. Поговорил с ней. Что, мол, железно — не она одна такая на свете, и даже Авель, я уверен, тоже выходил за границы делянки. Что три метра — это не жизнь. Она кивала, но не верила.

— А если, — тут Лида зарыдала изо всей силы (я не знал, куда деться, и что делать с ней), — скажут, что я пьяная была. А я — как стекло!

(Вот вписал тебе сейчас про Лиду. Это — ружьё на стене, старик. Оно будет смотреть на тебя своим отверстым дулом, да-с!)

Сию в углу сельсовета, за окном ковёр ультрамариновых теней, благодать! Письмо Клеопатры у меня, оно

цело, как если бы пролежало свои сто тридцать лет в хорошем архиве. Какой слог, ты бы знал, как это прекрасно, когда она пишет по-французски. Ты дорого бы заплатил, чтобы тебе так писали. Алиске, если она это читает: «Алёк! Ты лучшее, что случилось с Шунягой, так что давай там не это. Смачно целую в нос. Конец вставки».

Но как ошеломительно это письмо, дорогие мои, как сногшибательно.

Ко мне снизошёл географ, откопавший его, — именно так, они тут все снисходят, без тени гостеприимства. Такой клад пролежал в землемерных картах. Я в восторге.

Поясню. Это, конечно, совершенно ужасно написано. Это не салонный французский, это пишет бессарабская дворяночка, и я клянусь, что теперь знаю о ней больше любого зануды-архивиста, я вижу её — не воображаю, но вижу во всей её простоватой прелести. «Позвольте мне с должным почтением и осмотрительностью обратиться к Вам с сими строками, кои, быть может, покажутся излишними. Однако удержать их...» — это чтобы ты составил впечатление. Сейчас выберу просто бриллиант: «Вы отбыли столь поспешно, что и ветер, вьющийся над озимью, не успел запомнить следа Вашей ноги». Слово в слово так. Вьющийся над озимью, *le vent, qui se promène au-dessus des blés d'hiver*, да! Понимаешь, насколько она была одинока здесь — для самого захудалого света несчастная девочка не годилась, а соседи были ей не ровня, и вот она спасалась тем, что читала, читала! Откуда ещё взяться таким формулировкам? Ветер запоминает след вашей ноги. Она верила, что французский язык существует для этого. Давай, переубеди меня, скажи, что её родители не были застрявшими в прошлом веке феодалами, что брат относился к ней не как к бесполезной дурочке. Попробуй мне это сказать.

Учитель географии по-французски, естественно, знает только, как он «с французом дружил, не забыть наших встреч». В общем, он оставил меня тут, и я сижу, довольный, как слон.

«Я не знаю, получают ли это письмо когда-нибудь Ваши руки, и не осмелюсь передать его кому бы то ни было. Оно будет спрятано между страницами латинского словаря, что Вы оставили здесь, и, если судьба позволит Вам возвратиться, — быть может, Вы его отыщете. Нет, я отправлю его, непременно отправлю! Шуня, это счастье!»

2

Дальше было вот что. Из Кишинёва приехал историк Кислёвский, ругался, что письмо Клеопатры попало в руки мне, а только потом — ему. Я чуть не плакал, отдавая моё сокровище в мрачный его портфель.

Интересное:

Первое письмо нашёл Кислёвский, а не географ. Вернее, Кислёвский нашёл его у географа, потому что географ с находкой не собирался ничего делать. Кислёвский работал с теми самыми землемерными картами, которые географ нёс ему навстречу.

— Он же контуженный. Сумасшедший. Он шёл через поле и заблудился в кукурузе. Стал прыгать, чтобы посмотреть, где стоит, ну и посыпались книжки... Я помогал собрать, поднял что-то — и сразу понял, какое чудо заполучил.

— Сумасшедший — это, надеюсь, фигура речи?

— Если бы. Когда корреспондент уже уезжал — вы, я так понял, с ним знакомы, — он мне обмолвился, что есть и второй лист. Географ его день таскал по школе, потом вложил в учебник и забыл.

— Как так, забыл? — не поверил я.

— Молча. Кто ж знает, что у него в голове? Чудаковатый, безвредный учитель, но я его готов был придушить. Я-то о втором листе ничего не знал и был уверен, что единственное письмо теперь у меня, а репортёр пусть хоть до родственников в десятом колене учителя роет... — примерно так мне сказал Кислёвский.

Что может заставить человека употребить в эпистолах диалоги, старичок? Только поза. Только пошлый маньеризм.

В Кишинёве смогу прочитать первое письмо. Пейте за нас с Клеопатрой Боловану! И за то, чтобы первое было не хуже второго.

— При мне он хорошо держался, — вступился я за учителя. — Но неприветливый, это есть.

— Псих, — твёрдо сказал Кислёвский. — И не только он. Хоть бы мне кто помог. Председателю чуть нос не разбил от злости... (Он не был похож на человека, способного разбить нос.) Я говорю: а если у него ещё высыпались бумаги там, в поле? Если там пять таких писем ещё лежит? Ищите, говорит, как хотите, не моё дело. Я приехал, а в поле комбайн... Сейчас всё равно пойду, не прощу себе, если там что-то осталось.

Я пообещал за него молиться и отпустил с миром. Когда я тебе расписывал образ Белецкого, мы ведь знали что? — что он нарисовал портрет некой молдаванки, и то — знали только потому, что в письме, которого мы в глаза не видели, она об этом якобы писала. А как бы теперь хотелось посмотреть, что там была за пассия у него, эта Клеопатра. Фамилия Белецкий, кстати, Кислёвскому ничего не говорит, что само по себе уже и не ново, но в общем да, — там не декабрист, а седьмая вода на киселе. Я шатался по селу и пришёл поболеть за мою бедную Лиду на тов. суде. Какой чудовищно жаркий сентябрь. Насекомые жрут меня нещадно, а я всё мечтаю восполнить дефицит крови хорошим домашним вином. Хозяйка не пьёт. Или жмотится, как все тут.

Клуб здесь — это сарай из оштукатуренного кирпича с надписью «Дом культуры им. Г. Котовского» — буквы уже облезли, и Котовский теперь больше похож Котова. Аборигенские письма гласят: «Комбайнеруле, ай грижа де техника». Кроме этого загадочный: «Сей вовремя — уберёшь без потерь», и мой любимый: «Счастье родины — в точности сеялки».

На тов. суде я был настолько откровенно, вопиюще лишним, что — Шуня, я не шучу! — мне показалось пару раз, что я исчезаю, вот натурально растворяюсь в воздухе, меня как будто высасывало в вакуум. Великая неоткрытая природная сила вымарывает меня из этого клуба, как лишнее слово.

Мне дали понять, что если так оно и случится, никто, в общем-то, не будет против. Председатель с дивной фамилией Довляк (видимо, от слова «довлеть»), толстый человек в жёлтой, как зубы, рубашечке, сказал мне:

— Товарищ писатель, вы, так сказать, приветствуетесь, но и сор выносить, так сказать, не надо.

Это его «так сказать» меня совершенно убедило в том, что никакой он на самом деле не председатель, а бродячий актёр. Ну, вроде Несчастливцева. Я чуть не сказал ему, что раз уж у них тут всё настолько плохо, я могу прописать ему роль поприличнее. Но — как я говорил — после письма Клеопатры я благостен и довольствуюсь малым. И вот я сел, товарищи со всех сторон пялятся на меня, не спутали бы, грешным делом, кого тут собрались воспитывать. Передо мной сидит создание — Алисе не читай — и прямо источает флюиды жаркого, южного блюда. Чего, как ты понял, о Лиде не скажешь. Если это судья — то справедливо. Да будут точны наши сеялки. Аминь.

3

Очевидно, я надышался спорыньи. Есть такой сорняк, он выпускает в воздух отраву, от которой случаются галлюцинации. В истории были примеры. Я, несомненно, на-

дышался спорыньи. Шуня, я ещё не решил, писать ли тебе, какой казус со мной случился. Пишу сейчас, чтобы проверить, дрожит ли рука. Для Алисы: это похоже на почерк человека, надышавшегося спорыньи? Другие симптомы: бессонница, но это от ужаса. Ещё я купил фантастических, пламенных, до неприличия страстных помидоров. Президента Франклина, я слышал, хотели отравить помидорами. Их тогда считали ядовитыми. Может, правда? Буду писать, что помню, сравни со вчерашним. Кстати, мутит. Но это от бессонницы. Но рука не дрожит! Вот, какие смелые у вас друзья.

Итак, мы имеем:

Суд над Лидой. Сначала был доклад: «Гражданка NN во время проведения дискования нарушила границы участка, вследствие чего пшеница была повреждена на площади 2 метра 80 сантиметров в длину и 70 сантиметров в ширину». Почему я помню эти цифры, Алёчек? Спорынья, не иначе.

Они говорили это, Шуня, как будто обсуждали преступление века.

Я прекрасно помню, как в голодном нашем детстве ценился хлеб, и попадись нам тогда такая Лида — мы бы её прибили до суда, а если бы и был суд, то, разумеется, не товарищеский. Но здесь, на благословенном юге, где, как мне казалось, запасы зерна и сказочных фруктов бесконечны, претензии к Лиде выглядели неубедительно. Вот до какой степени я верил в местное изобилие.

Выступал бригадир и какие-то неужённые бабы. Все по очереди вздыхали, запинаясь, повторяли про эти несчастные два восемьдесят. Но смотрели не на Лиду, а на меня. Именно так, они искали моего взгляда, как будто лично я решал, чем закончится эта петрушка. Может быть, это была компенсация прежней неприветливости или дань моей ревизорной репутации, я не знал. Моя вожде-

ленная судия по фамилии Твердохлеб тоже, кстати, оказалась трактористкой. Ты представь — какие разные судьбы. Повезло ей когда-то не ступить на скользкую дорожку выезжания за границы делянки. Довляк добавил, что это уже не первый такой случай, и, если б не год урожайный, был бы скандал до самого Кагула. Потом дали слово Лиде. Вот тут началось то, что привело меня вечером того же, вчерашнего, дня к помешательству (надеюсь, временному).

Лида посмотрела на меня, поморгала блёклыми ресницами, потом обернулась к остальным, как бы говоря — невозможно же при нём. И опять все повернулись ко мне. На секунду. И пока Лида стояла, открывая и закрывая рот, такая нескладная, я пытался понять, что же на самом деле они собирались обсуждать, и надо сказать, при всей абсурдности, эта мысль объясняла хотя бы часть происходящего. Во-первых, размусоливание несчастных метров было, конечно, импровизацией. Должны же были они о чём-то говорить. Во-вторых, Лида понятия не имела, что им на это отвечать. Причём, заметь, никакие мои подозрения при таком раскладе не были для них опасны. Что я там про них могу сказать? Что молдавский колхоз скрывает истинную цель тов. суда от приезжего писателя? В цензурных рамках, куда я невольно загнал их своим присутствием, они были настолько безнаказанны — как тебе такая диалектика? — что моя прекрасная Твердохлеб даже не потрудилась сдержать язвительного замечания, обращённого как бы к Лиде, но равно и подчёркивающего моё бессилие перед происходящим здесь:

— Доигралась? — сказала она (чудесные мягкие «эль»). — Выкручивайся.

Этого Лида не вынесла. Она всхлипнула, прокляла меня взглядом и выбежала вон. И я — всё-таки, я был виноват, хотя не понимал, в чём, — пошёл за ней.

Бегают Лида быстро, и я её не догнал. Впрочем, я ведь не пытался. Мне казалось, я крикну что-то вдогонку, она остановится и объяснит, что же на самом деле натворила — мне было уже интересно, я не отстал бы просто так. Но Лида не обернулась на крик, она бежала между бурым месивом убранного кукурузного поля и жёлтым бархатом пшеничного. Солнце садилось, сел и я. На скамейке под орехом я написал вчерашнюю часть письма, потом меня стали пожирать комары, и я двинулся вдоль улицы Котовского обратно в сторону клуба, мне нужно было где-то отсидеться в тишине и написать хотя бы пару строк про Белецкого. (Хозяйка топает, как стадо диплодоков.)

Уже стемнело. У меня никогда не было куриной слепоты, это важно для моего рассказа — я не мог обознаться. Галлюцинация, точно галлюцинация. Вот, сбиваюсь. Сейчас расскажу. На дальнем конце поля я увидел светлую кепку Кислёвского. Всё-таки попёрся он туда. Проверять, не выпало ли ещё что из рассеянного учителя. Вдруг нашёл, — подумалось мне. Я замахал ему, но Кислёвский на меня не смотрел, да и шёл я в тени. Кричать на всю деревню было глупо, и я зашагал к нему прямо по стерне. Значит, срезал угол через пшеницу и ступил на распаханые просторы, которые, видимо, и довелось расширить на два лишних метра бедняге Лиде. Кислёвского отсюда не было видно, но я был в хороших ботинках и по остаткам кукурузы двигался быстро, так что за дорогой и орехами обязательно бы его нагнал.

Дописываю поверх. Сейчас будет соблазн поржать. Не ржи, Шуня.

Из темноты мне что-то забелело. Может, бумага. Иронично было бы, если сам Кислёвский её потерял. Я сделал пару шагов в сторону белого пятна, и тут меня окликнули:

— Молодой человек.

Обычный голос. Шуня, Алиска, я мог быть весь обсыпан спорыньей, но на слух это никак не повлияло! Со мной

говорили обычным мужским голосом, чуть более высоким, чем твой, Шуня, но и только! Ты бы знал, когда я обернулся, — кого я увидел.

Хорошо, это была, безусловно, фигура человека. И у него абсолютно точно были глаза. (У Алисы был слепой кот Марс, вот у него были такие же матовые тёмно-фиолетовые зенки без белков и зрачков. Спроси — она расскажет.)

Весь он был слеplен, скомкан, скручен из жухлых стеблей. Чуть выше меня было лицо из волокнистых жгутиков кукурузы. Где-то они расплетались, и, например, через щёку шёл сквозной просвет. Кукуруза не то сохла, не то гнила, она рассыпалась от каждого колебания, и когда он двигал шеей (свитой из початков и листьев), с неё опадало растительное крошево. Пахло прелью. Больше всего мне запомнилось, как медленно двигались его веки, наползая на эти слепые космические шары, они похрустывали, им было тяжело двигаться, его векам, и пока он моргал, они истончались и теряли некоторую часть. Не помню, было ли на нём что-то вроде одежды, но скорее всё-таки нет.

Он стоял. Я тоже. Ещё он, кажется, дышал. Я — не факт.

Мы так стояли секунды полторы, потом он шевельнул губами (трещина вдоль щеки расширилась), и я понял, что он вот-вот что-то скажет. И знаешь, Шуняга, в тот момент и в том состоянии я во-об-ще не хотел этого слышать.

Ух, как я орал. Всё время, пока бежал через поле к домам. Думаю, меня нельзя было не услышать, но никто навстречу не вышел и не открыл окна. И хотя мой рассудок был поколеблен, он не был утрачен, и я думал, пока бегу: что за чертовщину я сейчас увидел? И оказавшись на своей улице, я уже размышлял: не мог же я встретить на недавно обработанном поле вблизи населённого пункта эдакую мразь?

Словом, под фонарями я шёл уже прогулочным шагом, разве что запыхавшийся, как бегемот. Думал, хорошо, что никого не встретил. Не в санаторий бы меня, смею полагать, упекли.

Елена Карповна, моя миссис Хадсон, слушала радио.

— Я, — говорю, — на поле, кажется, змею видел.

— Это шарпе де касэ, — ответствовала мне Елена Карповна, — она яда не имеет.

— Да понятно, но я ж городской. Кричал там на всё село с перепугу.

— Кричали? — переспросила. — А я и не слышала.

Вот тут мне опять стало нехорошо. Потому что звукоизоляция тут, Шуня, с отрицательным значением. Это я по петухам ещё понял, что стены их не глушат, а усиливают. А я, прошу заметить, кричал. Орал, как в детстве, когда тётка уронила на меня ведро с горячей картошкой. А она — не слышала. А мне очень хотелось верить, что съехал я, конечно, капитально, но исключительно глазами, а со слухом всё в порядке, как и с голосом. Слышал же я, в конце концов, это «молодой человек».

Я сел. Сердце после бега ещё играло «буги-вуги». И тут, Шуня, мне в голову закралась мысль, которую я тебе выше озвучил: а не надышался ли я чего? Был же такой эпизод — вся деревня во Франции, кажется, откушала порченого зерна и увидела дьявола. Так что и я вполне мог.

Ночью не уснул, но под утро успокоился и сел писать про Белецкого. Нравится мне этот тип.

Стыдно сказать, но я перегрелся. Специально тебе отправлю всё, что на рассвете написал. Почитайте, оцените. Нужно отыскать Кислёвского и извиниться. (Ты ведь

понял, что это он окликнул меня на поле? То-то удивляется. Надо сказать ему, что ничего личного — просто я боюсь историков.) Полёт нормальный, пью много воды, из дома носу не кажу.

И мне страсть как нужно первое письмо. Без него у меня пробелы. Что мы знаем из второго? Как минимум, что они продолжали переписываться в 1826-м. То есть Белецкий не сидел и скрывался не шибко. И они оба были с сильным приветом, вот это мне нравится. Она пишет что-то в таком духе: вы мне о республике, а я вам о том, как запах отцветшего сада держится месяцами до самых холодов. Кем нужно быть, Шуня, чтобы в 26-м писать о республике? Как она это вообще получила? А Кислёвский говорит, что первое письмо скорее любовного характера. Там, где про портрет. Оно мне нужно! Я не понимаю Белецкого. Всё, что ночью написал — мур. Почему он не боялся за Клеопатру? Чем она была таким защищена, что он писал ей вещи, за которые легко могли загреметь на каторгу они оба?

А ведь они, наверное, загремели, Шуня. Потому что — Кислёвский этого не сказал, для него это очевидно, а я уже был слегка не в себе — письма-то она не отправила. Мы нашли их там или примерно там, где они были написаны, вот в чём вся беда. Я не могу это игнорировать, но тогда я пишу о двух безумцах, или эта история — о фанатике, погубившем влюблённую в него женщину.

Алиска, этот абзац для тебя. Когда твоего (тогда будущего) благоверного забирали в больницу, он просил меня не говорить тебе до вечера, пока не подтвердится диагноз, потому что оспа-не оспа, а ты пробила бы стены на своём пути. И что характерно, его интересовал не карантин как таковой, а то, что можешь заразиться ты. Так что весь день я знал, но не говорил тебе, и чуть не свихнулся, и ты бы видела, как высоко я подпрыгивал от радости, когда по-

звонил тебе вечером и рассказал про ветрянку. А ты сердилась, что ничего смешного нет, и ветрянка у взрослых тяжело проходит. Так я и хранил нашу с Шунягой тайну. Шунька, той зимой я не обещал хранить её вечно.

Вот какими я хочу видеть Клеопатру с Белецким. Вот такими!

Кислёвский сбежал, и это моя вина.

Я вышел из дому, оснастившись огромною шляпою, а под неё положил на макушку влажный платок. Перебежками от тени к тени я добрался до сельсовета, узнал адрес Кислёвского и пошёл кланяться. Кислёвский дома не ночевал, портфель оставил в своём углу, а сам исчез. Уехал?

Автобус проезжал в семь с хвостиком. А я видел Кислёвского часов в девять.

Я как дурак обхожу дом за домом и ищу Кислёвского.

С Довляком имел беседу:

— А почему вы, так сказать, интересуетесь?

— Так человек у вас непонятно где.

Он посмотрел на меня враждебно.

— Подозрительное что-то вы видели? Я могу, так сказать, участкового вызвать.

Я смутился и замямлил. Нужно было, разумеется, стукнуть по столу и сказать, что я про них про всех напишу. Но сегодня Несчастливцев в ударе, я ему поверил. Он выглядел, как настоящий председатель. Короче, нигде ни следа Кислёвского. Я, смочив наново платок, добрался пешкодралом до края села, постоял на живописном обрыве над белыми глыбами ракушечника. Полусмеясь, полужасаясь, заглянул вниз проверить — не распластался ли там мой историк. Нигде нет-с.

Вот такие, Шуня, пирожки. Выходит, я так его ночью напугал, что несчастный сел тогда же или с утра на попутку и умотал в Кишинёв, не захватив портфеля. Стыдно и смешно.

Звонил в Кишинёв. Кислёвского нет, домашний номер мне не дали. Сказали, сами спросят, а я перезвоню завтра.

Утро. Дописываю:

(Объедаясь яблоками, Шуня, какие тут яблоки!)

У истории с Кислёвским неожиданное продолжение. Явился мужик, у которого Кислёвский квартирует — квартировал — некто гягя Петру (гягя — это дядя, а Петру с ударением на Е, это имя такое, Петру, и он так и представлялся — дядя), низенький, коренастый, с лицом, как трухлявый пенёк. Ядрёный перегар и кепочка набок. Такой себе дядя, честно говоря. Он переводит дыхание, делая горлом «и-и».

— Ты, и-и, почему волнуешься?

— Не волнуюсь, — говорю, — но мне вашего жильца позарез надо поймать и расспросить. И должок перед ним небольшой.

— Так, и-и, это, уважаемый, и-и, не спешите. А то ходишь, и-и, спрашиваешь всех. Мне, и-и, неприятно.

— ???

— В моём, и-и, доме человек, это, живёт, значит, и-и, всё с ним будет в порядке. А на поле, и-и, зачем ходишь?

— Нельзя, что ли? — обиделся я. — На вашем поле, между прочим, важную историческую находку чуть не просрали под комбайном.

Гягя Петру сел на табурет и дыхнул на меня смертельным букетом утреннего, вечернего и предшествующего хмеля. В глазах защипало.

— Ты, и-и, послушай. Приехал, смотришь, и-и, что ты у нас увидишь? Ехай в Кишинэу в музей, и-и, тут, и-и, не трогай. Я, — он медленно провёл перед собою красной узловатой рукой, обозначая свои пределы в пространстве. После выпитого ему было трудно оценить, где заканчивается гягя Петру и начинается окружающий мир, — я, и-и, мол-

дован. Мы, — красный палец нашёл на сомнительно оформленном теле гяги Петру сердце, — дели-и-и-катные. Тут ничего, и-и, не случится, если ведёшь себя и-и, дели-катно. Лида, она, и-и, молодая, но деликатная. Просто, и-и, глупая. А ты, уважаемый, беспокоишься, и-и, ты умный, но, и-и, не де-ли-катный. Ты им, и-и, помешаешь, а это, и-и, никому не надо.

— Кому помешаю?

— Кому, и-и, что?

— Помешаю кому? Вы говорили, я им помешаю. Кому помешаю-то?

— И-и, может, и не помешаешь. Деликатнее надо быть, и-и, пусть сперва поле, и-и, уберут.

Тут он меня всё-таки довёл.

— Дядя, — скакал я ему. — У вас тут клад, считай, находка огромной исторической ценности. Женщина, дочь местного боярина, переписывалась с декабристом Игнатом Белецким. Слыхали про Белецкого? Вот из-за таких, как вы, никто и не слыхал, потому что письма этой женщины валялись больше ста лет черт-те где! Вы хоть понимаете, что у вас чуть не пропал, может быть, единственный источник сведений о нём?

Он схватился за голову и стал раскачиваться, причитая:

— Ай-яй-яй-и-и-яй. Ты, и-и, ты думаешь, надо это, и-и, — он не вспомнил слова «ворошить» и показал его рукой. — А у живых, и-и, людей, вот ты спроси, деликатно, думаешь, и-и, душа не болит? Тут, и-и, не история про де-чембриштий совсем.

На этих его словах я забыл, с чего начался разговор (с Кислёвского). А я-то, Шуня, хотел вина купить.

Спал, как убитый. Утром снился вальс. Не музыка, а именно вальс — как движение. Слышал, как по полу скользят ноги, как стучат каблуки. Открыл глаза — тишина.

Что забыл написать. Гягя Петру, отсидевшись на табуреточке, стал меньше присвистывать и говорить связнее. Час назад мне не пришло бы в голову об этом рассказывать. Но вот как всё обернулось. Гягя Петру сказал:

— Ай фемее? — и пояснил, иллюстративно похлопав себя обеими руками по груди. — Имеешь жену? Женщину?

Его пробрало на чувствительный разговор. Я помотал головой.

— Невесту?

— Допустим, нет.

— Любишь кого-нибудь?

— Возможно, — раздражённо ответил я.

— Так ты понимай. Это, и-и, дело только у вас двух.

Ни я, — он поднял на меня стеклянные глаза и яростно зашвистел горлом, — ни, и-и, гяги твои, и-и, кёки, бунищий, вещиний, никто, и-и, тебе в это дело не, и-и, лезет. Вот ты, и-и, не лезь тоже, когда вопрос сан-ти-мон-тальный, и-и.

Теперь я понял, в чём там было дело.

Водевиль, дорогие.

Просидел день в тени, писал, наелся мошкары, пошёл прогуляться — и встретил Кислёвского. Похож он был — знаете, на что он был похож? На смятый билетик. Стоял, прислонившись к ореху над сломанной скамейкой. Курил. И пока я подходил, мне показалась — и тут же скрылась за шторкой (сшитой, судя по виду, из драного бинта), заменявшей не запиравшуюся в жару дверь — кто? Моя южная Венера, товарищ Твердохлеб. В жёлтеньком сарафане, без всякого сомнения, надетом на голое, ещё разгорячённое тело. Не считая этой колеблющейся шторки, мы были одни. Дети, буде таковые в Малул Алб имелись, уже вернулись по домам, а трактористы с дальних полей ещё только

начинали путь. Именно тогда до меня дошло, что члену товарищеского суда Твердохлеб это как-то сходит с рук — и целодневный прогул, и такое вот поведение. Ветерок вечерний, летний, ещё не верящий в сентябрь, оббегал кругом прогретую деревню, вспугивая пыльные смерчи на пустырях.

— А я, — сказал я Кислёвскому, вынимая у него из жеваной пачки сигарету, — тебя похоронил.

Он затравленно поглядел на меня.

— И как? — я кивнул на штору.

— Неплохо, — выдавил он, явно недоумевая, куда меня деть. — Мы на ты перешли?

— Считаю себя вправе, — высокомерно ответил я.

Он вздохнул:

— Да без проблем... Я не помню ни хрена. Если чем обидел, — извини.

— Как я от тебя шарахнулся, помнишь?

— Серьезно?

— Угу. Вчера на поле перегрелся, а тут ты.

— Не помню, — он содрогнулся и выронил сигарету. — Мы с тобой не пили?

— Гарантирую.

— А с кем-то же пил, — тоскливо протянул Кислёвский. — Такой бред...

— Ты там что-нибудь нашёл?

Мы дошли до целой скамейки и сели — я осмотрительно в тени. Историка безжалостно пихнул на солнечную сторону. Кислёвский не помнил, что делал вечером на поле. Воспоминания Кислёвского были путаны и прерывисты. Он знал, — если верить ему, — что накануне поздним вечером или ночью его поили, но кто с ним пил, и как он оказался, очнувшись уже после полудня, в постели красавицы Твердохлеб, история умалчивала. Твердохлеб, опять же, если верить Кислёвскому, была вынослива, как трак-

тор, и с учётом всего, совершённого ею — ими — с полудня до нынешнего вечера, назвать её отсутствие на пашне прогулом просто язык не поворачивался. (Вот, Шуня, на что пытался мне намекнуть гягя Петру. Не хотел, значит, компрометировать стороны. Деликатный.)

Есть — Алисе не читай — есть одна весьма рабочая метода. Представь, что ты просыпаешься, накануне основательно надринкавшись. Фемина под боком. Вот и оцени по шкале от 1 до 12 свою готовность к коитусу, с учётом злейшего сушняка и ограниченной доступности опохмела. Почему до 12? А чёрт его знает, Шунечка, почему. Но мы по этой шкале не одну мадемуазель измерили. Уж не знаю, как у вас было. Словом, по опыту Кислёвского можно судить, что трактористка Твердохлеб (как её зовут, я так и не узнал) — на твёрдых 12.

Мне нечем было отплатить ему, кроме рассказа о моём ночном видении. Кислёвский вежливо посмеялся.

Был прекрасный рыжий закат, мы сидели на скамейке, и сонно наблюдали, как на холме появляются и движутся вниз огненные окошки грузовиков и фары тракторов, возвращавшихся с пашни. Цикады трясли в траве спичечными коробками. Когда первый грузовик поравнялся с полем, по которому я бежал позавчера, невидимый за отражённым солнцем шофёр дал гудок. И так, медленно подъезжая к той же черте, и проходя вдоль бывшего кукурузного поля до самого его берега, где начиналась пшеница, каждая из машин сигналила. Мы замерли, оглушённые и заворожённые гулом.

Я не услышал — нельзя было услышать за хором гудков, — но заметил краем глаза, что Кислёвский что-то говорит. Он глядел на дом, из которого вышел чуть больше получаса назад. На крыльце стояла, ничуть не заботясь опасно развевающимся сарафаном, прекрасная Твердохлеб. Она махала — тогда я думал, что шофёрам, — и, —

опять-таки, я не слышал этого, но мог разглядеть — что-то непрерывно кричала. И быть мне жлобом и гадом, Шуня, если она не повторяла за сигналами их вой. Так мы сидели, обалдев, а они ехали, а девушка на крыльце махала и кричала в тон гудкам, пока последний трактор не проехал некую границу, невидимую нам.

Всё стихло. Твердохлеб опустила руки и, поникнув, ушла в дом.

Сейчас, оглядываясь назад, дописывая и переписывая прожитое за последние дни, я знаю, что их голосами был над полем траурный рог.

Это лишние слова, Шуня, но я состою из лишних слов.

6

Ты же понимаешь, что письмо, которое ты получишь, будет вдвое меньше того, что я здесь пишу?

А если я, Шуня, вычеркну это всё, то всё, что будет мною вычеркнуто, становится — каким? Свободным оно становится, Шуня, вот каким. Я могу написать любую чушь, и мне за это ничего не будет. Так и поступим. Есть у Сельвинского поэма — поэмка, тёзка твоей супружницы, вот её ты обязательно прочитай. Я вычеркну это, а без меня ты её никогда не прочитаешь. Такое преступление я только что совершил. Ты мне друг, Шуняга, но всему же есть пределы.

У тебя в руках письмо, которое успело побыть всем, от заметок до дрянной журнальщины, просто знай — всё, что я писал здесь, вычёркивал и уничтожал пачками — я писал только для того, чтобы не писать о Белецком. У меня нет никаких идей, что писать о Белецком.

Приходил попрощаться Кислёвский. Приносил мятую бежевую бумажку. Уже ночью, после того, как мы вчера с ним разошлись, он услышал хруст за подкладкой и извлёк из дыры в кармане листок.

— Сильно не обольщайся, — сказал он. — Амба твоему декабристу. Звонили из Кишинёва, — бумага подлинная, но Клеопатры Боловану не было никогда.

— Что значит «не было»?

— У Михая Боловану был сын, Александру. Он не был женат и умер молодым. А дочерей не было.

— А жена? Сёстры, там?

— Жену звали Еленой, и в 23-м году она тоже померла. Всё, больше нету родственников. На Александру оборвался род Боловану. Чья это шутка с Клеопатрой, — пусть теперь у других голова болит, — и он протянул мне бумажку. — Хочешь, почитай.

— Но кто-то же это писал? Почему мы, в конце концов, не рассматриваем вариант, что современница переписывалась с Белецким под вымышленным именем?

— Почитай — поймёшь. Ты ж французский знаешь... Заодно сверим. Мне учитель местный переводил.

— Учитель французского?!

— Дядя Петру Крецу. Довольно приличный, к слову, мужик. Он после войны пьёт, не просыхая, ну так тут вся школа пьёт. Но язык-то никуда не делся.

— И он тебе это перевёл? Ты сам-то ему веришь?

— В Кишинёве, естественно, будем работать, но, сам понимаешь — без энтузиазма. Читать будешь, нет? Автобус через полчаса.

— Да, — сказал я. — Слушай, а где ты его всё-таки подобрал?

Кислёвский не помнил. Единственным, что вертелось у него в памяти, была картина, сотворённая сном и винными парами: он тянется к торчащему из земли свёрнутому в трубку листу, и земля, приняв форму тонкой женской руки — сплошь сотканной из стеблей и корешков — хватает его за пальцы.

Итак.

Клеопатра жаловалась на холодную осень и битый урожай её любимых яблок. Сбивчиво пересказывала услышанную где-то сплетню (неинтересную). Упрекала Белецкого, что он толкает ей вместо комплиментов какую-то заумь. Вообще, это выглядело примерно так (Кислёвский спешил и не дал выписать ни строчки): вы там балду гоняете со своей земельной реформой, а тут женщина скушает. Только реформа эта (если, конечно, судить по не слишком связному Клеопатриному ответу) — это земельная реформа Пестеля, Шуня. Крепостного права, как искренне считала (бы) Клеопатра (если бы когда-нибудь жила), не было уже год. Вот так.

Было ли это опасной игрой первых революционеров? Поздней мистификацией? Убедительным бредом поехавшей сотрудницы гяги Петру? Всё равно, Шуня. Мне тогда было, по крайней мере, всё равно.

— Да, собственно говоря, — вспомнил Кислёвский. — А чего ты так носился с этим Белецким? Он и в лучшие времена был бы хрен с горы.

— Пишу о нём. Книжку пишу. В творческой, так сказать, командировке.

Я уверен, что не говорил никаких «так сказать». Тогда, спросишь ты, зачем? Может быть, заигравшийся дух Несчастливцева, председатель Довляк, незримо водит моей рукой.

И Кислёвский сказал что-то вроде:

— Мозги-то не пудри. Статья вышла неделю назад. Какая командировка? Кому бы сдался твой занюханный Белецкий? Так на кой ты сюда подорвался?

Но на это, Шуня, у меня нет для тебя ответа.

7

...Но эти строки
Я даже не тебе пишу, а другу
(И мужу твоему) и, написав,
Оставляю их навек в черновике,

Я их сказал (в том цель моя и есть),
Теперь они на полке проведут
Чуть больше часа, в мир крича собою
О славе не тускнеющей твоей,
Потом они сойдут в мою ладонь,
И вслед за тем —
Для верности, во всех её значеньях, —
Исчезнут.

8

В принципе, думаю я, какая разница. Пусть это в шутку писали друг другу подпольщики в мохнатом девятьсот четвёртом году — нужно узнать, были ли в этих краях подпольщики? Размахнулся я, конечно, с Белецким. Да и плевать. Из Молдавии я в ближайшее время не уеду.

Тёплый сентябрь, Шуня, такого я не могу пропустить. Я обедаюсь непростительно сладкими плодами. Уже не отличая их друг от друга. Это может быть хурма, или айва, или топинамбур. Проводил Кислёвского и ходил, откуриваясь от мух, весь вечер. Со мной вечно что-то случается, потому что я единственный тут хожу. Мне решительно некуда торопиться. Сборы у меня не горят, опрыскивание не беспокоит, пахать, откровенно говоря, нечего. Нигде я не осознаю свою независимость больше, чем среди трудящихся аборигенов. Шёл, курил, оглядывался на автобус. Начинал скучать по Кислёвскому, вкусившему комиссарского тела. Без него пока не с кем говорить. В таком настроении, значит, слонялся по фронтиру цивилизации. Но я бы, старик, не рассказывал об этом просто так.

Сперва я подумал, что автобус, не уехав, заглох. Потом проморгался и разглядел трактор, копошащийся в поле. Думаю, в тот день я впервые увидел минский трактор с закрытой кабиной. (Следующим утром я видел прибывшую

партию таких. Они выглядят, как отрубленная голова «полуторки» или словно ребёнок пытался нарисовать кепку на колёсиках.) Я подошёл как раз, когда он развернулся и выполз на край пшеничного ковра, волоча за собой здоровую бандуру — дисковый плуг. Несколько минут я наблюдал, как взрывается земля на уходящей вглубь пшеницы чёрной борозде.

— Лида, — сказал я спустя эти минуты. — Не знаю, что вы затеяли, но я абсолютно уверен, что утром вас за это повесят на городской стене.

Она вздрогнула и задвигала чем-то в кабине. Трактор не остановился.

— Не моё дело, — признал я, — но вы же потом плакать будете. Тут есть причинно-следственная связь, Лида, и я бы на вашем месте о ней задумался.

Плуг добрался до пшеницы, нетронутой прошлым Лидиным вторжением.

— Уходите! — банально потребовала Лида.

Но мне, Шуня, не хотелось никуда уходить, я чувствовал себя свободным от всяких распоряжений, даже от необходимости писать про Белецкого. И не ушёл. Но и Лиду не остановил. Как мне было её останавливать?

— Дурёха, — сказал за моею спиной женский голос. — Вылазь немедленно.

Это красавица Твердохлеб стояла в сумерках, уперев одну руку в бок, а в другой держа бутылку от молока, на треть налитую тёмной мутной бурдой.

Это было, похоже, для Лиды чересчур. Трактор встал. Фонарик в кабине погас, и раздались громкие всхлипывания. Пока мои глаза привыкали к полумраку, Твердохлеб сказала:

— Себя не жалеешь, так хоть его пожалей. Последний день.

— А ты жалеешь?! — сквозь слёзы ответила Лида, распахивая дверь кабины. — Почему ты решаешь за них?

— Жалею, — устало сказала Твердохлеб. — А чтоб тебя... — Она поднялась по лесенке, но в кабину не полезла. Прислонилась к громадному колесу. — Лидка, что ж ты на-творила. Думаешь, у меня душа не болит? Паштеле мэый, ты там совсем?!

Лида завела мотор, но Твердохлебин вопль, похоже, что-то сместил в тракторных недрах, и тарыхтение прекратилось. Лида опустила голову на руль. Светлые непослушные вихры, не прикрытые косынкой, рассыпались, как листья вокруг сухого початка.

— Я не могу, — прошептала Лида. (Я едва услышал за треском ночных цикад.) — Может, вместе, а? С двоих меньше спросят? Или наоборот?

— Ох, дура, Лидка... — нежно сказала Твердохлеб. — Не спросят, не переживай. Выпей, — она протянула в кабину бутылку. Лида всё ещё лежала лбом на руле, и Твердохлеб легонько постучала донцем бутылки по Лидиному затылку.

Медленно Лида подняла голову. Я не видел, с каким выражением она брала бутылку. Вернула почти не тронутую. Твердохлеб прыгнула с колеса и наконец-то повернулась ко мне.

— Что бы вы ни думали, — сказала она, — вы ошибаетесь. Просто поверьте. Даже если в чём-то уверены.

— Очень, — отвечал я ей, — полезные слова. У меня прямо-таки отлегло.

— Знаете, вы ведь можете пожаловаться. Товарищу Довляку. Если считаете, что видели что-то... — она поискала слово, но, не успев найти, оглянулась на Лиду.

— Странное, — подсказал я и проследил за её взглядом. Лида спала, приоткрыла рот и свесившись набок из кабины. — Что вы ей?..

— Нембутал, виноградный сок и травки.

— Вы ж убьёте её нембуталом! — ужаснулся я.

— Да сколько его там... Одна таблетка на всю тару? Это так, для подстраховки. Обычный рецепт, оцетул бунисий. Потому что кислый. («Могла бы тогда и брому добавить, — подумал я. — С историком возни меньше».) Можете пожаловаться товарищу Довляку, — повторила она. — А можете, это будет гораздо лучше и порядочнее с вашей стороны, сказать, что видели меня ночью на поле. Я выехала на пшеницу, пропахала борозду. Вы меня остановили. А Лидки здесь не было. Скажите, пожалуйста. А товарищ Довляк вам всё объяснит.

Обратно, Шунька, мы ехали в молчании. Ехала, правильнее сказать, Твердохлеб. Ну и дрыхнувшая Лида, как-то уместившаяся у неё на коленях. Твердохлеб была на голову ниже Лиды и смотрела на дорогу, выглянув из-за её плеча. За трактором шёл я. Насекомые грохотали так, что сонного треска мотора за их шумом не было слышно.

9

На свете Шуня, довольно много вещей, из-за которых я чувствую себя идиотом. Совершённое мною в тот вечер не кажется мне таковым.

Смуглянке моей я поверил в одном: любое предположение выходило бредовым. Я проверял всё время, пока сидел у двери, под газетным Гагариным, и вслушивался, нет ли шагов снаружи. Всё, что я успел передумать (а сидел я минут около 20), было невыносимой чушью. И в этом, надо признать, Твердохлеб права. Но, чувак, она не учла другого: я знал о провалах в памяти Кислёвского, и главное — о письме, вернее о разоблачении всей этой чехарды с письмами. И раз уж я сюда приехал и собирался застрять под любым — а письма пока оставались единственным — предлогом на неопределённое время (пока вы не обрastёте детьми, про-

звищами и хрусталём), — я должен был выяснить, хоть для самого себя, что за странная связь может быть между нелепой эпистолярной подделкой и ночной пахотой. И я, огородами, тенями, буквально слыша над собою музыку из «Таинственного знака», отправился на место Лидиногo преступления.

Что я хотел найти? См. выше: я не знал. В самом размытом смысле мне хотелось узнать, куда так идейно пёрлась Лида. Белецкий в эту картину всё равно не вписывался.

В темноте я шатался часа три. Во-первых, оказалось, что на местности я ориентируюсь из рук вон — достаточно было зайти с другого конца села, и я потерялся. Во-вторых, Шуня. Во-вторых, было вот что.

Я никогда себя не щипал и не знал (да и сейчас не знаю), как правильно ущипнуть. Отчего-то мне думалось, что любой щипок, хлопок, шлепок, который я могу себе учинить, может и присниться. Да, Шуня, я приличного мнения о своём воображении и его возможностях во сне. Наконец я укусил себя за палец. Не слишком больно. Вообще, именно от этих экспериментов было смешно. Вот мысль о том, что я чего-то нанюхался, меня опять посещала. И не спорыньи, думал я, а опия или чего-то наподобие гашиша. На газы из-под земли ещё думал.

Обидно, Шуня, что, когда я всерьёз писал для тебя, я писал лучше... Сейчас это как бы не нужно. Как плохо я, оказывается, пишу, когда никто не смотрит.

Ночь была безлунная, но звёздная. Среди взметённых плугом корешков я углядел бумажный свиток. Заметить его было так легко, что я заранее не поверил. Мало ли потерянных бумаг могло разнести ветром?

«J'ai parlé de vous à mon frère. S'il pouvait seulement savoir ce que je ressens pour vous... Mais j'ai dû vous décrire comme un ami, une connaissance sans importance. Je ne vous ai même pas demandé: servez-vous dans le nouveau gouver-

nement? En fait, cette conversation avec mon frère m’a révélé à quel point je connais votre cœur — et à quel point j’ai peu écouté ce que vous me disiez de votre vie...»

(«Я рассказала брату о вас. Если бы он мог знать, что я чувствую... Но я вынуждена была описать вас как друга, как случайное знакомство. Я не спрашивала вас — вы служите в новом правительстве? Вообще, разговор с братом открыл мне, как много я знаю о вашем сердце, и как мало я прислушивалась к вашим рассказам о том, чем вы живёте...»)

Дальше, Шуня, листа не было. Из бумаги росли — нет. Бумага росла из мышинового хвостика кукурузного корня, перерубленного плугом. Она разворачивалась бутоном. Я оторвал часть письма, всё ещё надеясь понять, как можно было затолкать его внутрь корешка. Трудно сказать теперь, в относительно материальной комнате, вдыхая эманации компота из айвы, что я тогда думал. Я просидел с бумажкой довольно долго. Замёрз. Комары стёрли с карты моего тела последние белые пятна. Потом я двинулся по рыхлому грунту искать письма.

Некоторые почти не выросли, и лишь уголки пергамента выглядывали из корней.

На других я кое-как прочитал в темноте:

«...Я же, к стыду своему, ещё не вполне постигла Плутарха, зато слёзы мои не раз ронялись на страницы “Юлии”. Ах, сударь, разве не в книгах мы ищем то, чего так не достаёт в повседневности?»

«Говорят, ваш полк будет направлен в сторону Ясс. Если бы Вы нашли минуту — пусть не для визита, а только чтобы прислать весточку... Я бы хранила её, как святыню».

«Вот, например, вчера я долго выбирала ленты на новое платье, и никак не могла решить — розовые или лиловые. Разве Руссо писал бы о таком? А между тем, мне хочется Вам понравиться и в этом — в пустом, как Вы, быть может, скажете, и вовсе недостойном упоминания».

«Александр всё твердит, что непременно уедет в Петербург — учиться военному делу. А я не смею сказать, что боюсь за него, ибо он горд и вспыльчив...»

Каково?

Я бродил взад-вперёд по холмикам перекопанной земли, набивая карманы ростками будущих писем.

Так меня вынесло к пшенице и свежим следам колёс. Я стоял на пропаханной Лидой полосе. Куда мне было идти, Шуня? Я пошёл туда, куда пыталась добраться Лида. Всю дорогу по колючему пшеничному полю я думал, что левая нога при ходьбе делает шаг меньше, чем правая, поэтому заблудившиеся в лесу ходят кругами. Так что я нарочно прихрамывал на правую ногу, чтобы сравнять длину шага. Помогло это или нет — не знаю. Я вышел на второе поле — тоже убранное и продискованное после кукурузы.

Отсюда были видны фонари и черные силуэты орехов. Надо мной тянулся Млечный путь — так ярко, как здесь, я видел его только в детстве, при затемнении.

По этому полю я бежал от того, что считал искажённым галлюцинацией Кислёвским. Здесь проезжала, сигналя, колонна сельхозтехники. И Твердохлеб, стоя на крыльце, кричала — теперь я был уверен — не грузовикам с тракторами. Как умели, они прощались с существом, возникшим передо мной.

10

— Вы простите, пожалуйста, — сказал Кукурузный Человек, возникая из темноты. — Я совсем не подумал, что вы приезжий.

Я смотрел на него и отступал, пятился на пшеницу, но отвернуться от распадающегося, гниющего кукурузного лица не мог.

— Да вы не бойтесь, — он сам отошёл и сел. — Вид у меня не ахти, но это же просто трава.

— В порядке, — сказал я. — Сам не Олег Стриженков.

— Я бы представился, — сказал Кукурузный Человек, — но у меня и имени-то нет. Председатель, правда, зовёт меня «товарищ Кукурузный», но у остальных это как-то не прижилось.

— А Белецкий? — спросил я.

— Ну что вы, — он замахал руками, осыпая труху. — Какой из меня, право слово, Белецкий. С моим-то школьным французским? Если бы не Пётр Ионович, разве стал бы я ей отвечать?

Я остановился на границе двух полей. В ботинки набилась земля и колючие ости. Кукурузный Человек сел, подогнув под себя ногу.

— Ваших писем я не видел.

— И слава богу, — вздохнул он. — А её? Вы не знаете, она что-то ещё написала?

— Только ростки, — сказал я. И вытряхнул из карманов свой недавний урожай. Страшно, Шуня, уже почти не было. То есть было, конечно, но главный страх происходил от мысли, что это заживо разлагающееся создание может меня чем-то заразить. Проказой какой-нибудь, чесоткой. Кукурузной палочкой. Выглядел он значительно хуже, чем в прошлый раз. Так что я не приближался, но и сматываться не спешил.

Огромные фиолетовые глаза, почти не прикрытые остатками век, увлажнились.

— Спасибо, — сказал он. — Они бы всё равно не выросли.

— Вы кто? (А что, Шуня, что я мог ещё спросить?)

— Хотелось бы знать, — сказал Кукурузный Человек. — Случайное порождение небытия, скорее всего. Я много думал об этом, — он пересел удобнее и пригладил усы из перепутанных рылец. А вас, кстати, как зовут?

— Борис.

— Верите же вы, Борис, что в каждом комке плоти и костей, рождающемся на свет, неизбежно зажжётся искра сознания? Для вас это положительно очевидно, и вы не видите в этом никакого чуда. Почему не могла та же искра зажечься на кукурузном поле?

— И зачем... это всё? Письма, Белецкий?

Он усмехнулся.

— Ну вы же современный человек, как вы-то можете в это верить? Нет, разумеется, никакого Белецкого. Может статься, что и не было никогда. Она, — он кивнул в ту сторону, откуда я пришёл, — безумна. Придумала себе Клеопатру Боловану, двадцать шестой год. Вы же понимаете, как нелепо это звучит. Вы, вон, в космос уже летаете.

— Уже и американцы летают, — сказал я. — Зимой полетели.

— Придумала Белецкого... Борис, — он установился на меня своими сливами, — я не мог её разочаровать. Ну не мог. Хотя главная заслуга здесь Петра Ионовича, без переводчика я бы даже не взялся...

— Вы пишете ей от имени Белецкого?

— Должен же кто-то поддерживать её безумные фантазии.

И я понял, Шуня, чего добивалась Лида. Наивная, она хотела пропахать дорожку между этими сумасшедшими полями, знакомыми по переписке. Ей казалось, что такая простая вещь, как соединительная полоса земли, помогла бы им встретиться. Даже мне, знакомому с Кукурузным Человеком всего несколько минут, было ясно, что это невозможно. Но я всё-таки спросил:

— Вы не пытались попасть к ней? Лида под суд готова пойти, чтобы вам помочь.

Он медленно покачал головой.

— Я просил её не вмешиваться... Полагаю, они и так рискуют, перенося письма. А эта затея с дорогой... Разуме-

ется, я не могу покинуть поля по самой понятной причине. Я — поле и есть. А кроме того... — он нахохлился. — У меня ужасный французский. И в целом... Она бы сразу поняла, что я не Белецкий

— Для чего вам тогда этот маскарад?

Кукурузный Человек похлопал по земле, приминая пробившийся сорняк. И улыбнулся. Жутковатая это была улыбка, Шуня. Редкие зёрнышки между увядших листовенных губ.

— Я люблю её, — сказал он. — Хотя по ней, конечно, психбольница плачет. Глупо, да?

11

Я нашёл себя в сельсовете пред водянистыми глазками Довляка. О, Шуня, что это были за глазки. Они выглядели так, словно вечно находились в суетливом беге, но именно в момент моего появления, наконец, утомились и скучливо замерли. Это была величайшая работа, просто величайшая, Качаловы со Щепкиными в подмётки не годились моему Несчастливцеву.

Я сутки не спал. Светило неприятное солнце. Клеёнчатые тени будто приклеены к вещам. Я чувствовал себя отвратительно.

— А вы не кричите на меня, так сказать, громким голосом. Слыхали про севооборот? Или мы тут, по-вашему, цветочки сажаем?

— Какой, к чёрту, оборот. Вы же его убьёте! Обоих убьёте! Она же не переживёт потери!

— Не переживу, так сказать, я, если вы сейчас же не сядете. И если эти две, — председательская рука повертелась где-то у плеча, как бы изображая легкомысленные локоны, — не перестанут выгораживать друг друга и подводить себя, так сказать, под монастырь. А с това-

рищем Кукурузным всё происходит при полной, понимаете, открытости. И с этой, так сказать, девушкой его мы деликатны.

«Де-ли-катный», — вспомнил я гягю Петру.

— Вы бы хоть с Лидой поговорили, — сказал я насколько мог укоризненно. — Да и с этой... — тут я вспомнил, что не знаю имени Твердохлеб, — с этой. Они из-за вас вчера крепко подставились.

— Господи, как жаль, — воскликнул Кукурузный Человек. — Я так надеялся, что не причиню им неудобства. Чудесные люди. Но вам не нужно беспокоиться, завтра меня не будет, и вопрос решится сам собой.

— То есть как это — не будет?

— Эта ваша открытость в том, чтобы выжечь его пестицидом?

— Не будет там расти ку-ку-ру-за, — по слогам проорал мне в лицо Довляк. — Земля не будет для кукурузы, вы это понимаете? Там, так сказать, пшеница до кукурузы росла, а в следующем году будет подсолнечник! Я без севооборота не то, что план загублю, я, считайте, сам вот эту голову в петлю вставлю! И не только, так сказать, свою.

Он тяжело задышал, надувая щёки.

— И Клеопатру вы так же... смените?

— Сменим, так сказать, в своё время. Через год. И это её третий год, я не знаю, насколько вы, так сказать, понимаете. Я этот год на свою голову ей дарю, рискуя урожаем. Это вам понятно?

— Но если вы живёте последний день, почему... Ну, тратите время, что ли. Мне кажется, если бы я знал, что завтра умру, я бы так не сидел.

Кукурузный Человек покивал, но вдруг заметил что-то в земле и уставился туда. Похоже, он забыл о вопросе. Потом его изумительная рожа чуть разгладилась и обратилась ко мне.

— Знаете, — сказал он раздумчиво, — я считаю... Если у бога нашлось место для моей жизни, о смерти-то моей он точно позаботится.

Я не помню, что ему ответил.

— Как вы это можете?.. Вы же им помогаете, помогали. Вы же историка снотворным поили, чтобы он не узнал. Письма носили. Ради этого?

— Вот так живём, так сказать, — с вызовом произнёс Довляк. — Не моя вина, что на поле такое, так сказать, завелось. А помочь там, ну это прилично, это наша, понимаете, обязанность. Как не помочь, они же живые.

— Их ведь нужно изучать, — сказал я. — Исследовать. А не травить пестицидами и сменять севооборотом. Вы же можете на весь мир прогреметь.

Довляк поглядел на меня жалостливо.

— Во-первых, — медленно выговорил он, — чего там изучать? Товарищ Кукурузный про небытие рассказывал? Моё мнение, так сказать. Тут карбонатные чернозёмы, у них профиль, видно, такой, что под ними это самое небытие. А у кукурузы корень длинный, она его оттуда и тащит. Во-вторых... учёные там, приборы... Они бы ей рассказали, понимаете. Или полностью, так сказать, с ума свели, она и так не совсем того... Какая там любовь, когда, так сказать, изучают. У них жизнь короткая. Пусть уже верит во что она там себе хочет, в декабриста своего...

И я, Шуня, смотрел на этого потного, рыхлого человечка, который два года помогал переписываться влюблённым кукурузным полям. Который по очереди убьёт их и высадит поверх подсолнух. И думал я, Шуня, что мне предстоит с ним общаться, видимо, ещё очень долго, и надо как-то его понять.

Стояла прегадкая жара. Я сел на краю поля, и спросил:

— Почему вы придумали остальные подробности? Новое правительство, земельную реформу, конституцию?

Клеопатре это нахрен не надо, а вам, получается, надо. И кто у вас там победил — Пестель или Муравьёв? И как вы ей собирались объяснить своё исчезновение? Расскажите.

Но Кукурузного Человека на поле уже не было.

12

Прочитал, что написал, Шуня, и получается дешёвая синема. Пью вино — кислящее! В Кишинёве сделали первый трактор. По этому поводу в клубе собираемся и поём «ой вы кони, вы кони стальные». Меня пригласили, как я думал, чтобы задобрить.

Оказалось — нет.

Довляк вытащил меня стоять перед публикой. Он достаёт макушкой мне от силы до плеча, и я вижу, как в его реденьких землистых волосах застряла травинка.

— Вот, — сказал он, — товарищ К., писатель, так сказать, уже стал частью нашего большого и дружного коллектива.

Кто-то захлопал.

— Этот год товарищ К. проведёт с нами. Будет писать, так сказать, новеллу (он так и сказал: с одним «л» и через «е») о наших героях, механизаторах. Поприветствуем товарища К. и пожелаем ему успешной, так сказать, работы на нашем, так сказать, материале (сегодня он переигрывал).

— Оф, драмне, — сказал кто-то шёпотом. Но я услышал.

— И раз уж вы, товарищ К. теперь наш, так сказать, сотрудник, мы всем коллективом хотим обратиться к вам с просьбою (я клянусь, Шуня, он сказал «просьбою»).

Я лежал на горячей, ссохшейся земле, на спящей до весны Клеопатре Боловану, под серой кляксой Млечного Пути. Да, Шуня. О ком лил я слёзы? Об этом поле, бессмысленном надмирном существе, обречённом прожить

остаток малой кукурузной жизни в блаженной грёзе о судьбе никогда не существовавшей женщины? О Кукурузном Человеке, бесславном Сирано, глядящем на меня из пропасти небытия фиолетовыми глазами? Об этих несчастных людях, пытающихся быть людьми, преступных и неподсудных в своих бестолковых стараниях? Может быть, Шуня, о нас с тобой, об Алиске? Больше всего, чувак, я ревел от количества свалившейся на меня работы. Я плакал, как сопливая первокурсница под фикусом, о том, как невыносимо быть человеческим существом, Шуня. Как если бы в начале отпуска тебя вызвали на дежурство, о котором ты точно знаешь, что поседеешь к концу. Потом я молчал, и в тишине увидел, как в поле вышла Лида со стаканом и зелёным букетиком в руках. Запахло базиликом. Не глядя по сторонам, Лида выплеснула на землю вина, полувсхипнула-полувздохнула, и бросила следом базилик. Развернулась и зашагала прочь, сутулясь и нескладно двигая руками. Меня она не заметила.

...Давным-давно известно:
когда напишешь текст,
останется от бездны
лишь пара общих мест.
А вспомнится не горечь, —
Платки да конфетти.
Сквозь мой бессильный голос
Ты, музыка, лети.
О, скольких слов могила —
Тара-ра-ра-ра.
Пусть всё, что с нами было,
Размывает это мыло
До самого ядра.
Всё было очень ясно,
Хотя не решено,

И оттого прекрасно,
И страшно оттого.
И самым краем слуха
Я слышал до утра,
Как мне шептали в ухо:
Тара-рара-рара.
Могли смести как муху,
Убить как комара,
Но мне шептали в ухо:
Тара-рара-рара.

13

Гягя Петру встретил меня на крыльце.

— Салут, — сказал он, — товарёще скрыитор.

Я поставил на скамейку перед ним бутылку. Без бутылки, сказали мне, к гяге Петру сейчас лучше не ходить.

— Я согласился, — сказал я. — Вам, наверное, уже говорили.

— Понятно, и-и, что согласился. Значит, и-и, сердце у тебя есть.

— У вас остались его письма? Черновики?

Гягя Петру интересовался бутылкой.

— Оригиналы?

— Эй, — отмахнулся гягя Петру. — Зачем?

— Должен же я откуда-то взять его стиль?

— Сти-и-иль.

— Чтобы она не заподозрила.

Он потрогал холодный бок бутылки и чуть посветлел лицом.

— Ты, и-и, может, маре скрыитор, но ты разве, и-и, любишь её, чтобы, и-и, сочинять?

— Я люблю не её, — сказал я. — Но какая, к чертям собачьим, разница, дядя?

— Нету у меня, и-и, писем.

— Но вы что-то помните? Сможете рассказать? Пожалуйста, Пётр Ионович. Я же хочу ей помочь. Помогите же и вы мне.

Он посмотрел на меня из-под растрёпанных серых бровей.

— Et qui m'aidera, monsieur l'écrivain? — сказал он. — Qui en ce monde en est capable? Mais moi, je vais vous aider quand même.

Вот такие, Шуня, у нас дела.

Прага, 2025

Андрей ГУЩИН

(Киев)

ГЕРОЙ БЕЗ РОМАНА¹

Глава 9. Ковид

Уходят к югу эшелоны,
Стучат по комсомольским рельсам.
Все глуше голос монотонный.
Жара по Кельвину и Цельсию.

В ковид человеку ничего не остаётся, как смотреть в окно, читать лонгриды и скучать. Ещё можно выйти на прогулку. В первые месяцы по улицам ходили патрули и штрафовали нерадивых граждан. Потом власти плюнули на рейды, и Эркюль уже без опаски делал свои одинокие променады. Можно стартовать от вантового моста, и, минув новую церковь, идти-идти мимо типовых, считающихся люксовыми пятиэтажных домишек, пока не выйдешь к гавани. Там в лучшие годы швартовались небольшие яхты. А можно поступить иначе — спуститься на нижнюю набережную имени лучшего мэра Вселенной и потопать к той же гавани, прокладывая путь через заросли вновь высаженных экзотических олеандров. Или случайно набрести на поле для мини-гольфа, красиво подсвечиваемое по вечерам. Последняя стометровка перед речной станцией густо усажена наглядными образцами творчества 90-х.

Элитные кварталы заканчиваются, начинается застройка попроще. И облик публики тоже меняется. Летом

¹ Окончание. Начало в 6 номере.

весёлые компании сживали на открытых верандах, но сейчас разгар эпидемии и увеселительные заведения закрыты.

Когда человеку грустно, он идёт на берег зелёного залива. Его мерцающая, переливающаяся гладь успокаивает тревожное сердце. Зимой на заливе сидят скукоженные рыбаки в толстенных тулупах. А летом мелькают стайки юрких, как ставрида, каноистов. Великаном нависает над загаженным песчаным пляжем величественный недостроенный собор. За ним цивилизация, считай, заканчивается. Дикие племена с улицы Приречная живут своей плохо изученной жизнью за иллюзорным Адриановым валом, иногда совершая варварские набеги на Le Silpo...

Но и эти далёкие земли — ещё не предел. За троллейбусным кругом начинается подлинный затерянный мир. Разливное море кашки плещется в белых песчаных берегах. Отважные путешественники периодически делают отчаянные вылазки на безымянные острова, жгут костры, ловят на уху рыбёшку, занимаются любовью на пустынных, заросших былинной муравой берегах. И уже совсем далеко — почти на краю света маячит на светлом горизонте, как таинственная Шамбала, древний Вышгород, бывшая вотчина баснословной княгини Ольги...

Хорошо прийти к Тине под вечер. Она сготовит ужин. Вся покрасневшая, волосы красиво уложены. Видно, что волнуется. Она всегда волнуется, когда видит его, такую взял над ней непонятную медиумную власть. Хорошо любить её на новеньком ортопедическом матрасе. Жестковато, правда. Она сладострастно постанывает, вся его, от мизинца до кончика носа. Вся — один долгий глоток сладкого портвейна. А потом лежать, разметавшись на подушках, и слушать её бойкую болтовню. Она перебирает пальцами пряди его волос, слегка поцарапывая по его рельефной груди.

А Катерина по доброму совету психолога, кажется, нашла своего Спасателя. Его зовут Илья, он грузин, переехавший в Киев лет 15 назад. Занимается отделкой помещений и зарабатывает прилично. С гордостью носит выпуклый маскулинный живот, густо заросший шерстью. Илья хорошо готовит. Катерина пристрастилась к зелёному лобио и сациви. Эркюля она теперь почти не вспоминает. Жалко вот только напрасно потраченных лет, несбывшихся надежд.

— Ну, что ж, пускай ему повезёт с какой-нибудь новой душой. А с меня хватит, — так думала Катерина, возвращаясь мысленно к началу их знакомства. Тогда Эркюль был будто другим человеком — таким ласковым, таким открытым.

Илья очень хотел ребёнка, хотя у него уже было пятеро в предыдущих браках. Грузины — такие семейные добряки, даром что не моногамные.

Джордж, пожалуй, оценил бы этот парадокс в духе раннего Оскара Уайльда. Он уже совершенно запутался в своём колдовском романе. Выходил он многослойным и бестолковым. Автор никак не мог нащупать основную идею, которая бы помогла нанизать на стальной стержень пёстрые обрывки повествования. Пушкин, как черт, вился над трубой, пытаясь залезть в натопленный дом сознания.

«Пушкин и аяуаска» — мистификация, подготовленная редактором Фомичёвым. В интервью «Голосу Индии» Фомичёв, с одной стороны, сделал попытку высмеять «сакральный образ» Пушкина, а с другой — выступил со смелой сатирой на псевдонаучные телепередачи и репортажи.

Он утверждал, что Пушкин был одним из первых европейцев, испытавших на себе действие шаманского отвара.

Именно это, по мнению псевдо-пушкиноведа, позволило Александру Сергеевичу так глубоко проникнуть в образы давно исчезнувшего мира ведической Украины-Руси.

Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал.

Говорят, в одном из писем Пушкина к Вяземскому упоминалась странная «настойка тропического сна». Долгими вечерами, когда в лесу завывала вьюга, Пушкин «входил в момент» и, как признавался поэт в дневниках, — будто собор предков и духов танцевал у него в висках.

Вот фрагмент из дневниковой записи:

Сегодня ночью выпил настой, принесённый мне человеком божиим Василием. Сердце внезапно забилося, а разум словно бы расслоился, на глаза явился мне дуб, под ним — учёный говорящий кот.

Мне казалось, я вошёл в самую гущу народной души, в сам корень языка, где звук ещё не облечён слогом, а смысл рождается из дыма наследственной памяти. Каждому слову соответствовало какое-либо животное. Я не знаю, моя ли рука выводит эти строки, или кто-то иной — древний и страшный, пробудившийся благодаря диковинному зелью...

Так появились образы Лукоморья, русалок, Золотой рыбки, петуха, предупреждающего царей. Не из мифологии, а из психоделического сна. Баба-Яга — страж, живущий на границе миров. Учёный Кот — не просто бойкий рассказчик, а проводник по трансцендентному фольклорному пространству. Усадьба Михайловское

становилась храмом, где стихи рождались в результате совершения ритуала. Поэтический текст — своеобразное заклинание.

Джордж уже и финал романа придумал. Как в «Кандиде» Вольтера, герой оказывается в Константинополе и узнает от местного дервиша (нужно ли вновь упоминать знакомые бакенбарды, глаза-угольки и кольцо на мизинце?) о тщетности метафизических исканий. Излагаемый им рецепт счастья прост — забыть о треволнениях, посвятив себя «возделыванию сада».

Также в романе проводилась идея торжества Пантюризма и связанного с ним неизбежного распада России. Джордж также касался темы извечной борьбы власти с интеллигенцией и их бесподобного диалектического единства:

Однажды Прутин благодетельствовал Исаевича, посетив того на даче в Троице-Лыкове. Прутин откровенно зевал, пока старичок с ямой во лбу увлечённо рассказывал про обустройство России. У «новоизбранного» в одно ухо влетало, в другое вылетало.

— Что он может понимать в государственном устройстве? — думал гарант. — Планов по обогащению и без него — громадье.

Джордж пил в одиночестве и размышлял, нет ли у него в роду угро-финнов. Ведь именно в изысканном финском языке есть удивительный глагол, означающий «напиваться дома в одиночестве, сидя в трусах». А ещё он в отличие от сонного Мандельштама не уставал рыться в древностях — хлебом не корми, дай поразмышлять над именами и плачевной судьбою вождей.

Вот над каким египетским каталогом «народов моря» он засиживался допоздна:

JKWS (условно читается: «экўэш») — обычно отождествляется с ахейцами;

DJN («денйен») — отождествляются с данайцами;
DRDNY — обычно ассоциируются с гомеровскими дарданами — соседями троянцев;
MŠWŠ («мешўэш») — отождествляется с ассирийским Мушки, библейским Мешех; вероятно — фригийцы;
PLST («пелесет») — отождествляется с библейским Плиштим, то есть с филистимлянами; также возможно, что имя тождественно пеласгам
L'KK — отождествляется с ликийцами;
SQRWS («шекелеш») — отождествляется с сикулами, которые вместе с элимцами прибыли на Сицилию около XIII в. до н. э. О «троянском» происхождении указанных народов пишут Фукидид и Вергилий.
ŠRDN («шердана») — вероятно, сарды, строителей нурагов. Они краткое время формировали личную гвардию египетских фараонов.
TJKR («текер») — отождествляется с тевкрами, родственными троянцам.
TWRWS («тереш») — отождествляется с тирренами, впоследствии так называли этрусков;
WŠŠ («ўэшеш») — так и не опознано (жители Ясоса?).

Глава 10. Специальная военная война

Джордж, оглушённый или контуженный, наблюдал, как из подбитого «Бущмастера» вывалился и побрёл наугад на подгибающихся ногах незнакомый солдат. Куртка его горела, но он даже не пытался сбить пламя, не кричал и не катался по земле. Потом солдат внезапно упал и уже не подавал признаков жизни. Между тем, прилёты продолжались. Жужжащие, будто игрушечные, дроны выслеживали солдат рассеянного артобстрелом взвода и сбрасывали гранаты. Вот один, как живой, завис над ра-

ненным бойцом. Кажется, это был Петро. Взрыв — и Петру оторвало ногу. Он продолжал корчиться, совершая бессмысленные и оттого ещё более страшные телодвижения. К нему подбежали товарищи, схватили под руки и попытались увести подальше от опасного места. Но дрон опять завис над ними и сбросил вторую гранату. Разрыв — и все трое лежат на земле. Охота продолжается. Сверху люди видны, как на ладони. Дроны неотступно следуют за ними, выбирая момент, и сбрасывают, сбрасывают гранаты. Видны разрывы, солдаты падают. Кто-то остаётся лежать неподвижно, другие корчатся от боли, ползают на карачках.

Шестеро солдат укрываются от обстрела в воронке. Дрон зависает над ними и сбрасывает гранату точно по центру. Взрыв — и, похоже, всё кончено...

Земля горит. Кругом трупы. И ни тени противника. Это — война нового поколения, предсказанная в фильме «Терминатор».

Картины этой мясорубки не дают Джорджу уснуть. В палате, где он лежит с контузией, много искалеченных. Значит, ему ещё повезло. Не зря он родился с двумя макушками, как Катаев.

Беда пришла, когда в Киеве ещё харкал кровью ковид. «Вероломно, без объявления войны...», как в 41-м. Когда-то давным-давно на лекции по международному праву проф. Ахтамзян подчёркивал:

— Война давно перестала быть законным способом разрешения споров. Что значит «без объявления войны»? А с объявлением, значит, можно? Разумеется, нет!

Но кто нынче обращает внимание на такую назойливую мелочь, как международное право? Теперь в ходу, как и на заре истории — звериное право сильного.

Как бедолага Джордж попал на фронт? Нет, он не был добровольцем. Когда ужесточились меры постановки на воинский учёт, он почти перестал выходить на улицу. Читал разные блоги, предупреждавшие об облавах ТЦК. Сначала ковид. Теперь война. Но что поделаешь? На героя он не тянул. Бегал и подтягивался плохо. В армии не служил. И было ему уже под полтинник. Поэтому он твёрдо решил сидеть дома и не отсвечивать. Правда, не отсвечивать не получилось.

Однажды вечером позвонила Тина и сказала, что ей очень нужно съездить на дачу, забрать кое-что из вещей. Джордж отнекивался. Тогда она прибегла к своей излюбленной тактике:

— Милый, не будь букой. Ты же знаешь, что ты — мой лучший помощник. Что бы я без тебя делала?

Когда она так говорила, Джордж готов был мчаться по первому зову и исполнять любые её прихоти.

— Хорошо. Когда выезжаем?

— Завтра утречком.

Назавтра они встретились на вокзале и стали ждать пригородную электричку. Поезда долго не было. Наконец, показались старенькие вагончики. Дача была по Ирпенскому направлению. Ирпеню досталось почти так же, как Буче. Весь мир облетели кадры сожжённых домов, техники, зияющих оконных проёмов. И все же жизнь не замирала не на миг. Жители, отсиживавшиеся в подвалах, снова вылезли на свет божий, как только былинный Змей

уполз в своё чёртово логовище, и с энтузиазмом принялись разбирать завалы. Джордж с Тиной поспели к обеду. Их встретила старая полуслепая кошка Лора, которая, однако, умудрилась разогнать всех соседских увальней-котов. Мать накрыла на стол. Она была счастлива видеть их. Спрашивать не решалась, а только украдкой бросала на них быстрые взгляды. Младшая сестра Тины давно уже была замужем за обеспеченным турком, у неё подрастали два замечательных бутуза.

— А вы когда заведёте своих-то, — плаксивым тоном спросила Антонина Фёдоровна.

— Ой, мама, не начинай, — резко оборвала её Тина и посмотрела на Джорджа. — А ведь он меня до сих пор любит, — почему-то подумала она. Но куда ему до Эркюля. Эх, ты, тютя-матютя.

Однако именно этому рохле вскоре доведётся хлебнуть солдатского лиха из железного котелка. Но прежде Джорджу предстояло ещё узнать горькую правду про Тину с Эркюлем. Донесла-таки одна добрая душа. Не вынесла непомерного груза — выпростала. Однажды Джорджу пришло сообщение от некоего доброхота с обстоятельным описанием перипетий романа. Даты, факты, адреса, свидетели. Улики налицо. Не отвертеться. Доброхот писал страстно, как будто раскрывал преступление. В конце сообщения фигурировала странная приписка на французском:

«Les Grands-Croix, Couimandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S.E.D.L. Narychkine, ont nommea l'unanimité Mr.Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand Maitre de l'Ordre de Cocus et historiographe del Ordre.

Le secrétaire perpetuel: C-te J. Borch».

И вот большой разговор состоялся:

— Ты могла бы сказать. Или, чёрт побери, соврать. Хотя бы попытаться, — простонал бледный, как полотно, Джордж.

— Я не собираюсь врать. Ни тебе, ни себе, — ответила она.

— И ты продолжаешь встречаться с ним? После того, что произошло...

— Да. Мы до сих пор видимся.

— Тина, что с тобой? Опомнись, голубушка. Он сломал тебя. — Джордж не договорил.

— Ты не знаешь, каково мне. А сам сбежал к своим никому не нужным каракулям, в полубредовые сны. А он был со мной. Не спрашивал, не жалел. Просто был.

— Знаешь, я раньше думал, что не нужно ни во что вмешиваться. Что молчание... — Он с трудом подбирал слова. Молчание — и есть понимание. А оказывается, это просто дзен, полное отсутствие всего. Ты его любишь? — Голос Джорджа звенел.

Тина помолчала, потом произнесла неуверенно:

— Я не знаю, что я к нему чувствую. Просто я должна бежать рядом с ним, как собачонка.

Это был крах всего, что их до сих пор связывало.

Он остался один. Чувства пенились, как чернила. Он схватил ручку и стал холерически строчить своим корявым почерком.

Рукопись. Глава X. Заголовка нет

— Я не знаю, кому адресованы эти строки. Возможно — тебе, хотя ты их и не прочтёшь. Возможно — себе, потому что я больше не различаю, где заканчиваешься ты и начинаюсь я. Ты ушла, и наступила тишина. Я хотел быть

тебе подспорьем, крепким плечом — а стал стеной. Ты — моё поражение. Боль, ставшая текстом. И если тот другой дал тебе смысл — ты дала мне форму.

Джордж откладывает в сторону тетрадь. Прихлёбывает из чашки давно остывший кофе. Наконец, поднимается, подходит к окну. За окном — все та же суровая безапелляционная Троещина.

— Ты даже не ложился?

— Если заснуть — придётся проснуться. А это не очень-то приятная штука для брошенного героя.

— Я сегодня уеду.

Джордж кивает.

— Это справедливо. Эркюль был рядом, когда ты падала. А я лишь пытаюсь измерить глубину этой пропасти.

— Ты писал обо мне?

Джордж показывает блокнот.

— Да. Сначала — как о жертве. Потом — как о призраке. А теперь просто — как о человеке, который умеет дышать под водой, когда все остальные уже утонули.

— И ты?

— Я предпочитаю тонуть с достоинством.

Оба замолкают. Тина поднимается, кладёт ключи на стол и идёт к двери. Уже на пороге оборачивается.

— Ты не слабый, Джордж. Просто ты живёшь так, как будто чувства — это твои черновики. А я люблю, чтобы — сразу и набело!

Много было страданий. Джордж плакался в жилетку матери, друзьям, знакомым, первым попавшимся собутельникам. Только с Эркюлем говорить боялся. И все-таки разговор должен состояться. Это не будет сценой примирения. Назревающий разговор — как нож, завернутый в бархат. Не ради прощения, а ради того, чтобы каждый из них сказал другому всё, в чем не смог признаться себе самому.

Они встретились в старом пабе на Выставочном центре. Слегка облупленные стены, тусклый свет, запах пыли и виски. За столиком — двое: Джордж и Эркуль — лицом к лицу.

— Я долго думал: ударить тебя сразу или сначала спросить. Пожалуй, спрошу.

— Ударить будет честнее. Всё остальное — оправдания. — Отвечает Эркуль.

— А они у тебя есть? Оправдания?

Эркуль медлил с ответом.

— Нет. Есть страх. Стыд. Но... то, что случилось тогда — не отменяет того, что случилось потом.

— А потом ты стал её спасать. Как будто можно спасти человека от боли, которую сам и причинил.

— Я не спасал. Я просто был рядом.

— Вот и она о том же. А ты не думал, чтобы просто оставить её в покое?

Джордж схватил Героя за грудки и, притянув к себе,дохнул в лицо сладковатым бельгийским:

— Ты ведь знал, что я люблю её.

— Да.

— И всё равно сделал это.

— Сначала это было затмение. А потом... — Эркуль помедлил. — В общем, я не держал её. Наоборот, я чувствовал, что теперь я стал ей нужен. Мы в ответе за тех, кого... Ну, сам знаешь эту заезженную пошлость...

Эркуль кивнул и смачно отхлебнул из кружки.

— Я не прощаю тебя. И, честно, не знаю, простит ли она когда-нибудь саму себя. — Пробормотал Джордж. Вся его решимость куда-то улетучилась. Он уже не был, как прежде, так уж уверен в своей правоте.

«Но, кажется, теперь я наконец могу писать о боли — не прикрываясь чужими именами», — подумал он.

Эркуль, как будто прочитав его мысли, сказал:

— А я смогу, наконец, молчать — не притворяясь, что всё в порядке.

И так они дальше сидели молча, пили пиво, а на глаза у них наворачивалась хмельная слеза.

Да, Джордж любил её. Но любовь, если она — только желание обладать — не любовь вовсе, а новая форма собственности, страсть, сговорившаяся с эго. И когда она ушла — он не потерял женщину, он потерял зеркало, в котором привык видеть себя заботливым и нужным. А она? Как поступила она? Простила им обоим или влюбилась? Вы скажете, безумие. А может — единственно возможная форма сопротивления «невыносимой лёгкости бытия».

Эркюль — животное! Но какое очаровательное, почти домашнее. Быть человеком — значит согрешать и помнить, что согрешил. Тьфу ты, Достоевщина проклятая. Не согрешишь — не покаешься.

Всё тут — невыносимо сложно. Всё — преступление и наказание без приговора. Потому что каждый из них лелеет в душе свой собственный маленький ад, и мы не вправе судить их строго. Любовь, измена, грех. Всё переплетено так, что человек сам себе палач и судья. И не в прощении дело — а в том, осмелишься ли ты остаться в темноте, когда погаснет свет. Не сбежишь ли из этого экзистенциального кинозала, продолжив засматриваться в бездну.

И, может быть, однажды ты с самой болезненной ясностью поймёшь, что добро не возвышенно и победно, а наивно, страдающе и ничтожно в своём стремлении к чистоте.

Джордж сидел и думал о ней, как князь Мышкин о своей Настасье Филипповне: не с ревностью, не с осуждением, а с какой-то унижительной жалостью — и к ней, и к себе.

И всё казалось ему недоразумением, фатальным сбоем, в котором душа — великая, чувствующая душа — не справилась с плотью, с грязью быта, с тяжестью свободы.

Он не оправдывал никого — ни её, ни Эркюля — потому что в нём всё было до предела разобрано: не злость, а страдание, не ненависть, а чувство, будто всё вошло не в то русло, и никакие порывы уже не вернут человека к истоку.

Любовь? Да разве она такая, любовь? Это была жажда быть нужным. И Тина свой выбор сделала. А он... он не мог даже осудить — потому что чувствовал: в том, как она несла этот свой чёрный светоч, было что-то искреннее, настоящее, то, чего не было в нём самом. Он стал понимать: невозможно спасти человека, если он сам не просит об этом. Невозможно любить — как врач, который лечит без согласия. Любовь, если она не принимается — становится пыткой. Может быть, его вина и была в том, что он любил слишком чисто. Так чисто, что ей стало страшно. Так беззаветно, что ей захотелось земного. Так свинья ищет вывалиться в калу.

И тогда он впервые подумал: а может быть, вся его доброта — и не доброта вовсе, а просто привычка играть роль жертвы. Эта мысль саднила больнее любого предательства.

Глава 11. ТЦК и ВЛК едины

В холодный выкинут эфир,
Что твой птенец гнезда Петрова,
Бескрыло упадаешь в мир,
К его туманным праосновам,
Где черепахи и киты,
И океан течёт по кругу,
Атлант — мерило пустоты
Тебе протягивает руку.

Егда же Дионис принял образ быка, титаны настигли и растерзали его, вымазав лицо мёдом. Куски тела они поместили в котёл, сварили и съели. Осталось нетронутым лишь сердце Диониса, то есть сама сущность бога.

Титаны, вкусившие его плоть, были испепелены молниями Зевса, и из этого пепла, смешавшегося с кровью бога, произошёл человеческий род, который и отличается дерзновенностью титанов и злосчастьем Диониса. Афина спасла его сердце, и Аполлон похоронил его в Дельфах.

Взяли его неожиданно. Человек предполагает, а Бог... Они с матерью ждали маршрутку у метро Черниговская. Вдруг к остановке подрулил неприметный бусик. «Сталинский воронок», — только и успел подумать Джордж, как четверо выскочивших их буса дюжих молодцов в хаки скрутили его и затолкнули внутрь. Ведомый, как овца на закланье, он даже не особо сопротивлялся. Бедная его мать кричала, пронзительно голосила. Народ опасливо сторонился. Никто не пытался ему помочь, выволить из незаконного плена, как бывало ещё год назад. Теперь люди отворачивались. Лишь один молодой парень продолжал снимать на телефон. И то не ясно было, из сострадания ли, по зову ли сердца делает он это или так — для контента в тик-токе. Бус тронулся. Мать загородила ему дорогу. Он стал сдавать назад. Женщина до последнего цеплялась за передок, не прекращая истошно кричать, как будто сошла с ума. В какой-то момент, ослабев, она рухнула на колени прямо перед автобусом. Потом, правда, снова поднялась на трясущиеся ноги и вновь ухватилась за бампер. На эту муку невозможно было спокойно смотреть. Ясно, что надолго её не хватит. Слишком неравны силы — немощной пенсионерки и железного пятилитрового Левиафана. Но, как в дурном сне, эта тщетная борьба длилась и длилась ещё несколько вязких минут. Потом откуда-то сбоку к ней подскочил полицейский и буквально оторвал державшуюся мёртвой хваткой старушку от автобуса. Путь был свободен. Вы видели когда-нибудь глаза

щенной суки в момент, когда у неё отнимают щенков, чтобы утопить или продать за копейки на птичьем рынке? Какая боль, какая тоска отражается в них! Достоевский писал про слезу ребёнка. Но что эта неосознанная слеза в сравнении с беспомощными слезами матери, высохшей своей грудью тщетно пытающейся заслонить чадо от всей навалившейся Несправедливости мира!

Автобус уехал. Бездыханная женщина осталась лежать на проезжей части. К ней уже подходили оробевшие прохожие.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (сокращённо ТЦК) — орган, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения. ТЦК заменили прежнюю систему военных комиссариатов.

Джордж был наслышан о зверствах, творящихся в этих стенах. Однажды он ехал в поезде с бывшим военным. Тот пил водку и, не переставая, болтал. Очевидно, у него был нервный шок. Он неделю провёл в застенках ТЦК приграничного города Чоп. Прелесть ситуации была в том, что он отнюдь не был так называемым уклонистом (по-украински «ухилянтом»). Он был кадровым военным, списанным в запас по болезни. Но это не остановило комиссаров в пыльных шлемах. Они «прессовали» его день и ночь, пугали отправкой на «ноль», если он «добровольно» не подпишет контракт. Он не подписал, выстоял. Уговорил (или подкупил) сердобольную тётеньку из ВЛК («военно-медицинской комиссии»), и та дала ему направление на повторное медицинское обследование в Киеве. Он вырвался из цепких лап, а большинство сидевших вместе с ним мужиков подписали бумаги и были отправлены в «учебки». Там в течение 45 суток им предстояло научиться стрелять из автомата, метать гранату. После чего их практически поголовно отправляли на пе-

редовую, в самые горячие точки. Таких новобранцев опытные кадровики между собой называли «мясом». Мясо — оно и есть мясо. Утилизируют этих бойцов, нагонят новых.

Жители демонстрировали, конечно, признаки сопротивления. То там, то тут сгорит машина ТЦКшника. Распылят в лицо сотруднику перцовый газ. Но в целом, все это детский сад. Машина работала, как часы. Все шестерёнки смазаны. Люди спасались от ТЦК на деревьях, прыгали в водоёмы. Старались переплыть Тису — пограничную реку, символ близкого, но недостижимого спасения. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Обо всем этом Джордж был осведомлён. Поэтому не сопротивлялся. Прошёл ВЛК. На его жалкий остеохондроз даже не обратили внимания. «Учебка» находилась в посёлке Боярка под Киевом. Здесь в старом величественном соборе когда-то служил знакомый Джорджа отец Флавиан. Увы, он уже давно был в селениях праведных, скончавшись от ковида в самом начале эпидемии. В институте у Джорджа была военная кафедра. Поэтому он толко не умел ни разбирать автомат, ни окапываться. Хорошо хоть портянки теперь не нужно мотать. Выдают зелёные тактические носки с усиленной пяткой и носком.

Их инструктор, боевой сержант говаривал: «В армии нет слова «украли», в армии есть «проебал». До всех дошло?».

И действительно, у Джорджа в палатке боец лишился штанов от «термухи». Нет, не новых, нет, не чистых.

— Возьми за правило подписывать маркером все свои вещи, — продолжал научать сержант. — Дальше нуля не пошлют. Эта максима формировала логику отношений командиров с личным составом на линии боевого соприкосновения.

Было много строевой, как ни странно. Кому нужен в окопе это «марш-марш»? И все-таки Джордж был вынужден покорно тянуть ножку и держать равнение направо.

Однажды во время стрельб солдат ни с того ни с сего начал палить по инструкторам. Два человека погибли. Стрелявший был задержан. Вообще, как потом узнал Джордж, около 70% бусифицированных впоследствии уходят в СЗЧ (дезертируют).

И вот он — фронт. Сразу. В полный рост. С окопами, ежечасными прилётами, постоянным комариным жужжанием смертоносных дронов, КАБами, после которых от его товарищей не оставалось и на закрытый цинк. Командиры пили, бойцы шмалили и смотрели на порнуху. Это если день выдастся поспокойнее.

А потом была Курская. В августе их часть перебросили под Суджу. Сначала русские почти не сопротивлялись, серьёзных войск кроме погранцов на том участке не оказалось. Сооружение фортификаций было провалено. В общем, проворонили по старинной своей привычке надеяться на авось да небось. А потом опомнились, подтянули войска, и понеслась душа в рай...

В конце августа ВСУ предприняли смелую механизированную атаку в районе Александровки, юго-восточнее Суджи. Там в задрипанном обгоревшем леске его части пришёл конец.

Теперь контуженный и чудом уцелевший Джордж лежал в тыловом госпитале. То, что его — очумелого и дезориентированного сумели под огнём вынести побратимы — тоже маленькое чудо. Он лежал на койке, а в голове чёртов пономарь неусыпно звонил в Царь-колокол. Тошнота и боль после уколов отступали на время, но быстро возвращались вновь.

Первый сон Джорджа Палыча. Сердце Ануннака

Джордж впал в медикаментозное забытье. И приснилось ему, что он должен совершить магический обряд над «сердцем Ануннака», чтобы прекратить войну. Выглядело сердце, как кусок вяленой корейки. Сам он был в мантии и бормотал заклинания на каком-то восточном языке. Вот он берет «сердце», кладёт его на алтарёк, обливает горячей жидкостью и поджигает. Сердце сгорает. Остаётся лишь горстка пепла, которую Джордж бросает себе за спину. Теперь должен воцариться долгожданный мир — сомнений нет.

И много дум, и много чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут...

гр. Ростопчина

Второй сон Джорджа Палыча. Эротический

Несколько ночей подряд ему снился другой сон — эротический. Как будто перед ним незнакомая блондинка. Волосы у неё густые, как у молодой Катрин Денёв. И он ей говорит:

— Когда я жил в Лондоне, я был знаком с одной манекенщицей, теперь их зовут моделями. И вот как-то раз она пригласила меня на вечеринку в закрытый клуб на Лестер-сквер. Клуб был битком набит состоятельными мужчинами. А официантки были — ну прямо ангелы Victoria's Secret, Все красавицы молодые, все равны, как на подбор. Моя подружка подозвала одну из них и говорит — «Поговори с джентльменом». «Охотно» — отвечает ангел. Мы разговорились. Я рассказал, что приехал из России. Работаю в Сити.

Она говорит:

- Значит, неплохо зарабатываешь.
- Неплохо. Но на TVR не хватает.
- Ничего. Все будет. И TVR, и кокс, и девушки под кокаином. Хочешь, дам бесплатный совет?
- Плиз.
- Никогда не говори с красивыми дамами таким тоном.
- Это каким «таким»?
- Ну, мямлишь чего-то, юлишь и прячешь глаза. Пойми, ты — часть системы. Система выстраивалась десятилетиями, чтобы ты мог расслабиться и не городить всякую чушь про погоду. Все девушки здесь прошли «обкатку».
- Обкатку?
- Да, в их системе координат ты — босс.
- Как это?
- Не будь, как маленький. Они не шлюхи, и не продаются. Они отдаются беспрекословно по первому требованию. Но только членам Общества.
- Какого общества?
- Сколько ненужных вопросов. Не важно. Но раз ты здесь, ты уже часть системы. Лучшие девушки — *crème de la crème* созданы для хозяев жизни. Они могут быть замужем, счастливы в браке. Но если однажды в клубе, в пабе, на улице к ним подойдёт мужчина со сталью в глазах и крепко, весьма крепко возьмёт за руку или за горло вот так — и она легко прикоснулась тонкими пальчиками к пульсирующей подчелюстной жилке — они поймут все правильно и сделают то, что им скажут. Таков порядок.
- *Neue Ordnung* — попробовал во сне связать Джордж.
- Дама ничего не сказала. Улыбнулась загадочно и удалилась, грациозно покачивая бёдрами.

Третий сон Джорджа Палыча

Он ещё маленький. Молодая бабушка в светлом болоньевом плаще ведёт его в центр игровых автоматов. Ну, знаете, в тот, что рядом с парикмахерской и зоомагазином. В парикмахерской толстые тётеньки накручивают «бабетты» модницам и стрегут «под горшок» зазевавшихся первоклашек. А в зоомагазине флегматичные хомячки непрерывно жуют капустные листья. Старый грустный попугай, которого все никак не купят, меланхолично выкрикивает бессвязные фразы. Впрочем, все в рамках приличий. А вот и он — волшебный зал безгрешных утех. Юные лудоманы не нарушают никаких ветхих заповедей. А новых ещё не придумали.

Морской бой разгорается. Джордж когда-то бывал на мемориальной подводной лодке, стоящей на площади в центре Владивостока. Вот так же он глядел в узкое окошечко и видел, как наверху прохожие целуются, спешат по своим ежедневным делам. А тут можно не только наблюдать, поворачивая перископ влево-вправо, но и запускать издающие натуральное шипение торпеды. И если бог не обделил тебя сноровкой, то ты обязательно поразишь грозный линкор или тяжелогружённый транспорт. Ещё в зале был автомат «механическая рука». С помощью неё можно было попытаться зацепить одну из вожделенных вещиц, например — пачку импортной жевательной резинки или плюшевого зайца. Только вот незадача — в последний момент киборг почему-то ослаблял мёртвую хватку, и добыча ускользала, как золотая рыбка. На этом месте Джордж всегда просыпался. Пора делать укол.

Я проснулся и тихо лежал,
На ладони щеку положив.
И как долго, как страшно я спал,
И как странно, что я ещё жив...

Вал. Катаев

Четвёртый сон Джорджа Палыча. Кипарисы Заратуштры

Снятся Джорджу Хорасанские кипарисы. А ведь кипарис — символ жизни. Значит, воин выздоравливает. Кипарис и огонь тесно связаны с Заратуштрой. Кипарис иногда изображается в форме пламени. Существует два кипариса, которые Заратуштра по преданию принёс с небес и посадил в Хорасане.

И Виштасп сказал: «Бог послал это дерево мне из рая». Как вечнозелёное растение, способное, кажется, жить вечно, оно является символом Амеретат — нестареющей силы.

Сон Эркюля. Гей-клуб

Когда-то Эркюль работал в Лондоне международным юристом. Его отправил на стажировку из Москвы некий Крис. Он был партнёром, сосланным фирмой в Москву за его нетрадиционную ориентацию. Отношения с ним были нормальные. И вот Эркюль попал в Лондон. Эмоции захлестнули его. Все было внове — люди, архитектура, смешение рас, греческая, арабская и китайская кухни. Серая Темза. Коричневый загадочный Биг-Бен. Уже не чопорные, но всё равно странноватые англичане. Прошло пару лет, и он уже стал подумывать, а не остаться ли там насовсем. Работу свою он выполнял хорошо, хотя долгий рабочий день угнетал. Потогонная система Тейлора в действии. Крис сообщил, что приезжает в командировку. Они встретились в каком-то баре. Крис был мил и доброжелателен. В следующий свой приезд он пригласил Эркюля в ресторан. Это был необычный ресторан. Он работал при закрытом джентльмен-клубе, напоминавшем дворец. Посетители были чуть ли не в

смокингах. Их обслуживали предупредительные официанты. В фонтанах плескались рыбки. Сверкали мраморные полы. Они заказали шампанского. Вечер прошёл чудесно. Наконец они вышли на улицу, и захмелевший начальник стал звать Эркюля в клубную сауну. Почуввав неладное, он отказался. Прощаясь, Крис вежливо улыбался, но через месяц Эркюля с фирмы турнули. Понимайте, как знаете.

Подлечившись немного, но с головными болями и беспамятством, Джордж решил уйти в самоволку (СЗЧ). «С меня довольно, — думал он, — не могу, не могу больше». Перед глазами стоял (оксюморон) Петро. Оторванная нога, как живая, ползала за ним, как змея, оставляя на земле бурые следы.

Случайно ему попало на глаза интервью с Сергеем Гнездиловым, известным СЗЧшником. О своём решении покинуть часть тот заявил прямо в эфире одной из государственных радиостанций:

«Я добровольно демобилизовался. Меня просто сейчас могут арестовать, но в тюрьме по крайней мере есть чёткие сроки», — сказал мужчина. В тот же день в своих соц.сетях он написал, что единственное, в чём его убедили пять лет контрактной службы в ВСУ — что «никто не рождён для войны».

Но как бежать, а, главное, куда — вот в чем вопрос! Без денег, карточек, без телефона — все это осталось там, в Дантовом горелом лесу под Александровкой.

Решение созрело, теперь оставалось воплотить его в жизнь или в смерть, тут уж как повезёт. Почти как Шу-

рику из «Кавказской пленницы», Джорджу довольно легко удалось улизнуть из госпиталя, сговорившись с водителем.

— Куди ж ти тепер, братику?

— До Києва. Там у мене друг.

— Так небезпечно. Тебе ж шукатимуть.

— Ну, хай шукають, та не знайдуть, — улыбнулся Джордж.

— А може, до моїх у Полтаву. Пересидиш, оклемаєшся.

— Спасибі тобі, друже. Яюсь між струмками...

Джордж остался совсем один. Мать умерла в тот день, когда его забирали «вежливые люди». Тина валандается с бывшим другом. Катерина счастлива с грузинским Давидом-строителем. Ни родственников, ни друзей. Куда податься бедному крестьянину? На квартиру нельзя — засекут. И он решился. Несмотря ни на что, набрался смелости и позвонил Эрколею. Тот удивился, но не так, чтобы очень. Договорились встретиться на озере Тельбин на Бережниках. Это было их излюбленное место, куда по молодости они водили девчат целоваться.

Вот он идёт. Ничуть не постарел, даже, можно сказать, похорошел. Пожали друг другу руки, обойдись без объятий. Завели беседу как ни в чём не бывало.

Всё же после всего произошедшего занозу из сердца удалось вытащить. Слишком много навалилось на старых друзей с той давней поры. Слишком много страшного, злого произошло. Из-за Елены Прекрасной войны шли десятилетиями. Хотя, наверняка, причина была в ином — в богатствах Трои и её стратегическом положении. У Джорджа опять задёргалось лицо — последствие контузии. Как понервничает, так начинается

тик. Он стоял перед Эркюлем — поседевший, почерневший на солнце. Глаза тоже выгорели, поблекли. Мало он теперь напоминал того прежнего романтического добряка, который, казалось, часами мог самозабвенно рассуждать о Байроне с Пушкиным. О Катаеве с Пастернаком. Прошное умчалось вдаль, скрылось за поворотом. Не забылось, нет. Просто как будто припорошено теперь белой Аккерманской пылью.

Они присели на лавочку под так называемым «деревом Цоя». Здесь когда-то снимали про Цоя фильм «Конец каникул». Смотрели на воду, кормили голубей сухариками. Кусочки нужно предварительно раскрошить, иначе птицы не смогут их склевать. Налетела целая стая, и вдруг один самый старый голубь запрыгнул Эркюлю на кроссовок и устроился так, как будто это было его обычное место отдыха. Про Тину друзья не обмолвились ни словом.

— А теперь — самое главное, — сказал Джордж, — нужно попасть в квартиру и взять рукопись романа. Сможешь?

— А ключи?

— Ключи у бабы Вани из десятой.

— Хорошо, попробую. А что ещё взять?

— Там немного денег должно быть в серванте. Кое-какую одежду. Я напишу список.

Товарищи ещё немного посидели в парке и пошли к Эркюлю домой. Было решено, что Джордж пока поживёт у него. А там будет видно.

— Нужно предупредить Тину, что мы едем. Я бы не хотел с ней встречаться.

— ОК, наберу её, — сказал Эркюль и полез в карман за сотовым.

Через пару дней Герой благополучно забрал рукопись и вещи. Никто из жильцов не встретился им по пути. Баба Ваня (о происхождении имени — в другой раз) без лишних расспросов отдала ключи.

Налёт

За описанием известных перипетий мы совсем выпустили из виду Нивкинда.

Ещё до начала войны он купил себе домишко в лесу, и, как только передовые десантные части стали штурмовать Киев, убрался на дачу от греха подальше. Там и сидел болотным дедом. Что-то строгал, пилил, вытачивал, малевал. Масляных красок у него не было, поэтому он стал экспериментировать, добывать охру и создавать краски на её основе. Для этого измельчал частицы породы или глины, смешивал с водой, слюной, кровью, жиром рыб, чтобы получить фиксатор. Также он делал растительные отвары и получал краски из коры крушины и дуба, из свеклы и крапивы. Получалось примитивно, но ему даже нравилось осваивать первобытные техники и чувствовать себя неандертальцем. В общем, в ус особо не дул, но тут на свою беду решил на денёк-другой заглянуть по делам в Киев.

Только лёг спать в трёшке на Подоле, как началось. Прилёт за прилётом. Дрон за дроном. Громыхало так, что казалось — это выступает какой-то циклопический рок-ансамбль. Стрёкот зениток, жужжание дронов, змеиное шипение, рёв, грохот, гул. Небо расчерчено огненными сполохами. То и дело при особо близком разрыве немолодой уже художник кидался в прихожую, укрываясь за двойными стенами, как советовал «Телемарафон». Впервые за 3 года Нивкинд пожалел о том, что не может успокоить нервы рюмкой водки. Да что там рюмкой? Человек,

подавай добрый штоф (1/10 ведра). Яростная атака закончилась только под утро. Нивкинд бледный и больной поспешил убраться восвояси, зарёкшись возвращаться в Матерь городов русских до перемены.

Глава 12. Обол Харона

Есть времена, где солнце — смертный грех.
Не человек — кто в наши дни живёт.

М. Цветаева

Джордж читал где-то, что идея реинкарнации пропала из христианства не сразу. Исторически это произошло на Пятом вселенском соборе при императоре Юстиниане. В частности, на соборе были осуждены и объявлены еретическими идеи Оригена, который учил о предсуществовании души, вечном возвращении и духовном очищении через воплощение. Императору эти постулаты не понравились, потому что ослабляли власть церкви и его собственную. Реинкарнация же давала надежду на рост и искупление, а послушание не являлось единственным путём к спасению.

В «Слове благочестивейшего императора Юстиниана к патриарху Мине» (VI век) сказано:

<...> до нас дошло, будто бы некоторые, не имеющие страха Божия в сердце и <...> оставивши божественное Писание и святых отцов <...> защищают Оригена с его учением <...>. Как такие люди могут причисляться к христианам, защищая человека, который старался передать то, что мыслили язычники, манихеи, ариане и другие еретики? Что иное изложил Ориген, как не учение Платона, который распространял языческое безумие?

Ориген же писал, что Бог, ведя душу к спасению, даёт ей тело, подходящее к её заслугам, и в этом теле душа

живёт до тех пор, пока не заслужит лучшее. Следы древних верований сохранились в Евангелии. Христа народ почитал за второго Илию. Гностические тексты, не вошедшие в канон, тоже отражали воззрения древних на реинкарнацию: «Душа, если она не очистится, вновь вынуждена возвращаться в мир, чтобы прожить другую жизнь. Друзы (не говоря уже об индусах) и по сей день открыто исповедуют реинкарнацию.

Темными морозными ночами над застывшими лесами мелькают тени. То ли это тихий убийца-филин настигает мышь, то ли таинственная древняя сущность поспешает на лысую гору, которых в округе множество. Вот Говерла, самая высокая гора в округе, а вот Поп-Иван, лишь немногим уступающий Говерле, гора Ребра, чьи крутые склоны покрыты криволесьем, дернистым щучником и белоусом, и Петрос, прозванный Грозовым за то, что в этом районе часты ураганы и удары молний.

Терминология для описания карпатских гор очень детальна. Так «кичера» — это гора, покрытая лесом, кроме вершины. «Верх — вершина горы. «Клива» — незаросшая голая вершина. «Горб» — невысокая пологая горка, холм. «Магура» — высокая отдельная гора. «Грунь» — гора, покрытая лесом. «Горган» — гребень высокого хребта. А ещё есть «Бердо», «Бескид», «Шпилак», «Маковец» и «Рожок».

Об эту глухую пору говорят не только звезда с звездою, но и гора с горою. Презирая людские границы, переглядываются и перестукиваются грозные каменные великаны. А, может, неслышно для нашего уха поют песни на русинском наречии:

А вта моя Марька, хоть пістріговата,
Любить ми ся дуже, бо така заклята!
Як ня возьме в танок та як мнов загыгать,
Три дны ми ся по тум, ниборята, щикать!

«пістріговата» — веснушчатая
«загыгать» — сильно встряхнёт
«щикать» — икать

Джордж пробирался к границе окольными путями. Так, чтобы не остановили бесчисленные патрули, не сдали погранцам патриотичные граждане. Любой чужак вызывал подозрение. Одну ночь он ночевал в заброшенном гуцульском домишке. Таких в округе много. Чем выше в горы, тем больше. Некогда многолюдные села обезлюдили из-за войны, неразвитости современной инфраструктуры, отсутствия перспектив для молодёжи. Стены хаты были добре размалёваны прежними газами. Он развёл огонёк, предусмотрительно закопатив все щели, чтобы ни один лучик не выдал его присутствия. Впрочем, неизбежный дымок тоже мог навесити на него сыскарей. Но нужно было идти на риск, чтобы согреться. Наутро он продолжил путь. Обходил села, продирался сквозь бурелом. Переходил в брод полузамёрзшие ручьи. Запасы провизии кончались, он простудился из-за того, что несколько ночей ночевал в спальнике прямо на мёрзлой земле. Но цель была близка, и он, сцепив зубы, пробирался по лесам, по долам. Где-то в этих местах снимался «Захар Беркут», замечательный фильм с Брондуковым и Степанковым. Он помнил его с детства. Гордые солнцепоклонники, жившие родовым строем, уничтожили татарское войско, искавшее проход на Венгерскую сторону. Вот и он ищет сейчас такой проход.

Тиса, приток Стикса

Как Садко пел сладкие песни на берегу Ильмень-озера и влюбил в себя дочь морского царя, так и Джордж посвящает стихи быстрой речке Тисе:

Впадает Тиса в океан любви,
Ты по волнам беспомощно плыви,
И от беды несмело удаляйся,
И, как младенец, тихо улыбайся,
Пуская пузыри. На всю округу
Ни дыма, ни жилья. Движенье к югу —
Все, что осталось сиротам в наследство,
Как парусник игрушечный из детства.

У Плиния река называлась Патисс. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в сводках боёв периода Второй мировой войны и в фильме «Над Тиссой название реки пишется с двумя «с».

На Тисе стоят такие города как: Рахов, Тячев, Хуст, Чоп, Сигету-Мармацией и др.

После начала войны беглецы стали бежать из страны, пытаясь переплыть Тису. Ведь она протекает по границе с Румынией. Из-за частых случаев гибели военнопленных Тиса стала называться «рекой смерти. У Тисы есть многочисленные притоки — Тересва, Теремля, Боржава, Бодрог и Москва (с 2016 — Сельский поток). Берег Тисы опутан колючкой, как мумии фараонов бальзамической тканью.

Инспектор Шикур

Инспектор Шикур стоял у опоры пограничной вышки. Стальные воды Тисы были беспокойны: в бурюнах кружи-

лись листы бумаги, как будто незадачливый бухгалтер утонул в стремнине, а его размокшая бухгалтерия никак не могла отмучиться.

Вдруг инспектор заметил смутную тень — человека, решившего пересечь границу. Уклонист. Он инстинктивно сжал оружие. Приказ был ясен, но руки наливались свинцом. И тут инспектор понял, что нарушитель тонет и отчаянно борется с течением, а вода коварна и до зубовного скрежета холодна.

Каждое судорожное движение давалось человеку с трудом, усугубляя и без того безнадёжное положение. Берега были каменистые и скользкие. Выбраться без посторонней помощи было практически невозможно.

— Держись, — заорал Шикур. — Я иду к тебе, иду!

Тело на миг исчезло под водой и снова показалось на поверхности. И Льву Толстому периода «Севастопольских рассказов» было бы нелегко описать смятение, охватившее погранца. Хоть он не раз видывал подобное. Но к таким сценам невозможно привыкнуть — минуту назад мокрый и заоченелый, но живой человек ещё барахтался, махал руками, хрипел и пытался звать на помощь, но река — эта холодная слепая Фемида уже вынесла страдальцу нелицеприятный приговор, и вот его горячее тело уже заскакало Таниным мячиком, безвольно запрыгало на безучастных волнах...

В кармане Джорджа пограничники обнаружили оба паспорта, аккуратно завернутые в целлофан. Зазвонил телефон, и вежливый женский голос сообщил Эркюлю, что тело Джорджа В. только что достали из Тисы, требуется опознание. Последний звонок по иронии Джордж сделал как раз Герою, который был подписан в телефоне — «друг». Друг — лучше новых двух, уведший жену покойного, немедля вместе с Тиной прыгнул в машину,

заправил на WOGe полный бак и пришпорил стального (а по правде — уже наполовину пластикового) коня. Тот понёсся во весь опор по заснеженным трассам. Мимо мелькали гордые города, благоустроенные полицейские заставы. Им теперь было далеко до обложенных мешками с песком импровизированных опорных пунктов первых дней войны. Теперь все было намного цивилизованней и смертельней для уклонистов. Но у Эркюля все в порядке с документами. Тина помогла выправить отсрочку с помощью одного высокопоставленного бывшего. Протекторы хорошо держали скользкую дорогу. И все бы ничего, доехали бы благополучно. Но взвесил на хрустальном Олимпе на весах судьбы невидимый Зевс все за и против и вынес свой вердикт. Заднее колесо Ауди попало в яму. Диск лопнул с громким хлопком. Тяжёлая машина не перевернулась, но пошла юзом. Как ни выкручивал баранку опытный водитель, мастерские ухищрения были тщетны. Они картинно, как в дешёвых кинофильмах, свалились в кювет и врезались в дерево. Передок смяло. Сработали подушки безопасности. Тина не дышала. Из уголка рта вытекала струйка крови. Мимо, не останавливаясь, пролетывали иномарки. Но вот притормозил наконец какой-то бусик с работягами, возвращавшимися со смены. Они гурьбой вывалили на снег и стали взволнованно кричать и заглядывать в окна машины. Один смуглый тип с неожиданно аккуратными (для рабочего) отполированными ногтями даже сумел просунуть в салон руку, открыть дверь:

— Мужик, ты живой? Что с бабой? Слышь, что с ней?

— Ничего страшного, — слабо проговорил Эркюль. — Она мертва.

Эркюлю помогли выбраться из машины, затем осторожно вытащили Тину и положили на подстеленный овчинный полушубок. Смуглый ещё раз проверил пульс и

закрыл Тине глаза. Эркюль спокойно, как робот, набрал 103 и 102 и сообщил о дорожно-транспортном происшествии.

Герой благодарил этих простых людей в ватниках и дублёнках, отвечал невпопад, туго соображая. Слез не было. Теперь нужно было ждать скорую и полицию. Оцепенение овладело им, и он, не мигая, стал глядеть, как за дорогой, за хилым продрогшим лесом всходило, налившимся яблочком выкатывалось на древнерусское небесное блюдце алое зимнее солнце.

Вечер. Киев окутан туманом. Кафе в Пассаже (маленькому Эркюлю когда-то давно, в другой жизни здесь покупали синюю школьную форму). За столиком — Эркюль с бокалом кагора. За соседним столиком смуглый незнакомец.

Незнакомец:

— Позвольте подсесть к вам? Вижу, вы философствуете в одиночестве. В наше время это считается опасным.

Эркюль (усмехаясь):

— Если вы не из ТЦК, пожалуйста. А если всё же... — то у меня белый билет. Где-то он видел уже этот острый взгляд.

Незнакомец:

— Отнюдь. Я скорее по налоговой части. Скажем, налоговый инспектор. Из одного органа, впавшего недавно в немилость.

Инспектор загадочно указал перстом вверх.

Эркюль:

— Как интересно. Вас, кажется, недавно трясли. Обычно проводили.

Инспектор (вздыхает):

— Ах, они подлецы, но по-своему забавные, Эркюль.

Эркюль:

— Откуда вы меня знаете? (хмурясь)

Инспектор:

— По долгу службы. Да-с. По долгу-с. — Повторил он задумчиво, прибавляя каждый раз в конце эту смехотворную, старорежимную частицу.

— Вы ведь жулик с талантом трагика.

Эркюль:

— Я? Да я в жизни копейки не украл.

Инспектор:

— Вы украли гораздо большее — душу. — Он помолчал и добавил, — даже две души. Мне было чрезвычайно любопытно с вами побеседовать. А теперь разрешите откланяться. Дела, не терпящие отлагательств.

Эркюль:

— Но позвольте. Заинтриговали и в кусты.

Инспектор:

— Не волнуйтесь, любезнейший. Уверяю вас — мы с вами ещё обязательно встретимся и успеем наговориться вволю.

С этими словами странный человек с барскими манерами и серыми близко посаженными глазами быстро удалился, его простыл и след.

А Эркюль остался сидеть за столиком, слегка расстроенный разговором. Как человек рациональный, он не очень любил непонятные ситуации и загадки. Разговор этот, манеры и тон «инспектора» рождали в его душе щемящее чувство, смутное необъяснимое беспокойство.

Эпилог

Израиль нанёс превентивный удар по ядерным мощностям истинных арийцев. Европейские журналисты и лидеры мнений постепенно перетекают на сторону детей палестинских террористов. Лозунгом «Свободу Палести-

не» встречают пассажиров, прилетающих в Хитроу с Земли Обетованной. Пассажиры кричат на демонстрантов, демонстранты оскорбляют вновь прибывших.

Войны затухают и вспыхивают вновь. А, может, это просто одна такая бесконечная Троянская война. Высший Арбитр стирает имена учеников в школьном журнале и вписывает другие. Давно распался на части могучий обитый медью деревянный конь, прах первых героев бережно собран и запечатан в элегантные погребальные урны. Кости иных тоже давно истлели на диких берегах. Зато на новеньких с иголки цвинтарях только расцветают махровым цветом жёлто-голубые диковинные цветы. Тяжёлые их, как с похмелья, головы качаются на ветру.

Ушёл со сцены (а теперь и из жизни), дав последний душещипательный концерт, «князь тьмы» Оззи Осборн. А в Риме — изнасилована специально обученным жирафом (Sic!) и растерзана дикими зверями Лукуста, отравительница Клавдия и Британника. Что общего между этими событиями, спросите вы. Ведь их разделяют тысячелетия. Но если время идёт по кругу или по утверждению Нивкинда вообще стоит, как ходики Александры Ивановны, то все в мире происходит одновременно. А значит, можно в День Примирения и Победы выйти на Красную, Зелёную и даже Голубую площади и вместо одинокой «Арматы», так и не пошедшей в серию, увидеть марширующих стройными рядами пышнопоножных ахейцев или экзотическую процессию Лугульбанды, загадочного правителя Урука, направляющегося совершать моление о дожде в гранитный ленинский зиккурат.

Был такой маленький ныне забытый пионер-скрипач Муся Пинкензон, смело заигравший «Интернационал» и не подумавший спасти свою шкуру перед расстрелом.

Голос за кадром:

— В жизни должно быть нечто большее, чем просто иметь всё.

Дональд:

— Да, есть, но я не скажу вам, что это такое.

Голос за кадром:

— Oh putain!

Автор:

— Как запоешь, что заиграешь, когда тебя поставят к стенке новые эсэсовцы?

Алла ДУБРОВСКАЯ

(Нью-Йорк)

ТИБЕРИЙ НА КАПРЕЕ¹

Никто, побывавший в изгнание,
Не становился царем, крови людской не пролив.
Гай Светоний Транквилл «Жизнь двенадцати цезарей»

Когда-то Капрея очаровала Августа настолько, что он построил там виллу, куда пригласил Ливию с юными сыновьями.

— Этот остров был настоящим обиталищем сирен. Как помнишь, мой мальчик, — обратился он к пасынку, — Одиссей велел привязать себя к мачте корабля, а своим спутникам — залепить уши воском, чтобы не слышать их чарующего пения и не сгинуть в морской пучине.

— Разве у Гомера есть упоминание о Капрее? — возразил было Тиберий, но осекся, встретив предостерегающий взгляд Ливии.

Август обиженно надул губы. Расхваливая красоты острова, он больше не обращался к Тиберию.

— Никогда, никогда, никогда не перечь Цезарю! Слышишь меня? Никогда! — наставляла старшего сына Ливия, больно сжав его руку.

Эти слова Тиберий запомнил на всю жизнь. Он не посмел перечить Августу, даже когда тот велел ему развестись с любимой Випсанией. Никогда, никогда, никогда не любил он никого больше, чем любезную свою Випсанию.

¹ Так в античные времена назывался остров Капри.

Но что же остров? Вот он поднимается застывшей вздыбленной волной из морской пучины. Еще несколько усилий гребцов — и вода под их веслами начнет переливаться удивительными оттенками синего, голубого, зеленого. Если бы Тиберий был молод, как много лет назад, он бы уже увидел островной маяк, сейчас же он различает только мерцающие вдалеке пятна. Ближе, еще ближе. Теперь белесые скалы, изъеденные волнами, совсем близко. Вот и утесы, меж которых триерарх¹ проводит корабль. Ветер несет аромат диких цветов, смешанный с множеством волнующих Тиберия запахов. Так благоухает свобода. Нет, он никогда не вернется туда, где хотят его смерти. Рим ненавидит его, а он ненавидит Рим. Он останется доживать свой век на этом острове, так он решил, ведь острова всегда притягивали его. Разве случайно он отправился когда-то на Родос, а на Капрее велел выстроить дворец-крепость на самой вершине отвесного утеса? Сейчас он уже не в силах туда взобраться. Его грузное тело рабы тащат вверх по каменистым ступеням, вырубленным в скале. Следом, проклиная богов, пыхтит взмокший Трасилл² и бряцают доспехами германские телохранители.

Слуги распахнули двери атриума³ перед Тиберием, и он с волнением ступил на мозаичный пол. Всегда прижимистый и даже скупой, он не пожалел денег на этот дворец, но как давно он здесь не был, безвылазно просидев в Риме десять лет. Как легко здесь запутаться в бесконечных лабиринтах и лестницах, ведущих в парадные залы, террасы и галереи.

¹ Капитан военного корабля триремы.

² Астролог Тиберия.

³ Центральная часть древнеримского здания.

Согнувшись в почтительном поклоне, управляющий имением выступил вперед.

— Веди! — приказал император.

Они долго шли под мраморными сводами вдоль стен, покрытых киноварью, мимо драгоценных коринфских ваз на бронзовых подставках, трофейного оружия, собранного еще Августом. Казалось, алебастровые «Крылатые Победы» с факелами в руках вот-вот вспорхнут со стен, приветствуя долгожданного владельца. Наконец, переступив через белый мраморный порог, Тиберий прошел в перистиль¹, залитый солнечным светом, и замер на пороге. Как прекрасен рокот волн, перекликающийся с журчанием фонтана и пением птиц. Как прекрасны белые статуи богов. Как украсили они этот двор, встав между колоннами. Старик подошел к сидящему на троне мраморному Юпитеру. «Чем провинился я перед богами, отнявшими у меня всех, кого я любил? Почему я одинок даже в радости?» — молча спросил он Всемогущего, но взгляд безответного Громовержца был устремлен в пространство, скрытое от простого смертного.

Голос Трасилла отвлек Тиберия от печальной мысли.

— Еле догнал тебя, Цезарь. Вели слугам разогнать диких коз в моих покоях. Пусть там и полы отмоют. Как хочешь, а мне нужно немного передохнуть после такого крутого подъема.

И он уселся на край фонтана, опустив босые ноги в воду.

— Я хотел показать тебе что-то в спальне, но не то-ропись, дай отдых ногам. Позови мне мальчика, — обратился Тиберий к управляющему.

Тот немного замешкался. Какого мальчика имел в виду император?

¹ Открытый внутренний дворик.

— Сирийца, — подсказал Трасилл.

Наконец нашли Ахмата, который был уже не мальчиком, а полноватым юношей с курчавыми черными волосами.

— Идем, — коротко приказал Тиберий.

В спальне он откинул парусину с картины на стене.

— Ну как тебе? Нравится?

Ахмат в смущении потупил взор.

— Это картина великого Паррасия¹, доставшаяся мне от Августа.

— Видишь, как согнулся Мелеагр над Аталантой², раскрывшей ему свое лоно? Ты уже проникал в чье-нибудь лоно, как Мелеагр? Говори!

— Да, — прошептал Ахмат. — Египтянка Тая раскрывала мне свое лоно.

— Так, стало быть, ты счастлив?

— Да, — еще тише, вжав голову в плечи, ответил юноша. Почему-то он знал, что ему нельзя быть счастливым рядом с господином.

Появление астролога прервало обещавший стать опасным разговор. Мельком скосив глаза на картину, он захныкал, что голоден и устал. Такое равнодушие разочаровало Тиберия. Он-то хотел поделиться с Трасиллом мыслью, неотступно преследовавшей его долгое время, а своими мыслями он делился не часто и только с ним.

— Взгляни, Трасилл, разве художник не точно передал, как сама природа требует от нас предаваться наслаждению? А этот раб уже постиг то, что раньше было скрыто от меня: подавление желания не делает нас счастливее.

¹ Древнегреческий художник.

² Персонажи древнегреческой мифологии.

— Тогда не будем подавлять желание чревоугодия, Цезарь!

Хитроумный проныра всегда умел повернуть сказанное Тиберием в свою пользу. И тот прощал ему все.

Повар, привезенный Тиберием из Рима, умудрился закатить пиршество из того, что оказалось под рукой на острове, а такого было немало. Но не филе из языков фламинго, не молока мурены, не фаршированные улитки, не нанизанные на вертела тушки садовых сонь и не запеченный кабан привлекли внимание беззубого императора. Когда-то, как истинный римлянин, он до тошноты набивал желудок всевозможными яствами, привезенными из разных провинций империи. Но сейчас смог съесть только мягчайшую еду, приготовленную из сортов местной рыбы. Быстро насытившись, в отличие от малочисленных гостей, Тиберий набросился на нежнейшие муссы, что не помешало ему то и дело осушать кубки с вином, в котором он знал толк. Его давно не видели в таком благостном и умиротворенном расположении духа. Поднявшись с ложа и обтерев руки о тогу, он подошел к круглому стеклянному аквариуму, врезанному в мозаичный пол посреди залы, в котором без устали вверх и вниз сновали маленькие разноцветные рыбки. О том, что он задумал, стоя там с неподвижным взглядом и оттопыренной нижней губой, стало известно довольно скоро.

Все последующие дни Тиберий был деятелен и энергичен. Он объездил остров, выбирая места для строительства новых вилл, обследовал многочисленные пещеры и гроты, находил тропинки к вершинам самых высоких утесов, продираясь сквозь колючий дикий кустарник. По его приказаниям нанимали строителей, покупали новых рабов, искали по всему острову красивых юношей и девушек, которых селили в подвалах дворца.

Прибывший на Капрею Луций Сеян, префект преторианской гвардии¹, был удивлен переменами, произошедшими в Тиберии: он выглядел счастливым. Это неприятно поразило префекта — судя по всему, старик совершенно не собирался умирать, а именно на это уповал Сеян, уговаривая его отправиться из Рима на отдых в провинцию. Странное дело, всегда подозрительный и никому не доверявший Тиберий считал Сеяна своим верным псом. Иначе, как бы тому удалось убедить императора в необходимости собрать разрозненные преторианские когорты в Риме и разместить их в одной казарме? Такое скопище гвардейцев под командованием префекта озаботило Ливию, но не Тиберия, начавшего расправы со своими противниками. Причем, выходило так, что врагов императора Сеян находил быстрее, чем они успевали появляться. Вот и сейчас он привез новый список несчастных, которых ждала казнь за оскорбление величества². Но список еще не предъявлен, он хранится у Сеяна в потайном кармане, а все потому, что неугомонному старику не терпится показать ему пещеру, которую местные рыбаки называют Голубым гротом.

На следующий день, как только взошло солнце, небольшая свита императора погрузилась в лодку и отправилась вдоль утесов к расщелине в одной из скал. Чудо открылось, когда они вплыли в пещеру, озаренную лазуревым светом. «Всемогущие боги!» — возглас восхищения вырвался у Сеяна. Никогда раньше не доводилось ему видеть, как небесный свет проходит сквозь воду и, загораясь где-то в глубокой бездне волнами голубого и лазурного света, выплескивается наверх.

¹ Начальник личной гвардии императора.

² Преступление, связанное с неуважительным высказыванием или действием по отношению к императору.

— Ну, что я тебе говорил? Сам Нептун даровал мне это великолепие!

Но не только Голубой грот довелось увидеть Сеяну в тот день. В первый раз за много лет он увидел, как улыбался Тиберий, обнажив беззубые десны. На стенах пещеры и на покрытом язвами лице императора играли разноцветные блики. Лицо это было отвратительно. Хоть Сеян и не отвел взгляда, он был ошеломлен. Не так ли был ошеломлен и Одиссей, увидев в сказочной пещере одноглазого Циклопа? Но сможет ли Сеян перехитрить своего Циклопа?

День на Капрее только начал разгораться, а вместе с ним разгорался дух гостеприимства, обуявший Тиберия. Римлянина трудно удивить приглашением в термы, там проходит большая часть его жизни, но императору хотелось блеснуть перед Сеяном величием стен из розового мрамора, мозаичными сценами гладиаторских боев, разноцветным кафелем ванн. Ложи, на которые они легли, были усыпаны лепестками роз.

— Хочешь взглянуть на моих спинтрий¹? Я собирал их по всей Капрее.

Разве кто-то мог отказаться от предложения императора?

— Сейчас ты их увидишь! — Тиберий хлопнул в ладоши.

Потайные двери открылись, из них высыпались обнаженные юноши и девушки. Тела закружились вокруг Сеяна в каком-то неистовом танце, кто-то из спинтрий бросился с визгом в бассейн, обдав префекта брызгами, другие принялись разносить фрукты на подносах и нали-

¹ Так Тиберий называл юношей и девушек, принимавших участие в его оргиях.

вать вино в бокалы. Несколько тел расположились у ложа с императором. Какая-то девушка принялась лизать и покусывать ему ноги, другая игриво забралась рукой под его тогу. Тиберий притянул и уложил рядом мальчика, принесшего ему кубок с вином. Сеян же не мог оторвать взгляда от тел в бассейне, которые, совокупляясь, то сплетались, то расплетались, то сплетались снова.

— Я вижу, тебе нравятся мои «рыбки», — благодушные разливалось по уродливому лицу Тиберия. Наконец-то он был волен пристраститься к тому, что приносило ему счастье. — Знаешь, Сеян, — продолжал он, — греки говорят, что сама наша природа требует от нас предаваться наслаждениям. Так наслаждайся, пока еще можешь наслаживать на свой фаллос моих «рыбок».

По его велению спинтрии накинулись на Сеяна, содрали с него тогу и увлекли в бассейн. Какое-то время Тиберий взирал на разыгравшиеся в бассейне забавы с его префектом, но вскоре, потеряв интерес, удалился в свои покои.

— Приведи сирийца с египтянкой, — приказал он слуге.

...

Как и всем старикам, Тиберию не спалось ночами. Сеяна же удалось разбудить не сразу. В смущении он явился перед императором.

— Ну, как тебе мои спинтрии? Вижу, ты перепробовал многих.

Сеян молчал.

— Я задумал устроить в садах скрытые от посторонних глаз местечки, такие венерины уголки, где желающие могли бы предаваться наслаждениям на свежем воздухе, обдуваемые легким бризом. Что думаешь, многие сенаторы согласились бы принять мое приглашение?

— Не сомневаюсь, Цезарь. Хоть весь сенат.

— А вот Трасиллу мои «рыбки» не нравятся. Говорит, он слишком стар для разврата. Стар и болен. По-твоему, я тоже слишком стар для разврата?

Проклятый старик подошел вплотную к Сеяну.

— Нет, Цезарь. Я так не думаю.

Довольный Тиберий оттопырил нижнюю губу.

— Во всяком случае, я здоров как бык. Но что там наши бараны? Где твой список?

В потаенном кармане списка не оказалось. Должно быть, он пропал, когда «рыбки» стягивали с него тогу.

Увидев, как изменилось лицо Сеяна, Тиберий переменил тон.

— Я думал, ты мои глаза и уши в Риме, что я могу положиться на тебя. Ты не оправдал моих надежд, напился при первой же возможности и потерял голову, увидев голеньких мальчиков с девочками. Твоя распушенность заслуживает порицания.

Раскаяние префекта было таким искренним и глубоким, что Тиберий снова сменил тон, теперь на более милостивый. Сеян прошел испытание. Потерянный список «обреченных» тут же нашелся в ларце на мраморном столике. Конечно же, он был выкраден по его указу, и конечно же, Тиберий внимательно изучил все имена. Многих, если не всех, он знал.

— Так что, эти люди поносили мое величие? Отвечай.

— Да, Цезарь. Все до единого заслуживают наказания.

— Хорошо. Пусть будет так, — Тиберий капнул расплавленным воском на свиток и приложил свой перстень.

Теперь Сеяну осталось выполнить последнюю формальность: доставить список «обреченных» в сенат, где, как уже давно было известно, никто не возропщет, боясь вызвать неудовольствие принцепса. Задерживать поч-

тальяона смерти не стали, в тот же день префект Сеян отбыл в Рим. По сути, он оставался там правителем до тех пор, пока не пришел и его черед.

Но вскоре что-то надломилось в Тиберии, он словно потерял интерес к тому, что так радовало его поначалу на Капрее. Как когда-то на Родосе, он и здесь стал взбираться на самый высокий утес и подолгу всматриваться вдаль, напрягая ослабевшие глаза. Несмотря на все уверения Трасилла в том, что звезды не предвещают угроз его жизни, он в страхе ожидал появления убийц или гонцов с дурными новостями. Рим же был настолько запуган Сеяном с его преторианцами, что никто и не помышлял о каком-либо заговоре против затворника на Капрее, но префект всячески подливал масла в светильник страха стареющего императора, который разгорался все сильнее. С небольшой группой слуг Тиберий все чаще отправлялся в Голубой грот, где проводил долгие часы в никому не ведомых раздумьях. Постепенно его перестали интересовать даже государственные дела. Он больше не назначал на должности, не следил за вторжением врагов и потерями земель на окраинах империи. Пьянство с редкими гостями наскучило ему, как и чтение греческих философов. Неизвестно, как и когда исчезли сириец Ахмат с египтянкой Таей. Слуги шептались, что они были сброшены в море со скалы. Никто не знал за что, да и не хотел знать. Только «рыбки» развлекали старца, играя в бассейне с тем, что бессильно висело у него между ног.

Так шли годы. Умер Трасилл, успевший предсказать, что Тиберий переживет его на десять лет. Верил ли Тиберий Трасиллу? Ведь ему было уже семьдесят пять лет.

Сенаторы в своих письмах настойчиво просили его вернуться в Рим, и что же он им отвечал?

«Как мне писать вам, отцы-сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней».

Такое туманное послание означало только то, что возвращаться в Рим император не намерен. Впрочем, оставалось одно занятие, чрезвычайно его интересовавшее: чтение доносов. В своих ответных письмах Тиберий обычно приговаривал обвиненных к смерти. Похоже, страх собственной смерти не оставил его даже в почтенном возрасте, когда ее приход естественен и ожидаем.

И все-таки за одиннадцать лет, проведенных на Капрее, он дважды пытался покинуть этот остров. В первый раз он поднялся на триреме¹ по Тибру, расставив по берегам стражу, чтобы отгонять тех, кто выйдет навстречу, но так и не решился двинуться дальше, а во второй раз, почти доехав до городских стен, приказал повернуть обратно, испугавшись дурного предзнаменования: накануне его любимая змея была заедена муравьями. Помня предсказания Трасилла, он решил, что это знак остерегаться бунта черни. И тут произошло то, что поздно или рано происходит со всеми: по дороге назад на Капрею он занемог. Какое-то время ему удавалось скрывать свое состояние, но, добравшись до Мизена, он свалился.

Осмотрев больного, призванный врач Харикл сразу понял серьезность недуга, но не решился сказать об этом Тиберию. Тот же упорно гнал от себя мысль о приближающейся смерти.

— Я с пятнадцати лет в походах, Харикл, и не всегда верхом или в повозке. Пешком, Харикл, пешком. И не

¹ Древнеримский боевой корабль.

под ласковым итальянским солнцем, а в жару, и в ливень, и в снегопад. Ты и снега-то никогда не видел. Разве холод пробирал тебя до костей, ну хоть раз? И в палатке ты никогда не спал, не то что под открытым небом, а плавал, небось, только в термах. И ты смеешь говорить, что мне опасен какой-то сквозняк?

Харикл потупил глаза, не в силах вынести взгляда Тиберия. Уж если он что-то и знал, так это то, как серьезно болен император. Не ровен час, помрет. Когда-то был и впрямь здоров как бык: обжирался и пьянствовал без меры, развратничал без устали, но всему приходит конец. Вот и пульс у старика чуть бьется. Тиберий раздраженно вырвал руку из цепких пальцев Харикла: «Ступай. Оставь меня в покое». Лекарь удалился, соорудив скорбное лицо. «Трасилл предсказал, я умру через десять лет после его смерти. Мое время еще не пришло!» — крикнул Тиберий, но как слаб был его голос... Разве для Харикла тратил он последние силы? Нет, слова предназначались тем, кто, прячась, ловил каждый шорох в его покоях, кто никак не мог дожидаться смерти упрямого старика. И правда, боги подарили Тиберию долгую жизнь. Ему посчастливилось пережить многих своих врагов. Взять хотя бы Юлию¹. Бедняжка так надеялась на помилование, но Тиберий, получив власть, оставил ее в ссылке, где извел голодом и одиночеством. А сыночка ее Агриппу Постума и вовсе приказал прикончить, хотя никогда в этом не сознавался. Может, Постум сам по себе и не замышлял ничего дурного, но единственный оставшийся в живых внук Августа мог невольно притянуть к себе врагов Тиберия. Пришлось удавить. Дело несколько

¹ Бывшая жена Тиберия, сосланная ее отцом Августом на Пандемию за развратный образ жизни.

осложнялось тем, что Постум был и сыном почтенного Марка Агриппы Випсания, того самого, у которого Тиберий обучался науке войны в бесконечных походах. Сейчас он уже не сразу мог вспомнить названия всех покоренных народов с именами их вождей, но знал, что Рим протянул свои владения на все стороны света во многом благодаря его победам. «Я заслужил семь триумфов, а получил только три!» — обида на Августа жила в его слабеющем сердце. Зато Агриппу император отблагодарил: всучил ему в жены свою дочь Юлию, хотя тот уже был женат. Кому и когда это мешало в Риме? А вот Тиберий женился по любви на дочери Агриппы от разведенной жены. Глупец, он думал, что их счастье не будет конца. Випсания... «Зачем они разлучили нас?» — слезы всегда навертывались на его глаза, когда он вспоминал первую жену. А всё проклятая Юлия. Эта свиноматка плодоносила от Агриппы чуть ли не каждый год, а последнего, Постума, она родила уже после его смерти. Тогда-то Август и придумал, отобрав Випсанию, передать вдовушку Тиберию. «Ничего, я все припомнил ей и ее отродью», — злорадствовал тот. Постума ему не было жаль. Ему никого не было жаль. Незаметно жестокость изменила черты его приятного когда-то лица. Рот сжался, выперли скулы, подслеповатые глаза недоверчиво сверлили любого, рискнувшего подойти близко. Никто не оплачет его кончину. Некому. Давно умерла Випсания, умер их сын Тиберий Друз, которого все звали Кастором, а еще раньше умер брат Друз. Запас любви, отведенный Тиберию богами, был исчерпан. Его уже не хватало на когда-то нежно любимую Ливию, возомнившую себя матерью отечества. Если Август и прислушивался к ее советам, то Тиберий в них не нуждался.

Кто-то, стараясь не шуметь, проскользнул в его покои. Старик замер, притворясь спящим. Шаги приблизились. Остановились совсем рядом. Запах знакомых благовоний подсказал имя крадущегося человека.

— Что тебе, Гай? Зачем ты здесь?

— Проведать тебя, император.

— Мне ничего не нужно. Ступай.

Шаги удалились.

«Вот они, Друзовы выродки», — Тиберий приподнял непослушное тело, наполненное странной, никогда не испытанной ранее болью, но, лишившись сил, упал на подушки. А как хотелось ему выбраться из сумрачных покоев виллы на свет и ветер, на скалистый край мыса, откуда виден любимый остров, где он прожил последние годы. Но море штормило, и туда было не добраться. «Позвать слуг?» — подумал он. Нет, ему не хотелось показать даже слугам, как он ослаб. Никто не должен знать, что он умирает. Неужели Трасилл ошибся? Улизнул негодник. Теперь его не наказать за враньё. «Интересно, сколько людей порадует моей смерти?» — Тиберий закрыл глаза, но сон, коснувшись его лба, принес не забытие, а видения прошлого.

Вот он впереди похоронного шествия. Гай Юлий Октавиан Август умер. Стояли жаркие летние дни. Боясь быстрого разложения, тело несли ночами, а в Риме поспешили с кремацией. Народ не должен был узреть тление божественного Цезаря. Лицемеры так стали звать его еще при жизни, хотя сенат признал богом только через месяц после смерти, а как было не признать, если какому-то почтенному человеку довелось увидеть вознесение образа сожженного императора на небеса. Верил ли Тиберий в божественность отчима? Ни одной минуты. Он знал о нем слишком много.

— Покойный Август любил тебя, — после смерти мужа Ливия следовала за сыном по пятам. — Он усыновил тебя, передал тебе свою власть. Вспомни, какие письма он писал тебе. Разве это не доказательство любви?

«Все так, — увещевал себя Тиберий. — Все так». Он помнил эти письма наизусть:

«Умоляю, береги себя, если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров? Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас...»

Письма и впрямь были полны заботливой нежности, но в том-то и дело, что Тиберий этим письмам не верил. Почему? Да потому, что он отвечал на эти письма такой же мнимой заботой. «Старый лис получал от меня то, что хотел. Он всегда и от всех получал желаемое. Это тоже надо уметь, а я вот не умею». Лицо Тиберия, когда он думал об отчине, искажалось от неприязни, которую он не в силах был скрыть. Эти перемены мгновенно замечала Ливия, прошедшая школу лицемерия еще в юности.

— Как ты угрюм! Впрочем, ты никогда не отличался веселым нравом. С таким лицом не видать тебе любви римлян. Посмотри на юного Германика! — она указывала на играющих неподалеку внуков, хохочущих над проделками сына Друза. — Вот кого все будут обожать!

И как в воду глядела. И все же Тиберий, а не кто-то другой, получил власть над Римом, кое-что перепало и Ливии, ставшей Августой согласно воле усопшего супруга.

«Наконец ты свободен», — говорил себе Тиберий. Но почему не исчезал страх? Он был храбр, даже отважен на всех своих войнах, не проиграв ни одной, но страх охватывал его каждый раз, когда он возвращался в Рим.

«Наверное, волки навели на меня порчу», — думал Тиберий. Много лет назад один из прорицателей сказал ему, что волк обладает магической силой, если успеет посмотреть на человека раньше, чем тот его увидит. Не случайно же в детстве ему казалось, что волчонок душит его, схватив за горло. Он рос, а с ним рос и волчонок. Вот опять эта проклятая волчица явилась ему здесь, в Мизене, где он свалился с непонятной лихорадкой по пути на Капрею.

— Пришла за мной? Пошла прочь!

На крик императора ворвалась стража, за их спинами маячило испуганное лицо Харикла.

— Подойди, — поманил его Тиберий. — Что это у тебя?

— Лечебный отвар, господин. Настой на травах.

Тиберий выжидающе оглядел небольшую толпу, скопившуюся у его ложа.

— Пусть сначала выпьет Гай.

Молодой человек с прилипшими к потному лбу кудряшками нерешительно выступил вперед.

— Пей, Калигула, — подслеповатые глаза буравили лицо юноши.

— С удовольствием, Цезарь! — Взяв чашу из рук лекаря, Гай выпил половину ее содержимого. Каждый глоток отзывался ударом его сердца. Казалось, оно вырвется из грудной клетки наружу, но он смог растянуть губы в улыбке. — Живи вечно, император! — и вернул чашу Хариклу.

— Ну, как тебе отвар?

— Немного горчит...

— Должен я это допить после тебя?

Тут Харикл понял, что ему надо немедленно вмешаться в разговор, иначе Тиберий заподозрит его в приготовлении яда.

— Травы помогут тебе справиться с недугом. Завтра ты будешь здоров, император.

Тиберий допил горьковатую жидкость и велел всем удалиться.

Отвар подействовал, старик погрузился в глубокий сон. Он увидел темные воды северной реки, за которой поднимался зловещий лес из могучих деревьев, дальше тянулась степь, покрытая снегом. Тревога охватила спящего Тиберия: он услышал гул приближающейся армии, обрывки чужеродной речи. Варвары! Как их много! До горизонта! Ужас охватил Тиберия, он закричал во сне. И вдруг все стихло. Из нависшей темноты выступили знакомые очертания римского воина. «Друз! Ты пришел! Богами клянусь, я не причастен к смерти твоего сына! Ты веришь мне?» Друз молчал, но темнота рассеялась, и смолк шум. Старик спал.

Для римлян Германик воплощал бога, сошедшего с небес, а все потому, что сын Друза обладал редким даром нравиться людям. Как и предсказывала Ливия, его любили все. Конечно, он был красив, и к этой мужественной красоте добавлялись все другие качества, которыми был обделен Тиберий. Одно время Август подумывал о передаче власти Германику, но Ливия уговорила его, — а она рано или поздно всегда добивалась того, чего хотела, — назначить наследником Тиберия. Август поддался ее уговорам, но только при условии, если Тиберий усыновит Германика, что тот и сделал. Так Германик стал сыном двух братьев, правда, один был мертв, зато другой внимательно следил за взлетом всеобщего любимца.

Завидовал ли Тиберий своему племяннику? Чему может завидовать человек, во власти которого весь мир?

Уж никак не военным походам Германика, они не впечатляли особыми победами по сравнению с победами Тиберия. Нет, другая негасимая зависть опаляла нутро дядюшки. Имя у этой зависти было «Агриппина». «Невзрачная» — так называла ее Ливия, — была верной женой Германика, любовью его короткой жизни. Может, семейное счастье приемного сына и не причиняло бы столько боли Тиберию, если бы Агриппина не была дочерью Юлии, той самой шлюхи, которую он извел в ссылке голодом и одиночеством. «И как эта замухрышка, — наливался злобой Тиберий, — позволила себе просить разрешения навестить свою мать? Эту дрянь, исковеркавшую мне жизнь?». Агриппина получила отказ и с тех пор при появлении тестя замолкала, опустив глаза, словно боялась его ненавидящего взгляда.

На семейных трапезах, затаясь, Тиберий ловил улыбки и тайные прикосновения супругов, вздрагивая каждый раз от неприязни к Агриппине, пытаясь найти в ней развратные черты Юлии и... не находил, забыв, что она была еще и дочерью благородного Агриппы, а ведь когда-то Тиберий любил свою добродетельную Випсанию, отцом которой был все тот же Агриппа, правда, от другой жены.

«Как все переплелось в императорском доме, — раздумывал Тиберий, просиживая часами в одиночестве. — Почему ни одна римская матрона не смотрит на меня так, как эта «Невзрачная» смотрит на своего тонкого Германика? Помнится, Випсания говорила, что я красив». Он часто просил богов вернуть ему гладкую кожу, но боги не внемлили его мольбам, а все потому, что прав был мудрый Афинагор¹ в своем наставлении молить

¹ Древнегреческий философ.

богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышание. Признаться на людях в своем уродстве Тиберий не мог. Тонсору¹ приходилось замазывать фурункулы на его лице, которые не переводились, расцветая повсюду кровавым цветом, а чтобы никто не мог разглядеть эти язвы, Тиберий запретил приветственные поцелуи.

Но не только фурункулы беспокоили владыку мира, были у него и другие заботы. Не случайно говорят, если бояться чего-либо, это обязательно произойдет: гонцы со всех окраин империи доносили о мятежах, вспыхивающих то тут, то там. Солнечные блики, игравшие по утрам на выгравированной из тонкого золота карте империи, казались Тиберию огнем пожарищ, пожирающих труды Августа, а значит, и его труды. На этой карте он мог с закрытыми глазами найти Пиренеи, Испанию, Сирию, Грецию, Альпы, Косматую Галлию, Эльбу и Рейн. За тридцать семь лет походов он прошел ее от края и до края. Сейчас он был немолод. Он устал.

«Боги, вы знаете, я не хотел этой власти, — начинал свои молитвы Тиберий, — но теперь я должен сделать все, чтобы ее удержать. Я должен удержать эту волчицу за уши». Но держать короткие уши волчицы — это не то, что держать короткий меч. Не то чтобы он не имел понятия о государственных делах, бывал и трибуном², и проконсулом, управлял провинцией, но тут была империя, завещанная ему Августом. Власть завещанная, значит, законная.

— Так прими, наконец, эту власть! — торопила его Ливия. — Что еще тебе надо? — Ее начинала раздражать нерешительность сына.

¹ Парикмахер.

² Высшая выборная должность.

Но Тиберий медлил, а все потому, что предсказания Трасилла были противоречивы. Расположение звезд на небе он считал неблагоприятным для судьбоносных решений, зато гадание на птицах сулило успех. «Тебе выбирать», — сказал хитроумный Трасилл, зная, как мучителен этот выбор для его господина.

«И в самом деле, почему я медлю? — думал Тиберий, глядя на лица сенаторов, столпившихся на римском форуме. — Они не любят меня. Я это вижу, но и я не люблю их, так что наша нелюбовь взаимна».

Тут Тиберий ошибался. Сенаторы не знали, что от него ожидать, и просто были в растерянности: им предстояло принять присягу на верность новому принцепсу, но что должны выражать их лица — скорбь по поводу ухода Августа или торжественную радость по поводу прихода Тиберия? А тот тянул и тянул, рассуждая о заслугах покойного Цезаря и ни слова не говоря о своих намерениях. «Чего же он хочет?» — долетел до него чей-то шепот.

Когда Ливии донесли ответ сына: «Я считаю себя непригодным для единодержавия, но не отказался бы от поручения вести часть государственных дел», — ее сердце чуть не разорвалось от гнева. Затратить столько лет и сил на то, чтобы Август передал ее сыну власть — и все для того, чтобы тот сложил ее в одночасье!

— Часть государственных дел... Это какую же? — Ливии удалось справиться с нахлынувшими чувствами, только голова ее слегка качнулась — и золотые подвески в ушах тихо звякнули. Самообладанию этой женщины мог позавидовать любой мужчина.

— Этот же вопрос ему задал сенатор Азиний Галл, — продолжал доносчик.

— И что?

— Осмелюсь сказать, сенатор Галл указал принцепсу на неделимость доставшейся ему власти. Он добавил, что это пойдет во вред всему государству, госпожа.

Низкий поклон доносчика скрыл от Ливии его ядовитую улыбку. Все в Риме знали, что Галл был мужем отнятой у Тиберия Випсании. «Лучше бы этому Галлу не высываться со своим красноречием», — подумала, но, конечно же, не сказала Ливия. Одни боги знали, что было в голове ее сына. Он ведь мог вспомнить судьбу Юлия Цезаря, а мог и просто расставить западню для сенаторов.

Гадать пришлось недолго. Тиберий согласился-таки принять власть, но обещал сложить ее, как только «придет время». Ему присягнули сенат, армия и народ. Оплавав Августа, Ливия и Рим отпраздновали приход нового императора, а нерешительность Тиберия как рукой сняло. Уже был умерщвлён последний внук Августа Постум, преторианские когорты во главе с префектом Сеяном получили новый пароль, который мог давать только император, а сенатор Галл плачевно закончит свои дни в тюрьме, где умрет от голода. Будет ли он, умирая, вспоминать Тиберия, которого наставлял в необходимости единовластия? Ну, а что же Ливия? Сохранит ли она самообладание, узнав, что сын отказал ей в звании «матери отечества»?

Угрюмость наложила отпечаток на черты Тиберия. Глубокие морщины залегли у его сжавшегося рта, который он все реже размыкал. Люди раздражали его, составившаяся мать вызывала отвращение, счастливые лица претили. Не любил он и своего сына Друза-младшего, воспитанного бабкой Ливией, пока сам он был на Родосе. Нелюбовь, а вернее, равнодушие не мешало Тиберию

приобщать сына к государственным делам. Тот был до-вольно смышлен и предан. Весельчак и выпивоха Кастор справлялся со всеми поручениями отца, будь то подавление мятежных легионов в Паннонии или управление римской провинцией, а все потому, что ладил со всеми, впрочем, нет, нашелся ненавистник и на него. Это был префект преторианской армии Сеян, который мрачной тенью неотступно следовал за ним.

Свободное время Тиберий проводил с Трасиллом, поселившимся на самом верху его еще недостроенного дворца. Оттуда они вместе наблюдали за звездами. Тиберий никогда не направлялся в сенат, не узнав предсказания мудрого Трасилла. Мудрого, потому что, неплохо зная императора, он часто угадывал то, что тот хотел от него услышать.

Когда, по расчетам Трасилла, Луна перешла в знак Водолея, а Марс приблизился к Деве, начались заговоры и мятежи. Сначала раб Постума собрал отряд вооруженных людей, готовых мстить за убитого господина, потом жрец-понтифик замыслил устранить нового правителя, ну а самым опасным стал мятеж легионеров. Легионеры! Солдаты, с которыми Тиберий провел большую часть своей жизни, единственный оплот его власти! Так, по крайней мере, он думал до получения этого ужасающего известия. Восстали те самые восемь легионов, стоявших на Рейне, с которыми Тиберий добыл свою главную славу в войнах с галлами и германцами.

Тревога переполняла его сердце, он чувствовал, что волчица вот-вот вывернется из его рук и вонзит клыки ему в горло. Ночами, проведенными в полусне-полуяви, Тиберий мысленно говорил с Друзом.

— Меня никто не любит, — жаловался он брату, — даже мои солдаты. Помнишь, как славно они били вонючих германцев, завернутых в козьи шкуры? Я до сих пор ненавижу этот запах.

— Но они же состарились, как и мы с тобой. Ты-то еще хоть куда, а многие из них превратились в развалины. Я всегда говорил, им нужно хорошо платить. Ты и платил. Но сейчас, когда варвары затихли, легионеры сидят без дела в лагерях, проедая свои запасы, а ты не вы платил им обещанные Августом деньги. Хочешь, чтобы они прокляли тебя?

— Слушай, они перебили своих центурионов, Германика выкрикнули императором, собираются пойти на Рим, и я должен им платить за измену?

— Германик никогда тебя не предаст, он не нарушит клятвы. Верь ему.

Воображаемый Друз оказался прав. Германик кинулся из Галлии, где собирал дань, на мятежный Рейн, как только до него дошли вести о восстании легионеров. Среди них было много ветеранов, они окружили Германика с жалобами и угрозами. «Ты похож на отца! Он был справедлив! Ты наш император! Веди нас в Рим!»

Когда гонец принес Тиберию известие об отказе Германика от императорского титула и обещании покончить с собой, если легионеры не подчинятся его приказам, у того слезы потекли по изъеденным язвами щекам. «К старости я стал сентиментальным, уже не могу скрывать своих чувств», — он повернулся спиной к говорящему. Но и спина бывает выразительной. Эта — была сгорбившейся и понурой. Не поворачиваясь, Тиберий дал знак рукой продолжать рассказ о верности Германика. Только один раз он прервал гонца, спросив: «Так Германик заплатил мятежникам из своих денег?».

— Да, император. Он подделал твое письмо с приказом уволить всех, кто прослужил двадцать лет, и заплатить обещанные деньги.

— Вот как? Боюсь, это плохо кончилось... они все перепились и разгромили свой же лагерь... — Тиберий, наконец, повернулся к говорящему и уставился на него подслеповатыми глазами.

Тот замялся:

— Очень верно сказано. Так и произошло.

— Но это все же лучше, чем гражданская война, к которой мы были близки, не так ли?

— На волосок, мой император.

Гонец ждал расспросов о семействе Германика, но Тиберий молчал.

А рассказать было о чем, потому что это Агриппина, всегда следовавшая за мужем, утихомирила солдат, выйдя к ним с двухлетним сыном на руках. Такое бесстрашие их восхитило, а малыш вызвал умиление, но раз Тиберий молчал... Кто же осмелится нарушить молчание императора? Немногие. Вот и гонец не осмелился. Он ждал. Наконец Тиберий промолвил:

— Ступай.

Нет, Тиберия не восхитило мужество Агриппины. «Хорошая жена досталась нашему Германику. Помнится, ее мать-шлюха Юлия однажды тоже отправилась со мной на войну, но только для того, чтобы переспать со всеми офицерами легиона, впрочем, она не гнушалась и центурионами», — раздумывал он, прогуливаясь по атрию своего дворца. Верхние этажи еще не достроили, но Тиберий уже переехал туда из дворца Августа, лишь бы не жить с Ливией.

Шум римских улиц проникал сквозь стены, но не мешал Тиберию обдумывать слова гонца. Он представил, как «Неказистая» расхаживает среди мужичья, гордо выставив живот. «Она что? Рожала в палатке?» — кажется, он сказал

это вслух. Хорошо, что вокруг никого, впрочем, у стен бывают длинные уши, особенно у недостроенных. Укорив себя за невоздержанность, он снова углубился в тревожные мысли. Нет, не нравилось ему все это. Внучка Августа, дочка прославленного Агриппы, жена всеми любимого полководца. Не много ли ей? Уж не задумала ли она что-то против него, Тиберия Клавдия Нерона, третьего Августа, императора Рима? Подозрения заняли все мысли Тиберия.

Развеять их мог только сам Германик, но его возвращения пришлось ждать три года, а всё потому, что волнения в лагерях не утихали. Застоявшихся легионеров нужно было чем-то занять. Вот он и надумал новую войну, напав на варваров, переправившись через Рейн. Дело как-то не заладилось с самого начала. Особых успехов не было, если вообще можно считать успехом возвращение на место бывшей несколько лет назад расправы над римскими легионами. Всё, что мог Германик, это захоронить останки воинов, брошенных там под открытым небом. Война шла без особых побед, сокрушительного возмездия добиться не удавалось, увязать в зарейнских болотах и терять армию не имело смысла. Тиберий настойчиво звал приемного сына в Рим, обещая ему триумф.

В конце концов Германик вернулся. Римляне рукоплескали своему любимцу, бросая цветы под ноги его колесницы, за которой тянулись ряды пленных и повозки с трофеями. Рядом с триумфатором стояли три его сына и две дочери. Начищенные шлемы и панцири легионеров блестели на ярком солнце, бронзовые орлы возвышались над восторженной толпой, тысячи ног, обутой в армейские калиги¹, втапывали в весеннюю грязь живые цветы. Никто не хотел знать о сомнительности одержанных побед, похоже, что и сам Германик поверил в свой гранди-

¹ Армейская обувь.

озный успех. День возвращения стал счастливейшим днем его жизни. Обласканный императором, он ожидал нового назначения. И оно последовало.

Должность верховного правителя всех восточных провинций была новой. После долгой и занудной речи Тиберия никто из сенаторов толком не понял, зачем ее создавать, когда каждая провинция и так управлялась наместником, но все решили, что так тому и быть, если принцепс хочет отблагодарить триумфатора, отправив его в Сирию. Для Германика это звучало так: «Тому, кто отличился на благо Рима на Западе, настало время отличиться и на Востоке».

Назначение считалось почетным, Германик собирался покинуть Рим, не подозревая о том, что у него уже есть враги.

На следующий день после речи Тиберия в сенате Ливия решила осмотреть его новый дворец. Визит ее был неожиданным, в дверях она столкнулась с Луцием Сеяном. Лицо префекта было непроницаемо, как всегда, но что-то подсказало Ливии о значительности этой случайной встречи. Тиберий, нервно расхаживающий по саду, явно обрадовался ее появлению. Это было непривычно, он давно не проявлял особой радости при встрече с ней. Не торопясь, Ливия осмотрела дворец, похвалила фрески, дорогое убранство и мозаику в покоях Тиберия, давая сыну время успокоиться прежде, чем перейти к расспросам. Постепенно ей стала ясна причина его крайней взволнованности: Германик! Сомнения одолевали Тиберия. Что, если его верность показная и он готовит тайный заговор?

— Да с чего ты взял? Кто это тебя надоумил? Уж не Сеян ли? — расположившись на ложе, Ливия все так же неторопливо выбрала персик из подставленного ей серебряного блюда.

Тиберий вытянул свое длинное тело напротив Ливии, уставившись на нее в упор.

— Если Германик подделал мое письмо один раз, что помешает ему сделать это еще раз? А если он станет отдавать приказы от моего имени, если армия поддержит его? Ты знаешь, как его любят легионеры.

Ливия протянула пустую чашу Тиберию, тот наполнил ее вином.

— Хорошее вино. Это с Родоса? — и, помедлив, продолжила: — Помнишь Планцину, мою добрую приятельницу? Мы иногда с ней болтаем о том о сем. Она не такая уж поклонница Агриппины. Считает ее чересчур гордой и надменной. Так вот, — Ливия отпила из чаши, — ее муж Гней Пизон, ну, ты же знаешь этого скандального старикашку, он достаточно всем надоел в Риме, был бы не прочь получить место где-нибудь в провинции. Август, кстати, его ценил.

Ничего более к сказанному она не сочла нужным добавить. Тиберий слегка кивнул матери в знак понимания и согласия. Но оставалось что-то еще... Впрочем, Ливия знала об этом «что-то», столкнувшись с Сеяном. В Риме все знали о его вражде с Друзом. Поэтому она лишь спросила:

— Опять?

— Сыновья хотят моей смерти, — вдруг захныкал Тиберий, уронив голову в подушки, чтобы скрыть слезы. Это было неожиданно, правда, до Ливии дошли слухи, что он чрезмерно поклоняется Бахусу, сидя в одиночестве в своем дворце. Уж не пьян ли он сейчас?

Что-то похожее на сострадание промелькнуло на ее состарившемся лице.

— Молодым людям вреден здешний воздух, вспомни, ты сам почти не бывал в Риме, Август посылал тебя во все концы империи, и ты всегда возвращался с победой. Посмотрим, как пойдут дела у Германика на этот раз. Вели ему отправляться со всем семейством. Его мальчишка Гай со смешным прозвищем Калигула рассердил меня.

Они навещали меня на днях. Пока взрослые разговаривали и дети бегали в саду, этот самый Калигула успел укусить свою сестру до крови, а когда я велела рабу выпороть его, оскалился на меня как волчонок.

Тиберий поднял голову с подушек.

— Волчонок? Они все так и норовят перегрызть мне горло!

— Ну-ну... — Ливия снова глотнула вина из чаши. — Каспару тоже пора отправиться во славу Рима в одну из провинций, пока он тут не проломил голову твоему Сеяну. Говорят, у них в палестре¹ дело дошло до драки. Кстати, тебе не кажется, что Сеян как-то уж слишком озабочен делами нашей семьи?

— Думаешь, я не должен ему доверять? Кому же тогда доверять, как не командиру своей охраны? На кого положиться, как не на него?

Ливия пожала плечами и перевела разговор на темы, отдаленные от столицы мира, поинтересовавшись строительством на острове Капрея, где бывала во времена своей бурной молодости. Тиберий с такой не присущей ему радостью принялся рассказывать о новой вилле на том острове, что не заметил, как она сначала задремала, а потом, вдруг проснувшись, велела слугам подать паланкин и поспешно удалилась, поцеловав его на прощание. Это было настолько необычно, что заставило Тиберия задуматься о визите матери. Должно быть, и правда, не всё в императорской семье казалось ей благополучным. Зато он понял, что ему делать. В сенат тотчас было отправлено письмо с назначением Гнея Пизона на должность наместника Сирии с командованием над восточными легионами. Чтобы этот вздорный старик подчинился Германику? Да никогда!

¹ Спортивный зал в термах. Термы — общественные бани.

«Какой удачный ход! Пусть они там разбираются между собой, — тревога впервые за долгое время ослабила свою хватку на горле Тиберия, — главное, в подчинении Германика не будет армии». Оставалось только дожидаться писем с их жалобами друг на друга и доносов на враждующих матрон. И они последовали. Тиберий терпеливо разбирал накопившиеся упреки двух соперников, как вдруг разразился гром среди ясного неба: пришло известие о страшной болезни Германика.

Рим горевал. Люди плакали на улицах.

— Это ведьма Планцина навела на него порчу! — кричали одни.

— Нет, это мстительный Пизон отравил нашего Германика, нашего любимца, нашего героя и защитника! — вторили другие.

Над городом повис смрад от жертвенных костров, двери храмов не закрывались, принимая новые и новые жертвоприношения богам с молитвами об исцелении народного любимца.

Как загнанный зверь метался Тиберий по дворцу. Нет, он не хотел, не хотел, не хотел смерти Германика, своего приемного сына, сына любимого брата! Ему доносили о слухах, шепотках и криках, ходивших по Риму, о найденных табличках с заговорами в доме Германика. Слухи разрастались подробностями о гноящихся мертвецах и полубогоревшем трупе с признаками колдовства. Верить этому он не мог, ибо знал, как тихо действует тот, кто хочет отравить врага. Пизон. Кто же еще? Неужели этот старик посмел посягнуть на жизнь будущего правителя Рима? Неужели ненависть его была так велика? Неужели так могла ошибиться Ливия? Как он мог послушать совета матери? Никогда-никогда-никогда больше! Лишь бы выжил Германик! Но Германик умер.

(окончание в сл. номере)

Мирон КАРЫБАЕВ

(Алматы)

В СТЕПИ ПУСТО¹

роман

V Аркат

В те ночи мне снился сон, всегда разный, но всегда один и тот же, перемешанный так, что не привыкнуть. Я видел огни деревни, черное с красным, ядерные грибы на горизонте; дым и пепел столбами поднимаются в небо, бегают в дыму искаженные, чудовищные фигуры. Широкий зал, длинные ряды колонн, блестящих, освещенных голубым неестественным светом. В глубине зала темный, покрытый непонятными символами саркофаг. Крышка его медленно, медленно распахивается...

Истошные крики, чей-то безумный хохот. Горит деревня. Ядерный огонь пожирает мир.

Распахивается, распахивается шире, и внутри темно, но медленно, постепенно угловатый, самым своим видом абсолютно *чужой* этому миру силуэт появляется в голубом неестественном свете...

Падают, объятые пламенем, камни пирамиды, долго, медленно, все никак не касаясь земли. Падают из пепельных облаков гиганские здания, на лету рассыпаясь в прах, в ничто; искаженные агонией лица.

¹ Продолжение. Начало в 6 номере.

Распахивается, распахивается, но никак не распахнется, никак не обнажит нутро свое взгляду. Все покрыто линиями, линии пересекаются друг с другом; сплетаются в паутину, во фрактал, в мандалу.

Бушующий океан, гигантская зеленая волна текущим вверх водопадом вскидывается к небу; потерянное в ней беспомощное крохотное судно медленно наклоняется вбок; в тысячах сверкающих окон стоят недвижно, смиренно толпы людей; медленно, медленно глотает их волна, тень ее заслоняет мир. Вдруг: ослепительная вспышка — и падают серые, жирные хлопья пепла на сухую, длинными трещинами разорванную землю.

Распахивается, распахивается, чертит во мраке одинокий луч, ползет и ползет к темному, чудовищному, на железное насекомое похожему силуэту.

Распахивается полог палатки. Острый лунный свет чертит резкие, угловатые тени. В проеме стоит старик, опираясь на палку; глаза его холодны.

Головная боль перекрывает даже боль телесную; в лицо мне упирается повязка-шал'лта. Перед сном я клал ее в мешок и закидывал в дальний угол палатки.

Огни деревни еще стоят перед глазами; я сжимаю зубы, рывком встаю и выхожу в новый бесконечный день.

* * *

— Наггрсиат'у приходят странные сны.

Небо полно вечерним заревом, пусто облаками. Косяки птиц, крича, как прощаясь, летят в громадное красное солнце. Шаман курит трубку и задумчиво смотрит в горизонт, глаза его выпуклы и стеклянисты.

Где-то там, в лесу, отряд воинов-инат'та пробирается сквозь джунгли. В руках у них копья и луки. Взгляды их угрюмы. Немногие вернутся обратно.

— Наггрсиа́т видит сны, посланные Храмом Предков, — он выдыхает кольцо едкого, зеленоватого дыма; кашляет. — Видения должны показать Наггрсиа́ту Путь...

Я стою вверх ногами на одной руке, пот падает на скользкий холодный камень.

— Где Наггрсиа́т может найти Храм Предков?

Шаман стучает по земле палкой; я меняю руку.

— Из живых никто не знает, — он долго, основательно вытряхивает одной рукой трубку. — Предки ина́т та ходили в Храм Предков поклоняться богам; но ленились делать это. Великий Дух разгневался на них. В один день он потряс землю так, что все горы перемешались и поменялись местами. В тот день Храм Предков исчез...

Длинные ряды чернокожих воинов проходят сквозь горящее солнце. Кашляют они, руками зажимают распоротые животы, из которых волочатся за ними длинные лоскуты внутренностей; зажимают оторванные ядрами культы, разорванные свои тела, ранения неведомым им оружием.

— Храм Предков был разрушен?

Они думают, что сам ад противостоит им, пылающие легионы сражают их нечистой магией, выжигают их землю огнем. Они теряют десять ина́т та на одного белого человека. Они не знают, что им противостоит. Не знают ничего о своих врагах.

— Храм Предков не может быть разрушен, — Инта́г качает головой и снова стучит палкой. Меняю руку. — В день, когда разрушится Храм, Мир сгорит в огне и родится вновь, — кричат черные, острокрылые птицы, крик их похож на стоны убитых в бою. — Нет... Он только сокрыт. Но раз Наггрсиа́т здесь, значит, возможно, он явит Храм ина́т та, явит Храм Инта́гу...

В глазах его мерцает надежда. В груди у него растет, пульсирует черная тугая опухоль.

Догорает закат. Ветер пахнет кровью.

На площади стояли на коленях, руки туго скручены за спиной, одежды изорваны, пленные вражеские солдаты; головы их были опущены вниз. Я шел от одного к другому, поднимал за волосы, заглядывал в глаза.

Все они были в стандартной форме лшак'ти, когда-то серо-желтой, цвета полуденной пустыни. И только один из них, последний — в черном, длинном одеянии, с длинными рыжими волосами, забранными цветным шнуром, со странным медальоном на шее: несколько тонких колец вложены одно в другое, непрерывно вращающиеся одно в другом, а в середине пустота. Я посмотрел на медальон, заглянул в лицо ему. В темно-зеленых с крапинкой глазах этих — ни страха, ни ненависти, только смирение. Не кротость, не покорность, дерзкое какое-то смирение. Смирение перед кем-то, кто не здесь, но ни перед кем другим.

Я указал на него рукой:

— Наггенсиат' желает, чтобы этот лшак'ти был отделен от других, — шаман вскинул брови, воины-инаг'та переглянулись между собой, но сделали, что я сказал. Быть Избранным удобно.

Другой лшак'ти увидел и заорал что-то на своем языке, попытался вырваться, но его повалили на землю и долго избивали древками копий. Так и он и остался лежать, окровавленный, недвижимый.

Человека в черном отвязали; он смиренно, с благородством поднялся; рост его был огромным даже по меркам белых людей. Четыре человека вели его, держа наготове копыя — но он не сопротивлялся.

— Наггенсиат' желает, чтобы этого лшак'ти привязали к овцевязи за деревней.

Овцевязь в это время года стояла пустая; здесь редко кто-то ходил.

— Наггенсиат' желает, чтобы все ушли.

Нас оставили наедине. Я сел, подвернув под себя ноги. Указал рукой на себя.

— Наггнсиат’.

Он безразлично смотрел мне в лицо. Губы его непрестанно шевелились.

Я повторил:

— Наггнсиат’!

Он будто не слышал.

Я хлестнул его по щеке; он удивленно уставился на меня распахнутыми зелеными глазами — густая щетина покрывала ему лицо, но глаза эти блестели, как у мальчишки.

— Наггнсиат’.

— Нагх-шят, — он наконец понял, что от него хотят.

— Наг-гр-си-ат’, — повторил я по слогам.

— Нагх-шият, — медленно, со старанием попытался выговорить он.

Я ударил снова.

— Наг-гр-си-ат’.

Он старался сильнее прежнего.

— Нагхр... сси-ат.

Я покрутил ладонями: «продолжай, продолжай».

— Наггнсиат’.

— Нагхрссиат.

Я покивал: «сойдет». Потом показал пальцем на него.

— Алешандер, — догадался он сразу.

— Ал’ле-сад’дер, — с трудом повторил я.

Он покачал головой, будто с усмешкой: «видишь? не так это просто».

— Але-шан-дер.

— Аллешанд’дер.

— Але-шан-дер.

— Аллешан’дер.

Он кивнул и — улыбнулся. Во взгляде его сверкнула искра. Но мне не понравилась эта улыбка; и я нахмурился в ответ.

Я подумал, с чего будет проще начать. Показал себе на руку.

— Тат'тха.

Он повторил, как сумел. Я показал на него: «теперь ты».

— Каньеш, — отозвался он. — Ка-ньеш.

— К'ханеш.

— Ка-ньеш.

— Ка-неш.

Так наступила ночь. Высыпали звезды на темное, будто черным бархатом обитое небо. В лунном свете на высоких шестах у палатки шамана сушился длинный ряд скальпов. Ветер нежно обдувал заляпанные кровью волосы.

* * *

Уголь мажет пальцы; я черчу на скале крестик, привязываю к ней веревку. Натягиваю на глаза повязку шалт'та; присасывается к лицу, как пиявка. Бросаются — не в глаза даже, а сразу в мозг: лес, скалы, толща горной породы под ногами; тысячи живых тварей копошатся в земле, рыскают в лесу, носятся в небе; мерцает на секунду неестественным светом залитый коридор, прямые линии, саркофаг со смертным ужасом внутри.

Шатаюсь; но встряхиваю головой, беру моток веревки и иду, отсчитывая шаги. Пульсирует во мне кровь, вздрагивают судорожно органы; жидкости переливаются из пузыря в пузырь. Пылает в небе солнце, источая волны огня. Пылает деревня. Пульсируют раздутые, как черви, вены в мозгу.

Крестик исчезает из виду; останавливаюсь. Вяжу на веревке узелок.

Сто шагов. Сто шагов подростка, почти ребенка — предел видимости повязки шал’лта. Сматываю веревку. Срываю повязку с лица, прислоняюсь к горячему камню; кислая желчь подходит к горлу.

Сто шагов. Не я первый пользуюсь шал’лта, но... почему Храм до сих пор не обнаружили? Ведь искали его и другие. Сто шагов. Если Храм под землей, то он должен быть глубже. Если Храм разрушен...

Я стою с закрытыми глазами, лучи последнего осеннего солнца лижут лицо. Мир вертится вокруг. Тихо шуршат на ветру листья.

Что делают здесь эти захватчики? Что делаю здесь я?

Я думал сначала, что защищу инат’та, — просто чтобы отдать долг, — а после... что после? Уплыву на корабле в страну белых людей, буду искать информацию там? Но эти сны, этот Храм... Кажется, здесь что-то большее. Что-то много более важное.

Что, если *они* обнаружат Храм первыми?

Впрочем, не слишком ли далеко я загадываю? Лшак’ти слишком сильны. Многие годы уйдут на борьбу с ними.

Мне нужно знание. Их тактика. Их оружие. Их цели.

Их язык.

Шуршит листва. Поет ветер. Шелестят чьи-то шаги по мягкой земле.

Раскрываю глаза и выхватываю из-за пояса кинжал; но плывет перед глазами, и слабеет отяжелевшее тело; черная, едва видимая тень бросается на меня.

Пантера валится вдруг на землю, шипит и корчится от боли; под лоснящейся шерстью выпирают узловатые мускулы, из толстой шеи торчит стрела. Подбегаю, вонзаю кинжал ей в сердце.

Оборачиваюсь. Из кустов выходит смуглый, крепкий мальчик моего возраста. В руках у него лук. На лице улыбка.

— Что делает Тук'ка так далеко от деревни? Отлынивает ли от работ?

Слабо улыбаюсь.

— Гарт'татха не делает ли то же самое?

Смеется.

— Гарт'татха охотится! Вот, гляди! — он указывает наконечником стрелы на убитую пантеру. Вдруг оборачивается и внимательно смотрит на меня, улыбка слетает с губ. — Тук'ка плохо? Тук'ка нужна помощь?

Качаю головой.

— Уже нет... Просто... Эти сны...

Он хмурится.

— Тук'ка совсем изменился после того, как Великий Дух вселился в него. Тук'ка уже не играет, как раньше, с Гарт'татхой.

Я вспоминаю — мальчик этот был мне братом. Не мне, одергиваю себя — тому, чье тело я забрал.

— Тук'ка не здесь больше. В теле Тук'ка Великий Дух.

— Ах, и верно! — смеется снова. — Ну, а Великий Дух сможет сбить больше птиц, чем простак Гарт'татха, до ухода солнца?

— Ну-ну! Гарт'татха великий охотник, но до Великого Духа ему далеко! — бью его кулаком в плечо, мне почему-то весело, я почему-то снова ребенок.

— Проверим, проверим! Только без шал'лта!

Повязка привязана у меня к запястью, прилипла сама, я даже и не заметил, когда именно.

— Гарт'татха уже ищет оправдания? Нет, Тук'ка не наденет повязки!

Я и не думал хитрить. Меня тошнило от одного ее вида, мне хотелось сорвать ее с руки и выбросить в самую глубокую расщелину; но я удержался.

Хлопаем ладонью в ладонь; разбегаемся в противоположные стороны. Солнце высоко. Осенний лес полон дичью, и стрелами полон колчан.

То наши земли. Земли наших предков. Мы никому их не отдадим.

* * *

Я подошел к Алешандеру, держа в руках миску с супом. Он все сидел, привязанный к этому столбу, заросший клочковатой щетиной, грязный, вонючий. Дело было уже к зиме; холодало.

Я сел, положил миску перед собой и стал неторопливо, степенно есть. Он оторвал от еды голодный взгляд, уставился мне в лицо. Я вытянул два пальца вниз и показал движение: будто кто-то идет.

— Хаат'а, — сказал я. — Ха-ат'а.

Взгляд его был уставшим, тусклым, под впалыми глазами нависли тяжелые синеватые мешки.

— Шантегь.

— Шшянтэк.

— Шан-тегь.

— Шшан-тэг.

Он кивнул. Я теперь изобразил прыжок.

— Наат'а.

— Кинегь.

Потом показал, как откусываю кусок мяса.

— Нгаад'а.

— Тарнагь.

Отпил бульон из миски.

— Нхак'ка.

— Шимнегь.

Я кивнул, улавливая закономерность. Потом решил показать более сложные понятия — и крепко задумался. Как показать «шел» — в прошедшем времени? Сначала нужно показать «прошлое». А перед тем показать «сейчас»...

Я долго разводил руками, пытаюсь показать «сейчас», и все твердил «тат'х», «тат'х», «сейчас», «сейчас», а он смотрел на меня пытливым, напряженным взглядом.

— Тат'х? — повторил он вдруг. — Гат'х? Карат'х?

Я не сразу обратил внимание и все размахивал руками, а потом резко обернулся к нему, уставился подозрительным взглядом. «Гат'х» означало «сегодня». «Карат'х» означало «этой ночью». Я никогда не учил его этим словам.

— С'сумын дут'та Ал'лешанд'дэр? [Откуда Алешандер знает?]

Темно-зеленые с крапинкой его глаза блестели, он с трудом, неразборчиво говорил:

— Лак'ка Алешандер [Алешандер слушает]. Грасатда инаат'та. [Люди говорят]. Таф'фпы нуллук [Время большое]. Лакка Алешандер [Алешандер слушает].

Я смотрел на него, долго, внимательно. Он смотрел в ответ, не отворачивая взгляд, с оскорбительным спокойствием, почти с вызовом. Я ударил его по щеке и встал.

Пока я учил по одному слову, он просто сидел здесь целыми днями и слушал. У меня был один источник языка; у него была целая деревня... Однако мне это играло на руку.

— Лаак'ка, — я снова сел и уставился на него.

— Лаакка, — он повторил.

Я ударил его снова. Ткнул пальцем в себя.

— Лаак'ка, — перевел палец на него.

— Дагънегъ, — догадавшись, хмуро произнес он и сплюнул кровь.

— Грасат'да.

— Харнегъ.

Я встал. Вытащил из миски кусок мяса и впихнул Алешандеру в рот. Он долго, терпеливо жевал, все не отрывая от меня взгляда. Я подозвал проходившего мимо пастуха:

— Наггрсиаат' желает, чтобы этого человека отвели на площадь и привязали там.

Глаза у того загорелись.

— Наггрсиат' желает, чтобы этому лшак'ти отрезали скальп?

— Нет! — рявкнул я. — Наггрсиат' желает, чтобы этого человека никто не касался без разрешения Наггрсиат'а. И Наггрсиат' желает, чтобы этому человеку дали теплую одежду.

Пастух вздохнул, но отложил в сторону овечьи шкуры, которые куда-то нес, и стал выполнять приказ. На смуглом загорелом лице его читались вопросы. Вопросы и явное недовольство.

Я чувствовал, как истекает ограниченное, тесное время. Нужно было торопиться. Нужно было успеть сделать очень многое...

* * *

Ночь темна.

Где-то ухают утробно ночные птицы. Рыщут в траве мыши. Роят мерзлую затвердевшую землю ленивые сонные ящерицы.

Луна закрыла лицо вуалью, и не видно звезд на плотно затянутом облаками небе. Темно. Только виднеется сквозь плотные заросли мерцающий вдалеке оранжевый отсвет факела. Вырывается изо рта пар.

— Что видно Великому Духу? — трогает за плечо Тень Кинжала. — Сколько белых дьяволов, чем они вооружены?

Натягиваю на глаза повязку-шал'лта. Темный мир обволакивается пеленой — и вдруг взрывается знанием.

Тихо и медленно умирает в темноте пантера; подергиваются нервно лапы, выпирает из-под туго натянутой кожи раздробленный хребет. Мяукают полуслепые котята; шуршит по свежему снегу тело огромного змея.

Хрустят, неуклюже проламываясь сквозь заросли, солдаты лшак'ти. Форма их изорвана и испачкана глиной, запавшие щеки в клочковатой щетине, под тусклыми зелеными глазами тяжелые синяки; сухие белые губы в трещинах и язвах.

На груди когда-то золотые нашивки. Линии, звезды, сабли.

Идут. Ругаются. Дрожат от холода. Машут затупленными мачете. По бедрам им стучат винтовки. Мерцает догорающий факел.

Нахожу командира.

— Девять и десять, — шепчу, снимая повязку. Вселенная с глухим чмоканьем всасывается обратно в темноту. — Уставшие. Длинные ножи и гром-палки; но сейчас от них не будет пользы.

— Легкая добыча, — бормочет Тень Кинжала.

— Нам нужны пленные, — напоминаю я. — Вожак — высокий, с белыми волосами.

Усмешка доносится с другой стороны.

— Это уже как получится. Но Тук'ка может не бояться; Гарт'татха будет рядом.

Молчу. Напряженно вглядываюсь в темноту. Дрожит под ногами ветка; раскачивает ее ветер, кружит в темноте мокрые хлопья снега.

Дрожащий свет факела прямо под нами. Натягиваю повязку.

Они выходят на поляну; озираются по сторонам. Смотрят наверх, прямо на нас; но не видят. Тень Кинжала расселся на ветке, как стервятник; бесшумно вынимает из-за пояса кинжалы. Вынимаю свои — тоже.

Ухает кто-то на другом краю поляны, совсем близко; чужаки оглядываются напряженно, но скоро успокаиваются. Тень Кинжала выпрямляется и ухает в ответ.

Сжимаем крепче кинжалы — и падаем в темноту.

Снегом покрыты горы. Снегом покрыты крыши домов, черные скелеты деревьев, снегом покрыта площадь. Мир черный и белый. Тусклое солнце лениво светило сквозь серое небо.

На снегу, едва прикрытые плащами, сидели пленные лшак'ти. Снегом покрыты их головы, снег налип на бороды, на одежду. Дрожали. Переглядывались с сомнением и страхом.

Посреди круга посажен Алешандер, руки его связаны за спиной, полы черного одеяния и длинные рыжие волосы трепались ветром. Глаза его были полужакрыты.

Он поднял лицо к серому, к неприкаянному небу и, не открывая глаз, произнес нараспев, как молитву:

*Хааар-на-ма заа джытчын
тее-о хатфии санна-дан*

Пленные слушали, кто-то опустив голову к земле, кто-то — задрав к небу, крупные хлопья снега кружились в остекленелых зеленых глазах. И только один сидел сгорбившись, уставившись с ухмылкой на Алешандера; чернели гнилые зубы.

*Нуус гильни фан зааны
чыт-и нузгаа саа-рит-ма*

Слушала собравшаяся на площади толпа. Шептались тут и там:

«Белые дьяволы молятся своим нечистым богам».

«Почему Нагрсиат' позволяет безбожникам творить их поганое колдовство?»

«Хнат'та должен молчать. Нагрсиат' повелевает, значит, Нагрсиат'а надо слушать».

«Хнат'та и говорит — не оворожил ли зеленоглазый колдун Нагрсиат'а?»

— Молчание! — рявкнул я. Бесшумно падал снег. Алешандер прервался на половине строчки и взглянул, приоткрыв один глаз, на меня. Я подал ему знак рукой.

Он кивнул и продолжил:

*Сут' харэ дъян шхат-таа
нумм ларемии нанфи-о*

Я внимательно слушал, наклонив голову, прикрыв глаза. Я пытался понять хоть что-то.

*Тааар-джы-мма кя-э зсурат ша-эн
тоо-ухимии хот-на-ё*

Пытался — но не мог понять ни слова. И напевы эти совершенно не походили ни на то, чему меня учил Алешандер, ни на то, что доводилось иногда услышать в мельком ухваченных переговорах лшак'ти. Какая-то другая форма языка, или вовсе другой язык...

Алешандер допел последнюю строчку и умолк. Медленно опустил голову, выдыхая белый пар.

Один из пленных вдруг упал лицом в холодный камень.

— *Шханникь* Алешандер! — закричал он, поднимая взгляд, рыжие волосы разметались по лицу. — Скажите, что эти *ниптараа* сделают с нами?

— *Ниптара* ничего вас не сделал, — громко сказал я. Все взгляды обратились ко мне: в черных глазах вперемишку ужас и почтение, в зеленых удивление и страх, в темно-зеленых с крапинкой глазах Алешандера — напряженное спокойствие и, отчего-то, — гордость. Я выждал немного и продолжил: — Вы будете жить здесь, и будете говорить, и ничего неразумного не будете делать. *Ниптара* будет давать вам воду, еду и жизнь. Это все.

Я сложил руки на груди и обернулся к застывшей, что-то бормочущей толпе:

— Наггрсиат' желает, чтобы этих людей посадили на площади и давали им еду и воду, как дают Ал'лесад'деру, — толпа взорвалась возмущенным ропотом, но я окрикнул: — Наггрсиат' также желает, чтобы этим людям не причиняли никакого вреда! Услышаны ли слова Наггрсиат'а?!

Толпа стихла. Я гневно переводил взгляд с одного лица на другое, когда вдруг послышался мерный стук посоха.

— Наггрсиат' должен остановиться и не гневать богов, — из толпы, опираясь единственной рукой на посох, вышел маленький тонкий старик, голос его был, как карканье воронов над полем битвы. — Наггрсиат' может быть Великим Духом, но Наггрсиат' еще молод.

Я уже был наголову выше него. Инт'тагу с каждым днем становилось хуже, он с трудом ходил и говорил, опухоль пожирала ему нутро.

— Великий Дух сказал Наггрсиат'у выучить язык белых людей. Великий Дух сказал Наггрсиат'у узнать о белых людях больше, только тогда сможет он воевать с ними и победить их. Наггрсиат'...

— Наггрсиат' уже имеет одного лшак'... — Инт'таг закашлялся, и кашлял долго, пронзительно; выхаркнул кровь на снег. — Наггрсиат'у достаточно. Инт'таг сказал так.

Толпа стихла. Я видел и чувствовал, что действительно зашел слишком далеко, и что авторитет Инт'тага держит племя в подчинении, не мой.

Оттого промолчал. Обернулся к Алешандеру и молча, угрюмо покачал головой. Шаман стоял, опираясь на посох, почти повиснув на посохе, сморщенное, черное его лицо показывало, что разговор закончен; он отдавал приказы, кашлял — и снова харкал кровью. Воины инат'та подходили к пленным и хватали их за локти.

— Куда... куда *ниптараа* нас ведут? *Шханникь*!

Алешандер смотрел в землю. Волосы закрывали ему лицо.

— Они ведут вас на смерть, друзья мои, — голос его был мрачным, страшно уставшим, но стойким. — Будьте сильны. Будьте *гарак*. Ибо небесные сады ждут вас.

Их уводили; и кто-то сопротивлялся, кто-то кричал, кого-то волокли, а кто-то просто смиренно, отрешенно шагал, уставившись в землю и механически переставляя ноги. Следы их чернели на снегу. Мир черный и белый. Красная только кровь.

И солнце на закате.

* * *

Кривая, узкая, бесконечно длинная тропинка тянулась меж голых скал. Снег все еще падал; все вокруг было в снегу. Горы были промозглым, жестоким ветром; он дул сквозь самое сердце.

Мы снова куда-то шли, снова захватчики отобрали у нас кусок нашей земли. Дорога тянулась вверх — в бесплодные, холодные горы; и суровая ждала нас зима.

Скрипели телеги; фырчали натужно тощие, усталые волы. На тонкой тропинке вдруг кто-то из них срывался в пропасть, унося за собой телегу; тонкий вопль резко обрывался и повторялся горами, все размываясь и размываясь, но долго не смолкая; мы смотрели вниз безучастными от усталости глазами и шли дальше.

Шла изможденная, в какое-то тряпье одетая женщина, на руках у нее кашлял младенец. Лицо его было в темных синих пятнах, в глазах замерзали слезы, был он бледен и кашлял не переставая.

Не переставал снег.

На привале Инт'таг готовил снадобья и разжигал костер; Инт'таг и сам заходилась кашлем, вонючий дым бил ему в лицо и вис в воздухе зеленоватым туманом; снег, падая сквозь него, чернел и таял на лету. Младенец кашлял и долго, трудно блевал.

— Сердце Инт'тага проколото жалостью, — говорил он, с трудом опираясь на посох, худые плечи его низко, низко поникли. — Боги решили забрать Нан'я, сына Шанк'хи. Боги решили наказать Шанк'хи и ее племя...

Женщина молчала, на щеках у нее замерзли слезы. Младенец кашлял не переставая. Не прекращался снег.

День был холоден и мрачен. Алешандер шел, подгоняемый копьями, высокая его фигура, даже сгорбленная годами плена, возвышалась над остальными.

В тот день они впервые услышали, как Алешандер говорит на инат'та.

— Катель'ха Алешандэр-к'кын [Алешандер желает сказать], — он поднял голову, длинные его волосы, неаккуратная борода слиплись воедино и висели звенящими комками; он смотрел на меня.

Падал снег. Кашлял младенец. Кто-то вскрикнул:

— Рыжий колдун знает нашу речь! Вот коварство его!

Я поднял руку; все умолкли. Кивнул Алешандеру.

Он перевел взгляд на женщину с младенцем.

— Алешандер-эй катель'ха наШанк'хи -гим [Пусть Шанк'хи покажет Алешандеру].

Шанк'хи стояла, окруженная взглядами, крутила головой, не зная, на кого смотреть, и только крепко сжимала ребенка в объятиях. Я кивнул: «делай, как он говорит».

— Нельзя! Колдун хочет украсть у ребенка душу! Его надо...

— НАГГРСИАТ' ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ГАРТ'ТАТХА МОЛЧАЛ! — рявкнул я.

Падал снег. Кашлял ребенок. Старик Инт'таг смотрел на меня, наморщив изрезанный морщинами лоб, но ничего не говорил.

Шанк'хи стояла недвижно, опутив взгляд. Потом все же аккуратно, с опаской подошла к Алешандеру, задрала голову, чтобы взглянуть в лицо ему, помедлила, протянула младенца.

Он уперся в него внимательным взглядом, вытянул руку, осторожно раздвинул пеленки — и вздохнул.

— *Знаш...* Шансы не есть большой.

Шанк'хи стояла недвижно. Падал снег. Мерзли на щеках слезы.

— Но шансы есть? — я заглянул ему пытливо в лицо.

Он кивнул, коротко, но уверенно.

— В сумки... солдат. Где?

— Гарт'татха сжег их.

— *Дьян самма...* — он уронил голову на грудь. — Пятна появятся на шее. Нужно найти, пока не утонет солнце. Шансы не есть большой.

Я подошел к ним.

— Что должно быть в сумках? Лекарства?

— Да. *Нуриндат*. Единственное, что мочь поможет.

— Наггрсиаг' хранит их у себя.

Он резко поднял голову. Уставился на меня. В малахитных глазах мелькнула надежда.

— Алешандер желает, чтобы Наггрсиаг' принес.

Я кивнул и сделал, как он хочет. Сумка с бутылками лежала на расчищенном от снега камне.

— Нужен *Феретникь*.

— Наггрсиаг' не знает буквы, — я раздраженно перебирал бутылки, испещренные непонятными символами, все одинаковые, все сливаются друг с другом. — Как выглядит Ферет'тникх?

— Пусть Наггрсиаг' покажет.

Я стал показывать ему этикетку за этикеткой, он близоруюко щурился; кашлял младенец; переступала с ноги на ногу безмолвная, взглядами полная толпа.

— Это, — резко кивнул он на очередном пузырьке.

Я достал кинжал и выковырял скользкую, глубоко и туго забитую пробку. Внутри были белые в крапинах таблетки. Алешандер еще раз взглянул на младенца, долго, оценивающе. Пожевал бороду.

— Нужно возьмет половина таблетка. Делает... — он морщил лоб, долго, мучительно вспоминая слово. — Песок.

Я кивнул.

— Даст ребенку. Много пьет. Горячее. Утром даст половина еще. Это единственный шанс.

Все молчали. Кашлял младенец. Падал снег. Кто-то сказал:

— Это обман. Рыжий колдун желает обмануть и забрать детскую душу.

— Рыжий колдун оворожил Наггрсиа́та. Рыжего колдуна нужно убить.

Инт'таг молчал. Пристальные его глаза смотрели на меня не моргая. Падал снег. Кашлял младенец.

Шанк'хи подняла голову. В глазах у нее падал снег.

— Шанк'хи желает сделать так, как говорит белый человек.

Падал снег. Не прекращая, падал и падал снег.

* * *

Мертвым голубым светом освещенный коридор, острые тени царапают друг друга, складываются в жуткие угловатые фигуры; горят в темноте зеленые, красные, голубые огни; горят, но не светят.

Распахивает крышка саркофага. Распахивается... загорается изнутри свет, и падают тени на неестественно ровные матовые стены.

Человеческие фигуры кричат от страха; обращаются пеплом. Страшная, злая сила отрывает от них тени, бросает ошметками на стены, на пол, на спекшийся стеклянный песок. Ходят средь пепла слепые, тонкие фигуры, тела их красны, кожа свисает с них клочьями.

Распахивается крышка саркофага; и чужими, нечеловеческими вибрациями пульсирующий голос что-то монотонно говорит; говорит что-то страшное, что-то невероятно важное, но я никак не могу разобрать.

Мир дрожит, земля раскалывается трещинами, что-то вырывается из нее, огромная, костистая лапа, похожая на члены насекомого; такая инородная, что кажется, будто нарисована красками поверх этого мира, чуждая ему, самим своим существованием уродующая этот мир.

Распахивается крышка; и все никак не распахнется. Блестит внутри чудовищный силуэт; он чуть подрагивает, он будто спит, ему будто снятся кошмары. Говорит чудовищный голос — вдруг начинаешь разбирать слова, и это страшные, чудовищные слова, они режут по рассудку, как скальпель по голому мозгу; и не хочешь слышать, и не хочешь больше понимать, но слышишь, но понимаешь; и пытаешься закричать, но не можешь, не можешь, не можешь...

* * *

Подхожу к Алешандеру. Вожу взглядом по иссохшему телу, по тонкой шее, скрытой отросшей рыжей бородой, по стянутым за спиной скрюченным рукам. Задумчиво играю кинжалом.

Он смотрит на меня неподвижным, внимательным взглядом. В темно-зеленых с крапинкой глазах плывут облака. Снег розов рассветом.

— Ант'тха на-к'хи? [Ребенок жив?] — спрашивает наконец.

— Банна шине-ля зим [Ребенок жив], — отвечаю по-его. Опускаюсь на корточки и разрезаю кинжалом путы. — Мара хугюль футень [Научи меня буквам].

Он растирает дрожащие, воспаленные суставы. Пальцы его дергаются, он будто наново учится ими двигать. Блестят глаза из-под опасливо приподнятых бровей.

— Нунна зурмюнь тарамън? [Ему лучше?]

— Мара хугюль футень [Научи меня буквам].

Он медленно, не отводя взгляда, кивает.

— Хюгуль фуматан [Я научу тебя буквам], — озирается по сторонам. — Но нужно... — пытается что-то показать руками.

Я наклоняюсь и разрезаю путы на ногах тоже.

Алешандер смотрит с опаской.

— Пойдем. В горах много снега.

Медленно, осторожно встает. Ноги его дрожат, держат громадное его тело с трудом, оскальзываются на льду.

— Не пробуй бежать.

Кивает. Привычное спокойствие будто возвращается... но плечи сутулы, и опаслив взгляд.

Идем по лагерю. Напряженные взгляды повсюду, как распахнутые пасти ружей. Но молчат. Не говорят ничего. Молчит лежащий на кровати старик. Смотрит, не моргая, сквозь окно. Смотрит и ничего не говорит.

Отходим за стоянку, далеко, за пределы взглядов. Я снимаю повязку; я жутко от нее устал.

Мир сужается и теряет четкость, теряет измерения; до чего приятно. Мир сужается до бескрайних отвесных скал; в глубоких ложбинах лежит пластами снег. Мы стоим на обрыве, внизу шумит бурная, неприрученная горная река, гремит водопад. Эхо доносит, как падает и разбивается о скалы вода; радуга висит в серебристой водяной дымке. Из голых камней кривые торчат малахитного цвета ели, гибкие ветки тяжело качаются под тяжелыми снежными шапками.

Я поднимаю с земли веточку и бросаю Алешандеру. Сам смотрю внимательно.

Он ловит неловко, наклоняется, чертит на снегу несколько линий. Руки все еще плохо его слушаются, но умение и воля видны за дрожанием пальцев.

— Тумнь, — показывает на символ. Выводит еще раз, медленнее.

Я наклоняюсь и черчу пальцем снег. Показываю ему.

Качает головой.

— Нет, нет. Вот так, — повторяет, медленно, черта за чертой.

Повторяю за ним.

— Почти. Но вот здесь...

Вся поляна испещрена знаками, нечего больше писать. Он разводит руками.

— Думаю, хватит на сегодня.

— Сколько букв всего?

Он сжимает губы, что-то пытаюсь вспомнить, потом показывает пальцами:

— Столько, — вытягивает все пальцы. — И еще столько раз, — показывает пять. — Плюс столько, — еще восемь.

Я подумал, что сперва надо было определиться с цифрами. Однако интересно было, какую часть букв я узнаю... Я вытащил из сумки бутылочки с лекарствами, всмотрелся в этикетки. Долго, долго всматривался.

— Нет, нет, это другие буквы, — спешно пояснил Алешандер.

Я молча уставился на него.

— Что?

— Я показывал обычное письмо, им пользуются для быта. Это официальное, для документов, оно другое. Есть еще жреческое, но оно секретное, его...

— Проклятие, я понял, понял! — махнул я рукой. — Ладно, разберемся. Я другое хотел спросить...

Вода разбивалась о скалы. Стая птиц вдруг взлетела из леса, истошно хлопоча, крыльями разрывая воздух; унеслась прочь.

— Говоря о жрецах. Ты и сам что-то вроде жреца, а?

Он медленно, с грустной и непонятной улыбкой кивнул.

— *Шханник*.

Я усмехнулся.

— Зачем ты здесь? Зачем вы все здесь? Благословлять на убийство нечистых язычников?

— Моя миссия — проводить богослужения для солдат, не благословлять на убийство. Я не одобряю их методы.

Я молчал, не отводя от него взгляда. Он молчал тоже и прямо смотрел мне в лицо. Усталые, в глубоких мешках сидели темно-зеленые, внимательные глаза.

— Ну разумеется, их методы ты не одобряешь. Но их цели?

— Цели этой войны загадка и для меня тоже, — покачал он головой.

Я медленно подошел к нему, наклонился вплотную и испытующе уставился в глаза. Он не отвернулся, не отвел взгляда; смотрел прямо и честно. Гремел водопад. Я отвернулся и стал ходить кругами.

— Значит, делаешь все, что тебе скажут, шканник, не задавая вопросов?

— Я делаю то, что угодно моему Богу.

Он стоял посреди голых скал, за спиною его водопад гнал в вечность бурные воды; расплескались по ветру одежды, спутанные грязные волосы, рыжая лохматая борода.

Я прыснул и покачал издевательски головой.

— Твоему Богу угодно, чтобы ты тащился дьявол знает куда, на чужую землю, чтобы... чтобы что?

Тогда только он опустил взгляд; лицо его вдруг потемнело, спина сгорбилась, он разом стал меньше, старее, и повисли бессильно длинные полы одежды.

— Это... мое искупление. Я преступник. Убийца.

Я ухмыльнулся. Я нашел слабое место.

— Верно, преступники и убийцы лучше всего годятся для таких дел; а ладно, хватит! — он резко дернулся, уставился снова на меня, устало, опасно сутулясь. — Отвечай четко: что тебе известно о лшак'ти, об их целях? Что им здесь нужно?

Он выдержал взгляд, потом вздохнул, резко выпрямился и стал ходить из стороны в сторону; как медведь в яме.

— Мы называем себя *Нимън*... Я скажу честно: нам говорили, что это цивилизаторская миссия. Что мы несем дикарям свет Просвещения, дары великой Империи, — он увидел мою ухмылку, кивнул и продолжил: — Я знаю, это чушь. Ваши земли — вот что им нужно. С вами или без вас.

— Что такого в наших землях? Ресурсы? — я смотрел внимательно, я все ждал, что он оговорится, что с языка его соскользнет...

Он пожал плечами, будто отвечал ребенку.

— Земли есть земли. Забери все, что плохо лежит, отбери то, что дурно охраняется — так создаются империи.

— И, однако? Тебя это не смущает?

— Я мог бы остаться дома. Но вас бы это не спасло.

Солнце стояло над нами, высокое, холодное.

— Отговорки. Все вы бы могли остаться дома, в этом вашем свете Просвещения, в тепле и уюте. Горячая вода, комфорт, блага цивилизации.

— Это не так... — он встал на месте. Уставился на меня с подозрением. — Ты много знаешь... Для человека, который вырос... в отдалении.

Я развел руками. Мне почему-то хотелось исповедоваться, но лень было рассказывать полную историю.

— Я тут что-то вроде особенный. Посланник богов, если хочешь.

— Но если...

— Хватит об этом... на сейчас, — я поднял руку. — Другой вопрос... — я стал ходить кругами по исчерченному знаками снегу. — Ты не только с богами знаком, но и с медициной, верно?

— *Ашык шыканнык ката нэ-да, жушуль на-йе шас-сын*, — прикрыв глаза, по памяти начитал Алешандер. — Священник врачует и душу, и тело.

— Что это вообще за язык?

— *Дъя-гонън*. Священная речь. Мы получили ее из Ковчега...

— Черт, хватит! Я говорю — шаман болен. У него опухоль в груди.

— Инт'таг? — он сжал губы. — *Куннаш*, судя по симптомам, и запущенный. Смерть скоро покажет ему свою милость.

— Мне плевать, как ты это называешь, но мне нужно, чтобы ты продлил его жизнь, насколько это возможно.

Мы ходили друг против друга кругами, будто дуэлянты; руки наши сложены были за спинами.

— Я сделаю, что смогу; но это немного. Это только продлит его страдания. Если ты жалеешь старика...

— Старик — единственное, на чем держится твоя жизнь. Его авторитет силен. Его слова много сильнее моих.

— А ты? Ты же что-то вроде посланник богов? — темно-зеленые с крапинкой глаза вдруг блеснули смехом, странным, неуместным будто.

— Я ребенок, — цыкнул я языком. — И к тому же вожусь с белыми дьяволами.

— Но твои цели... Не так просты, верно?

Я хмыкнул. Мы двигались по спирали навстречу друг другу, все ближе и ближе, ближе и ближе.

— Теперь ты меня допрашиваешь?

— Хочу знать, с кем имею дело.

Солнечный свет играл во взметаемых в небо брызгах, перевернутая радуга вдруг повисала в воздухе — и разбивалась о камни.

— Я вырежу каждого белоголицего в этих землях. Потом посажу тебя на лодку и отправлю домой — или к твоему Богу.

Он вздохнул и покачал головой.

— Безумие...

— Ох, мы теперь говорим о морали.

— Я не говорю... ты все-таки ничего не понимаешь, — он устало, безнадежно качал головой. — Ты не вырежешь всех нимнѣнтов, это невозможно. Вас в тысячи раз меньше, у вас нет оружия, нет стратегии, нет ничего. Ты только навлекаешь страдания на свой народ.

— Предлагаешь сложить оружие, пасть перед вами на колени?

— Иначе вам не выжить. Я понимаю, это ужасно...

— Нет, нет, нет... Я видел сны...

— Сны ничего не значат, Тукка.

— Эти — значат, — мы были на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии удара кинжалом. — Даже если все мы погибнем, мы не должны дать вам завладеть этими землями. Это будет конец, конец всего, — распахивается сокрытый в темноте саркофаг. Небеса рвутся огнем.

Я так хотел сказать ему все, сказать: «что-то страшное скрыто в этих землях, нельзя дать этому попасть в руки нимнѣнтов, в руки *этих* людей»; исповедаться. Но нельзя — вдруг от него-то они и узнают...

— Тогда они перебьют вас всех и заберут ваши земли потом. Истина ужасна, но пойми — это бессмысленное кровопролитие.

— Я должен это сделать. Я посланник богов.

— Мы убили десятки посланников сотен богов!

Сорванный крик его разлетается, подхваченный скалами, теряется в ущелье. Мы стоим молча, друг против друга. Ветер развеивает нам волосы.

— Мы?

— Я не только богословие учил, Наггрсиа, не только медицину. История. Мы стирали народы с лица земли, Наггрсиа. Это было сто лет назад, мы сейчас в десятки раз сильнее! Сдайтесь. Уйдите в далекие горы. Иначе вам не выжить.

Я молчал. Перед глазами стояли лижущие небо столпы огня, струи дыма и пепла. Саркофаг в темноте. Зловещее металлическое насекомое.

— Мы не можем сдаться. Я не могу сдаться. Это будет конец всего, шканник. Нас, вас, всех. Хочешь помочь — убеди ваших уйти по-хорошему.

— Если бы это было возможно...

Я выхватил кинжал и метнул его резким движением; свистнул рассекаемый воздух. Убитая белка свалилась к ногам шканника.

— Ты смердишь. Иди вымойся. Потом подойди ко мне и объясни, какие лекарства дать Инт'тагу.

Я подобрал белку, натянул повязку и зашагал в сторону деревни. Кровь капала на исчерченный символами, исслеженный ногами снег.

* * *

В первый день весны, когда свежий прохладный ветер подул с востока, когда зажурчали по камням бойкие, прозрачные ручейки, когда свежая зеленая трава пробилась из-под талого снега, когда весенние птицы свили гнездо под крышей темного, тесного, пропахшего лекарствами дома, где на широкой кровати лежал маленький, высокий старик; не по размеру широка была ему кровать, он лежал на ней, будто среди огромного поля, неотрывно глядя в окно на капающие с крыши сосульки, на веселую возню детей, на возвращающихся с охоты молодых загорелых парней, шутящих с краснощеками девчушками; в первый день весны старик вздохнул напоследок и закрыл глаза; и больше не открывал.

В тот же день мы стояли на возвышении у края площади, Алешандер осторожно озирался по сторонам, но держался спокойно; вид его был виноватый. Я стоял перед ним, повязка шал'лта показывала мне сгрудившуюся пе-

ред нами толпу, кинжалы, вынутые из ножен, натянутые луки, распахнутые в крике рты — и еще одна такая толпа стояла между нами; давили они друг на друга, как в смертной схватке сцепившиеся пантеры.

— Смерть иноземному колдуну!

— Хватит это терпеть!

— Он с Наггнсиат'ом заодно, они рисуют свои проклятые руны на нашей земле, проводят свои грязные ритуалы!

— Что предки скажут, глядя с небес, предки наши!

Но — с другой стороны, где всех впереди стояла смуглая, высокая женщина:

— Алес'сант'тэ спас сына Шанк'хи! Он только хочет помочь!

— Колдун втирается в доверие! Он отравил Инт'тага, чтобы стать у власти!

— Наггнсиат' хочет, чтобы он был здесь!

— Колдун оворожил Наггнсиат'та!

— И не Наггнсиат' это вовсе, а самозванец! Гарт'татха отрежет им скальпы!

— Гарт'татхе следует отрезать себе язык, чтобы боги не наказали его!

Как два кипящих, бурливых моря, сталкивались они могучими волнами, расходились в стороны — и сталкивались снова. Воздух пах скорой бойней.

Алешандер тронул меня за плечо.

— Тукка, скоро начнется резня.

— Знаю, черт возьми, знаю! — я отчаянно думал, пытаюсь понять, что нужно сделать. Ситуация ускользала у меня из рук, я чувствовал себя беспомощным, бесполезным.

— Отдай меня им, Тукка. Я готов умереть. Только пусть никто больше не пострададет.

— Закрой рот! Это безумие.

Рычали вынимаемые из ножен кинжалы. Визжали тетивы, стрелы скалились, желая крови. Я видел, как натягиваются жилы в их руках, видел, как раздуваются ноздри, как бьются ожесточенно сердца, как вены, едва не лопаюсь, наливаются кровью; но я не видел решения.

— Нет времени, Наггнсиат'! Нет другого выхода!

— Есть! Должен быть! Не может не быть!

Крики, стоны, плач детей подхватывались эхом, повторялись, сплетались друг в друга, в паутину, в мандалу; заполняли весь мир, весь мир был только этими звуками, не было больше ничего, и не могло быть больше ничего; вдруг вторгся в него оглушительный, чужеродный, но до жути знакомый звук: до утробы, до костного мозга пронизывающий разрыв.

Тишина повисла. Окровавленные, разорванные тела лежали на площади, и кто-то стонал, кто-то вопил, катаясь по снегу, обмотанный собственными кишками, кто-то стоял на коленях, бессмысленно глядя перед собой.

Тогда защелкали выстрелы.

Я оглянулся. Снова огни деревни. Снова столпы дыма упираются в небеса. Снова, все снова.

Как я мог не заметить?

— Белые демоны! — бешеные стояли крики. — Лшак'ти!

В ущелье входили несметные вражеские полки. Не смолкая грохотали пушки, не давали поднять нам головы. Но я видел своих воинов. Они снова были мои. Они готовы были сражаться. Они готовы были умирать — за меня. Нужно было только их повести.

Алешандер тронул меня за руку.

— Я не буду сражаться, Наггнсиат'. Ни на чьей стороне. Я шханник. Я не должен причинять вред.

Я обернулся.

— Беги. Спрячься в ущелье, пережди бой. Пробирайся к своим. Попытайся убедить их закончить войну. Это лучшее, что ты можешь сделать.

Он кивнул.

— Я сделаю все возможное, Тукка. Обещаю.

Он пополз по камням; и начался мой первый за долгое время, бой в бесконечной череде бесконечных сражений бесконечной войны, кровью слепленных в одно неделимое безумие, в одну непрерывную схватку.

Я командовал стрелять — стрелы летели в захватчиков, лшак'ти падали и катились по скалам, но оставшиеся укрывались за скалами, поднимали винтовки; инат'та падали один за другим. Я видел повязкой шал'лта, как где-то по камням, пригибаясь при каждом выстреле, пробирается Алешандер.

Я подготовил их к ближней схватке — мы таились в ущельях и ждали, пока противник подойдет ближе; пули хлестали по камням. Алешандер полз по узкой тропинке над пропастью, прижимаясь животом к скале, ветер трепал его одеяния, гремел внизу водопад.

Мы падали на вражеских солдат с дикими, звериными воплями. Многих застрелили еще в воздухе; но многие кинжалы нашли многие горла, напились допьяна кровью. Я колот и резал, резал и колот; мы оскальзывались на крови, мертвые тела хватали нас за лодыжки, пули и стрелы били своих и чужих без разбора, все смешалось, все стало схожим до неразличия.

Одинокая, будто заблудившаяся стрела описала широкую дугу, что-то ища, голодным волком рыская в воздухе; нашла наконец, натолкнулась на широкую спину в черном одеянии. Алешандер не кричал. Он выгнулся, будто не от боли, а от удивления, в темно-зеленых с крапинкой глазах отразилось небо; накренился назад, полетел в пропасть. Одеяние его развевалось, как крылья летучей мыши, как пламенем охваченная головешка; лицо его было

спокойным, рот чуть приоткрытым в удивлении, немигающий взгляд не отрывался от неба. Перед самым ударом он чуть улыбнулся, будто вдруг что-то понял, — и заиграла в брызгах радуга.

Я сжал зубы; я не мог даже попрощаться с ним, не мог даже ничего крикнуть. Я колол и резал, резал и колол. Кровавый закат бросал красные отблески на скалы.

Упали сумерки; лшак'ти отступали. Они укатывали свои орудия, свои телеги со снарядами, прикрывая отступление, без спешки, без паники, оставив зримо больше наших тел, чем своих; но они отступали.

Ни у кого не было сил кричать о победе.

Я бродил по полю битвы; стоял густой и душный мрак, но мне не нужен был свет. Я смотрел в лица. Черные и белые, все лежат в обнимку, будто помирившись после смерти, только стонут умирающие, но мертвые спокойны, умиротворены; они что-то поняли, они осознали, что ни к чему была им эта ярость, эта ненависть, эта жизнь. Брел, спотыкаясь о тела, оскальзываясь на лужах крови. Тишина стояла. Воздух был полон тяжелым кровавым смрадом.

Прислонившись к стене, полусидел молодой воин. Живот его был разворочен пулей, кудрявые волосы растрепаны по лицу. Увидел меня. Улыбнулся.

— Гарт'татха убил белого колдуна, Тук'ка. Пустил стрелу в его черное сердце.

— Тук'ка знает, — я тяжело опустился на негнущиеся колени. — Тук'ка видел.

Он закашлялся. Из раны тугими толчками плескала густая кровь.

— Гарт'татха теперь верит. Гарт'татха видел, что Тук'ка... не обманщик. Тук'ка действительно... посланник богов... Наггрсиаг'!.. Тук'ка действительно... выгонит белых людей... спустит Эпоху Цветов... — голос его слабел.

Я спокойно кивнул. Убрал ему волосы с лица.

— Гарт'татха сражался смело. Гарт'татха может идти с миром. Предки примут Гарт'татху с почестями, и Гарт'татха воссядет с ними за одним кострищем, как равный, — я положил ладонь ему на плечо и плавным движением втолкнул кинжал в сердце.

Гарт'татха вытянулся, сжал губы, уставился в черное беззвездное небо — и обмяк, как ватная кукла. Голова упала на грудь, тело сползло набок.

Я поднялся. Снял с головы повязку, брел, шатаюсь, как слепой. Мир был темен и поразительно пуст.

VI Жолдас

Весна наступила резко; снег обильно таял и обнажал желтую прошлогоднюю траву. Бескрайние холмы утопали в тумане, голыми скелетами стояли в тумане редкие деревья. Нарождались на ветках темно-зеленые почки.

Жолдас с Аркатом стояли на берегу, глядя на разлившуюся, набухшую талой водой реку. Она была мутно-коричневой, а течение было быстрее обычного, и временами проплывали по ней ветки, листья, клочки соломы...

Старый мост унесло.

Аркат попробовал носком ботинка землю и с размаху вонзил в нее колышек. Поднял лезвием вверх топор, стал примериваться.

— Ты хочешь навести мост здесь?

Он коротко стучал обухом по колышку, колышек глубже вгрызался в стылую землю.

— Почему спрашиваешь? Нам нужен мост, чтобы перейти на ту сторону.

— Я не спрашиваю «почему?». Я спрашиваю «как?».

Аркат размахнулся уже длиннее и крепко ударил по колышку; раздался чистый, глухой, хороший звук.

— Вот так. Руками. Вобьем этот колышек, потом еще такой же — на другой стороне. Натянем веревку. По веревке пройдем.

— Овцы не пройдут по веревке.

Аркад поднял взгляд на него, потом обернулся и глянул на мутное течение. Почесал обухом затылок.

— Притащим бревна. Перекинем через реку.

— Откуда?

— ...Да вон там лесок, — он указал топором куда-то. Действительно, где-то в той стороне на едва различимом глазу расстоянии чернела горстка каких-то деревьев.

Жолдас переводил взгляд с черных силуэтов на Арката и обратно.

— Это на том берегу. Лошадь не пройдет.

— Мы пройдем. Срубим руками, не впервой.

— А потом?

— Да что тебе все потом?! — Аркат раздраженно бросил топор о землю. — Всегда тебе все надо знать заранее! Живи, ничего не ожидая. Ты не представляешь, какой жизнь сразу становится интересной, — он расстегнул и бросил на землю куртку, кофту, матроску; оставшись по пояс гол, вернулся к работе, всем видом высказывая нежелание продолжать разговор.

Жолдас вздохнул, разделся тоже, отнес свою и Арката одежду в телегу. Аркат, вытерев с лица пот и попинав колышек, остался доволен.

— Принеси-ка веревку.

— Как ты собрался перейти... — Жолдас запнулся. Аркат разувался и расстегивал ремень, и снимал штаны, бросая все на землю. Догола раздевшись, крепко привязал один конец веревки к колышку, другой пропустил себе через подмышки.

Жолдас с сомнением посмотрел на мутный глинистый поток.

— Течение сильное...

— Значит, держи крепче. Если что, будешь меня вытаскивать.

Он подошел к реке, сел, опустил в поток одну ногу, потом вторую. Медленно встал, с трудом балансируя; оказался в воде по пояс. Сделал еще шаг — и вдруг ушел с головой.

— Аркат! — Жолдас схватился за ускользящую веревку; потянул на себя, но резало ему ладони.

Аркат вынырнул и непонятно махнул рукой; Жолдас стал тянуть сильнее, наклонившись всем телом назад; сапоги скользили по мокрой глине.

Аркат вынырнул снова.

— Отпусти, говорю!

Жолдас не сразу, с сомнением отпустил, но стоял настороженно, держа руки подле. Веревка уползала, из мутной воды периодически показывалась голова Арката, каждый раз дальше и дальше, ближе и ближе к другому берегу.

Наконец он выполз на той стороне, наклонился отдыхать. Он крупно дрожал от холода, листья и какой-то мусор налип на голое тело.

— Все нормально? — Жолдас приложил ладони рупором к лицу.

Аркат резкими, скованными движениями выпрямился. Что-то крикнул.

— ЧТО?! — перекрикивать поток было трудно.

— КИНЬ КО-ЛЫ-ШЕК!

Жолдас нашел подходящую дровину в телеге, подбежал к берегу и размахнулся.

— ЛО-ВИ!

— НЕВ МЕ-НЯ! — Аркат увернулся от прилетевшего колышка и показал Жолдасу средний палец. Тот ответил тем же, но топор бросил подальше, даже слишком дальше, Аркату пришлось искать его еще несколько минут; губы его ожесточенно шевелились, и нервно дергался кадык.

Аркат вбил второй колышек и натянул через реку две веревки. Показал жестаами Жолдасу переходить на ту сторону; и не забыть его одежду.

Жолдас подошел, вцепился одной рукой в верхнюю веревку, шаткую, расслабленную, и аккуратно ступил ногой на нижнюю. Подмышкой он держал одежду Арката.

Медленно, шаг за шагом, двигался по веревке. Аркат что-то орал с того берега, но Жолдас слышал только поток под ногами, видел только поток под ногами, взгляд его был привязан к мутной пенистой массе.

Вдруг веревка под ногами резко провалилась; он вцепился обеими руками в верхнюю и повис, шатаясь в воздухе; дыхание сперло, будто уже он был в ледяной воде; что-то из Аркатовской одежды выпало и моментально исчезло в потоке; он держался, все прыгало, веревка под ногами прыгала скакалкой, и ему представлялось, что это он сам падает и уносится потоком.

Аркат страшно ругался на том берегу. Жолдас глубоко вдохнул, выдохнул; пополз дальше.

Упал на мокрую, скользкую, такую надежную землю, все еще шатаясь, как забывший берег моряк. Аркат хлопнул его по плечу.

— Просрал мою майку, молодец. С тебя пузырь.

— Засунь ты свой пузырь...

Жолдас поднял глаза на Арката, нервно усмехнулся. Они вдруг оба рассмеялись, долго, истощно, не сдерживаясь. Жолдас вытер слезы с лица, взглянул на Арката и тут понял, что впервые видит, как тот смеется. Не хохочет деланно и издевательски, не кривит в усмешке губы, а честно и от души смеется.

Так это было непривычно.

— Аркат, — спросил он вдруг тихо, выпрямляясь. Аркат умолк, искринки играли в полуприщуренных глазах. — Какое твое настоящее имя?

Спросил — и тут же пожалел. Губы Арката вытянулись в извечную ухмылку, глаза сощурились, но лицо потемнело.

— Что ты имеешь в виду под «настоящим именем»? Чем тебе «Аркат» менее настоящее, чем любое другое?

У Жолдаса тоже пропал смех. Он покачал головой.

— Я имею в виду — оригинальное. Самое первое, — ему вдруг вспомнился Хамза с его «рабами слов». «Настоящее», «оригинальное», «самое первое». Как донести что-то до другого человека, когда каждое слово имеет для него другое значение? Да и бывает ли такое, чтобы для двух человек одно и то же слово означало ровно то же самое?

Аркат фыркнул.

— Я давно его позабыл. Да и, честно говоря, — он отвернулся и наклонился за топором, — почем мне знать, что именно оно было самым первым? Можем, были и другие, просто я не помню?

Жолдас запахнул куртку. Весенний ветер продувал мокрые тела до костей.

— Но ты же считаешь какое-то из них более своим, более ценным, чем другие.

Аркат щелкнул языком.

— У меня слишком много имен, чтобы выделять какое-то из них. Если у человека слишком много имен, у него все равно что нет имени. Как ни назови, это все я. Сейчас я Аркат. Так удобнее.

Он вскинул топор на плечо, повернулся к темнеющим вдали деревьям.

— Хватит уже болтать. У нас дела.

Сильный порыв пролетел сквозь них, развеял полы одежд; Жолдас поежился. Посмотрел, куда показывает Аркат, медленно покачал головой.

— Я тебя убью, Аркат, если это не сработает.

— Валяй, — бросил тот, небрежно размахивая на ходу топором. — Ты не представляешь, какую услугу мне окажешь.

Жолдас выпрямился, заправил волосы в шапку и последовал за ним.

* * *

Время проходило быстро, незаметно, но не так, как раньше, в монотонной рутине, а в постоянной упорной работе. Жолдас махал топором, волосы его сочились соленым жгучим потом, с разгоряченного тела поднимался пар; простой физический труд прогонял мысли, разгонял по телу кровь; и была в этом четкая, ощутимая цель, к которой приближал каждый удар топора, каждая щепка, каждая капля пота.

Натянув жилы, упирались босыми ступнями во влажную землю, упирались голыми спинами в бревно; мышцы их были напряжены до предела, телам их впервые за долгое время далось разойтись в полную силу, выложить всю заложенную мощь; и было в этом что-то упоительное. Бревно падало, и взрывалась вода брызгами, что-то могучее, что-то первозданное висело в воздухе; но не хватило длины, и только протяжно вопил Аркат, пока плод их трудов уносило потоком; Жолдас упал на землю и вытирал со лба пот.

— Говорил же, не хватит, черт его, — ругался Аркат.

— Не в этом дело, — качал головой Жолдас, не отрывая взгляда от потока. — Река разлилась.

Поток стал еще шире, еще стремительнее. В горделивом его рокоте слышалась ему насмешка, величавое ехидство. Он сжал кулаки и вскочил.

— Пошли, — Аркат обернулся к нему, на лице его отражалась та же гордыня, тот же молчаливый вызов силам природы, десятилетия человеческого дерзости. Они молча кивнули друг другу.

И снова предельное напряжение мышц, снова стонали кости, снова каждое сухожилие в теле твердело, как камень, натянутое до предела и за пределом, и бревно было больше и тяжелее. Упало и чуть подпрыгнуло, вибрируя в воздухе. Затихло, упокоившись в глине обоих берегов.

Радостные, били друг друга кулаком в кулак, не считая сил, до звона в костяшках. Падали на землю, смеялись, переводили дыхание, передавали друг другу почти пустую бутылку с водой.

Жолдас лежал на земле, выдыхая в темнеющий вечер пар. Перед ним стояло живое, материальное деяние его труда, свидетельство того, что был на земле такой человек. И долго оно будет еще здесь стоять памятником человеческой воле, и даже если никто его не увидит, даже так, важно просто само его существование.

На следующий день тела их болели при каждом движении; но поток непрестанно набухал, как кровью налившиеся их вены; они рубили второе бревно.

А природа стремительно просыпалась: уже свежие, удивительно зеленые ростки травы показались из-под прошлогодней сухой соломы; уже в траве копошились мыши, свежие почки проклевывались и распускались почти на глазах.

Третье бревно было самым тяжелым из всех, но и самым легким, последним. Стая птиц испуганно взлетела в небо, как рухнуло оно на свое место; и взлетели к высокому небу брызги.

Потом они рубили дрова поменьше, и сидели на бревнах, покачивая ногами и касаясь босыми ступнями прохладной воды. Зубами они зажимали длинные гвозди-двухсотки, тяжелыми, чугуном налитыми руками забивали колотые надвое бревнышки поперек опорных.

К вечеру закончили. Сначала проверили новорожденный мост сами, а потом Аркат торжественно провел по

нему коня. Тот сначала упирался и не хотел было идти, но все же ступил одним и другим копытами, покачиваясь, прошагал на другой берег; мост чуть покачивался. Коснувшись твердой земли, тряхнул головой, навалил кучу и, не отвлекаясь, стал щипать свежую весеннюю траву.

* * *

Они сидели на отлоге холма, пили свежий весенний кумыс, отрывали от лепешки ароматные, чуть подсохшие куски, клали сверху крупные кусманы казы, откусывали; жир стекал по подбородкам; и ели жизнь большими ложками. Солнце тонуло в бесконечной степи. Журчала вода поодаль. Стоял одиноко и гордо силуэт моста.

Жолдас смотрел на мост так и сяк, прикидывал, что бы еще доделать. Он взял топор, примерился, двумя ударами выбил в бревне на видном месте литеру «Х» — не придумал ничего лучше. Она ничего не говорила о них. Она не несла никакой культурной ценности. Но ему очень важно было пометить мост, оставить какой-то след; чтобы и много лет спустя кто-нибудь взглянул на выбитую в мосту «Х» и вздумался кратко, кто ее оставил и что она значит. И придумают новые смыслы; и даже не будут ничего знать и помнить о них, возведших мост, но все-таки начало этим мыслям положено его рукой, вбито в вечность. Он бросил топор на землю и вытянулся лицом к солнцу.

Обдувал его прохладный ветер. Руки его саднили мозолями, мышцы ныли усталостью, кожа чесалась царапинами и синяками; солнечными ожогами.

«Нужно будет потом сделать нормальные перила, — заключил он. — Может быть, в следующем году».

Он понял, что этого и искал всю жизнь, все годы пустых скитаний. Но они не ощущались сейчас пустыми, каждый шаг, каждая встреча, каждое событие будто приближали его, готовили его к этому моменту. Грандиозное ощущение покоя и осмысленности наполняло его.

Они сидели, уставясь на цепочки холмов; тонули холмы в сизом полумраке. Аркат молчал, длинные волосы спадали ему на лоб, трепались ветром. Взгляд его был далеко, бесконечно не здесь.

— Аркат...

Он молча кивнул. Опрокинул в губы себе чашку кумыса, долго, ненасытно пил; белое капало на одежду. Он положил пустую чашку в траву, выдохнул, вытер рукавом губы. Откинулся назад, опершись на руки, и смотрел в небо, в первые вспыхивающие звезды.

Вздыхнул. Закрыв глаза; и начал говорить. Слова его падали в небо.

VI Аркат

Серыми жидкими облаками скрыто солнце; пасмурно. Лес охвачен осенью, красными листьями устлана желтая, будто выжженная трава. Каплет мелкий, колющий дождь.

Давлю красные листья сапогами, болтаются из стороны в сторону рукава внакидку наброшенного плаща. Смотрю в печальное небо; глубоко вдыхаю прохладный воздух.

По обе стороны поляны стоят боевые отряды: мои в меховых плащах и боевом раскресе, на плечах чутко дремлют трофейные ружья, зашарканные, закопченные, перевязанные кто как горазд талисманами и цветными лентами. Напротив их ровными рядами стоят войска в одинаковых бежевых шинелях, с нашивками на груди и иные с лампасами, сверкают на поясах палаши и пистолеты, и держат они наперевес полированные приклады одинаковых нумерованных винтовок; выглядят совсем как солдаты лшак'ти, но лица их черны, и темны глаза; и дисциплина, дисциплина совсем не та, это видно просто по тому, как стоят.

Сдвигаю на лоб повязку-шал'лта. Ш'рум не приготовили засад — знали, конечно, что бесполезно.

В середине шатер, и стоят по обе стороны часовые, и врыто подле полога копье с белой лентой — символ ничьей земли. Нейтральная территория.

Делаю воинам знак остаться снаружи, сам переступаю порог.

За прямоугольным низким столиком, уперевшись локтями в дорогое красное дерево, сидит грузный, массивный инат'та. На нем роскошный, жемчугом и золотом расшитый халат; широкий круглый череп острижен и напояжен, как у белых людей, и лоснится маслами густая черная борода. Он вскидывает брови и поднимает темные, острые глаза.

— Легендарный Тук'ка наконец оказал нам визит! — голос его низкий, хриплый, нарочито жеманный.

— Наггрсиа́т', — я опускаюсь на стул, назад закинув полы плаща, откидываюсь на спинку, вынимаю из-за пояса трубку. Стучу по столу, вытряхивая пепел.

Он наклоняется, почти нависает надо мной, толстые розовые губы насмешливо кривятся.

— Ну конечно, Наггрсиа́т'... Избранник богов, любимый питомец Инт'тага... — он вынимает из кармана серебряный с вензелем портсигар, достает толстую крученую сигару, протягивает мне. — Это отменный табак, Шартта́т'ха говорит. После него невмочь курить местную дрянь.

— Наггрсиа́т' благодарит, — я продолжаю набивать трубку. Он улыбается, вынимает из портсигара маленький блестящий ножичек, деловито обрезает сигару.

Киваю на него.

— Шартта́т'ха имеет симпатичный маленький нож. Имеется ли у Шартта́т'хи такой же маленький лук и маленькие стрелы к нему?

— Ой, Шарттат'ха совсем позабыл, — смеется он и щелкает пальцами. В шатер входит по-иноземному одетая инат'та; Шарттат'ха указывает ей на сигару пальцем. Она вынимает из карманов накрахмаленной рубашки зажигалку, щелкает колесиком, вздрагивая, когда наконец пляшущий лепесток огня повисает у нее в сложенных чашей ладонях; медленно, осторожно подносит к сигаре Шарттат'хи; огонек отражается в широких темных глазах. Предлагает и мне; отказываюсь. Шарттат'ха долго, со вкусом затягивается, прикрыв глаза; пускает ноздрями сизый дым. — Шарттат'ха совсем позабыл, что нат'хи еще пользуются луком и стрелами, как... совсем как дикари! У ш'рум ведь на вооружении уже *лшаань*. Ой, забыл... как же это на инат'та? — он щелкает пальцами, будто пытаюсь вспомнить. — А, точно! Гром-палки. Вот, ш'рум уже давно перешли на гром-палки.

— Нат'хи пользуются гром-палками тоже, — я кладу на стол сверток из в несколько раз сложенной ткани, разворачиваю. Внутри маленький сморщенный гриб-гуп'б, огненосец; вложенный в него уголек дымится и пульсирует красным, будто медленно дышит. Раздуваю — накаляется, расплескивает по столу красное невесомое сияние. Подношу к трубке и терпеливо раскуриваю.

Шарттат'ха смотрит на мои действия с какой-то брезгливостью.

— Шарттат'ха просит прощения. Он видел, чем вооружены нат'хи, но принял эти... вещи за копыя. Шарттат'ха интересуется, действительно ли эти гром-палки... стреляют?

Кладу уголек обратно, откидываюсь на стуле.

— Шарттат'ха спрашивает, стреляют ли эти гром-палки, — я выпускаю горький, густой дым. Падают сквозь прозрачные клубы тонкие лучи света. — Наггрсиа' может заверить Шарттат'ху, что он лично видел, как эти гром-палки стреляют, и много раз.

— Шарттат'ха сказал бы, что слишком много.

— Ох, Шарттат'ха прав. Когда в прошлый снег белолицые окружили нат'хи в расщелине Двухголового медведя... — я смотрю во вьющиеся под навесом синеватые струи и вижу, как бегают в дыму силуэты бегущих, падающих, сражающихся людей. Разеваются в беззвучном крике безгубые рты. — Белолицые стреляли из гром-палок непрерывно двадцать солнц и двадцать лун. У нат'хи не было тогда гром-палок. У нат'хи не было еды, воды и стрел; и на каждого нат'хи приходилось десять лшак'ти...

— Шарттат'ха слышал эту историю, — он раздраженно взмахивает ладонью.

— Верно, Шарттат'ха слышал историю о битве в расщелине Двухголового медведя, — киваю я. — Тогда Шарттат'ха должен знать, откуда у Наггрсиа'а гром-палки. Но как Шарттат'ха получил свои гром-палки?

Он ухмыляется, пряча злость, смотрит на меня исподлобья. Тишина. Смотрим друг на друга, не моргая, не шевелясь.

Медленно рассеиваются клубы дыма. Две тонкие струйки поднимаются к навесу: одна от резной деревянной трубки, зажатой у меня меж пальцев, другая от кончика сигары; ползет к толстым розовым губам оранжевый обод огня.

Он вдруг взрывается смехом.

— Но хватит баек! Шарттат'хе не терпится узнать, зачем Тук'ка созвал эту встречу.

— Шарттат'ха уже знает, — я подношу ко рту трубку, глубоко затягиваюсь, кладу в сторону. — Много лун назад белолицые пришли на земли племен инат'та. Много бед причинили они племенам инат'та; и продолжают причинять, — я наклонился и стукнул кулаком по лакированному дереву. — Много крови пролито между нат'хи и ш'рум; это верно. Но время обид прошло. Шарттат'хе следует прекратить гневать предков Шарттат'хи, и следует прекра-

тить вилять хвостом перед белолицыми; и следует присоединиться к Наггрсиат'ту в священной войне против лшак'ти.

Я беру со стола трубку и протягиваю Шарттат'хе чубуком вперед, зажав в кулаке жаром исходящую чашу; он откидывается на стуле и озирает меня с насмешкой в глазах.

Смеется и качает головой.

— Какая жалость... Шарттат'ха понимает, почему Инт'таг застрял в старых предрассудках, но Тук'ка, такой молодой...

— Наггрсиат'.

— ...Такой молодой, а не понимает. Белые люди сильны, и они щедро делятся своей силой с теми, кто им полезен. Может быть, Тук'ка просто...

— НАГГРСИАТ'.

Я вскидываюсь и нависаю над ним. Он ухмыляется, спокойно тушит о красное дерево сигару.

— Наггрсиат'... Посланник богов. Забавно, как далеко может зайти маленький впечатлительный мальчик, убежденный безумный стариком, что он теперь сосуд Великого духа...

— Довольно, — бью кулаком по столу, Шарттат'ха вздрагивает, рука его тянется за пояс. — Шарттат'ха и его племя перейдут на сторону нат'хи, или будут вынимать кости из добычи своей глупости.

Разворачиваюсь и иду к выходу. Та же картина, которую я вижу каждую осень. Инт'тагу приходилось иметь дело со лшак'ти и с соседними племенами; но во времена Инт'тага первые и вторые еще не начали объединяться.

Инат'та называли это «собрание муравьев». Чем больше собираешь, чем сложнее уследить, и все они расползаются и расползаются в стороны...

Но один метод был надежней других.

— До завтрашнего рассвета, — бросаю я, поднимая полог, — нат'хи будут ждать посланника с вестью о мире. Мир или война — Шарттат'ха держит решение у себя в ладонях.

Один удачный набег — и они приползут ко мне на коленях. Это будет работать... до поры до времени.

Разбегаются муравьи.

— Нет нужды ждать до рассвета, — вдруг говорит за спиной Шарттат'ха. Тон его насмешлив. — Шарттат'ха готов заключить мир с нат'хи.

Я молча, выжидающе стою в проходе, жду подвоха. Шарттат'ха, не дождавшись ответа, продолжает:

— Однако Тук'ка видел меньше зим, чем Шарттат'ха. Ш'рум не будут уважать Шарттат'ху, если он подчинится младшему себе. Тук'ка должен поклониться...

— Ш'рум будут уважать волю богов! — я резко оборачиваюсь, откидываю стул в сторону, нависаю над Шарттат'хой; кровь бросает в лицо. — Великий Дух послал Наггенсиат'а! Всякий, кто осмелится оспаривать его власть, будет наказан, и сердце его сгниет, и кости его обглодают крысы!

Шарттат'ха кривит губы, одна рука его свободнокинута за спинку стула, пальцами другой он мерно стучит по лакированному дереву.

— Тук'ка много говорит о том, что он посланник Великого Духа. Готов ли Тук'ка доказать это делом? — он останавливается и смотрит мне в глаза выжидающе. — На...

— Здесь. Сейчас, — он молча разводит руками. — И пусть Великий Дух определит победителя.

— Тук'ка надеется на Великого Духа... — Шарттат'ха неспешно встает со стула, щелкает пальцами, подзывая прислугу. Оборачивается напоследок ко мне. — И без этих... базарных фокусов, — тычет пальцем в повязку шал'лта; она сжимается, как пиявка, и пробегает по ней дрожь.

Киваю молча.

Он качает удовлетворенно головой, оборачивается и выходит из палатки. Из-за полога доносится:

— Шарттат'ха будет ждать Тук'ка на площади. Тук'ка не следует заставлять Шарттат'ху ждать.

Я стою один посреди палатки со сжатыми кулаками, дышу медленно, тяжело. Разжимаю ладони, подношу к лицу. Я не могу понять, откуда взялась эта злость.

* * *

Всякая схватка — испытание удачи, говорил шаман.

Вкруг тесной, желтой травой поросшей площадки толпятся люди; насаждают друг на друга, локтями пропикиваются вперед — но молчат. Сомкнуты губы, и напряжены лица; темные блестят глаза. Толпа расступается — сбрасываю плащ и прохожу в круг. В руке привычная тяжесть кинжала.

Во всяком бою: в поединке один на один или в сражении несметных армий, или в схватке охотника с пантерой — везде, где прольется кровь, присутствуют боги. И не только от воли бойцов, не только от их умения зависит, кто падет и кто устоит на ногах, но и от безмолвного решения богов.

Шарттат'ха сидит, скучающе положив голову на тяжелый кулак, посреди арены. Он, как и я, одет ни во что, в одеяние, в котором человек рождается, в одеяние, в котором человек уходит в Страну Предков. В землю по самую рукоять вбит кинжал — будто сама земля, будто весь мир служит ему ножами.

Он видит меня, скалит белые зубы, вынимает из ножен мира кинжал. Поднимается во весь рост — он выше меня на две головы, само его присутствие давит тяжелым животным духом. Розовеют на огромном теле многие шрамы.

За годы непрерывных сражений, за годы жестокой безумной войны, за все годы, что брел, полуслепой, полупьяный от мертвецкого смрада, по колено в крови, непонятно куда, непонятно зачем — за многие годы я понял эту истину очень хорошо.

Битва, говорил Инт'таг, — это богослужение. Залитое кровью, мертвыми телами усыпанное поле — алтарь.

Шарттат'ха поднимает над головой кинжал, и страшный, безумный крик летит по горам. Отвечаю тем же, едва стихает эхо.

Я выходил на бесчисленные дуэли, я вел воинов в битву против безбрежных орд, голой грудью бросался под пули и штыки. Я грабил отряды разведчиков, я штурмовал крепости, я стоял насмерть, обороняя поселения, и пушечные ядра рвались над нашими головами; я ликовал, когда белолицые бежали, в панике бросая пушки, припасы, раненых; я убегал, разбитый, глубоко в горы, где прятался месяцами; я бездонными ночами стоял над картами, и верные мои воины качали головами, говоря: «Нет, это конец. Нет, это безумие. Нет, мы обречены», и я думал — и правда, на этот раз действительно конец, мы окружены, у нас кончилось все, что могло кончиться, и съедает нас лихорадка, и земля горит у нас под ногами; но что-то поворачивалось в механизме мира, и вдруг срабатывал безумный, отчаянный план, и вдруг неделю не кончались ливни, и лшак'ти отступали, сраженные болезнью, для которой не было слова в их языке, и вдруг бунтовали солдаты, до исступления доведенные офицерским произволом, и вдруг дружественное племя приходило на помощь; и я, может, не всегда побеждал, но всегда выживал, всегда держался на плаву, всегда выходил сухим из воды. И они шли за мной, они действительно верили, что я посланник богов, и сам я... сам я каждый раз будто заново убеждался, что я действительно Избранный, может, не богами, но

какой-то странной Судьбой, бросившей меня в этот мир, неясным капризом Вселенной; и действительно, так все и должно быть, это и есть моя миссия.

Но каждый раз перед боем, или после поражения, или лежа в бреду, в полусмерти после очередного ранения; каждый раз я задумывался, и вопрошал у неба, у звезд, у тумана, что сгущался вокруг: «правда ли? Действительно ли я Избранный? Или мне просто везло, боги просто играли мной, разгоняли скуку?»

Медленно, плавно сближаемся. Напряжены мускулы; предельно натянуты нервы. Стучит в висках сердце. Толпа задерживает дыхание, мертвая повисает тишина; никому не моргнуть. Поединки на кинжалах заканчиваются быстро. Очень быстро.

И вставал во снах Храм: мертвым светом залитые коридоры, саркофаг, железное насекомое внутри. И я вспоминал — это и есть моя миссия. Мир сгорает в огне. Храм не должен быть обнаружен. Саркофаг не должен попасть в чужие руки — это будет конец всего.

Я жизнь посвятил этой цели.

Шарттат'ха плавно движется, будто скользит ступнями по траве. Он неожиданно гибок для своей массы, могучие мышцы перекачиваются под кожей, как под пантерьей шкурой. Он опасный, очень опасный противник.

Сжимаю в руках кинжал. Кристальная, звенящая пустота. Краткий, в бесконечность опрокинутый миг, тоньше лезвия ножа.

Выстреливают пружиной сжатые мышцы. Рвутся друг к другу тени. Голодный кинжал вгрызается в мягкую теплую плоть.

Тишина падает, плотная, почти осязаемая. Стоим, сцепившись, почти слившись в одно целое, и только капает на траву кровь. Кинжал мой присосался к горлу Шарттат'хи, прилип, как пиявка, но не идет дальше, что-то мешает, что-то держит меня за плечи.

Каплет кровь.

Опускаю взгляд — в грудь мне по рукоятку вбит кинжал Шартта'хи; будто грудь моя, будто сам я целиком теперь служу ему ножнами.

Недвижен я; снулое оцепенение настало, будто в дурном сне. Медленно все. Медленно каплет кровь. Медленно, победно кривятся толстые, побелевшие от напряжения губы.

Вдруг кровь мне бросает в голову; дергаюсь, разрывая наваждение — и одним движением вспарываю Шартта'хе горло. Горячая, плотная струя бьет мне в лицо; хватаю за виски и нависаю, неотрывно, не моргая, уставившись ему в глаза; бьет меня крупная дрожь, все мышцы напряжены до предела, холодный огонь разлит по жилам.

Смотрю в глаза ему. Тугими струями хлещет раскаленная кровь. Инат'та верят — душа человеческая содержится в глазах, через глаза выходит при смерти. Посмотришь в глаза умирающему — заберешь его душу.

Глаза его закатываются. Тише, реже, темнее бьет из горла. Отпускаю его; падает тело наземь.

Поворачиваюсь к застывшей толпе; из груди у меня торчит рукоять кинжала. Я не чувствую крови во рту — каким-то чудом, волей providения лезвие прошло мимо, не задело органов.

Кладу на рукоять ладонь — и резким движением вырываю у себя из груди. Ахает толпа.

Я весь в теплой густой крови, в своей и чужой, и в бесконечном небе солнце стоит — прямо над моей головой. Все глаза на меня — я понимаю, что лучшего момента не будет, и слова приходят сами собой:

— Народ ш'рум! — вскидываю к небу окровавленный кинжал. — Народ нат'хи!

Толпа взрывается, эхо стократно подхватывает ликующие вопли.

— Увидена... ВОЛЯ БОГОВ! — пытаюсь перекричать толпу. — Услышаны... ИХ ЖЕЛАНИЯ! — озираю их горя-

щим, безумным взглядом, каждому смотрю в глаза, каждому заглядываю в душу. — Шарттат'ха мертв! Душу его забрал Наггрсиаг'! Власть над ш'рум забрал Наггрсиаг'! ТАК ПОЖЕЛАЛИ БОГИ!

Солнце кружится надо мной, пульсирует в голове кровь, грудь пылает огнем, все кружится, все сияет, все вокруг меня, я в центре всего.

— Ш'рум подчинятся Наггрсиаг'ту, как подчинились нат'хи, как подчинились аш'к, как подчинились та'абах, как подчинятся все остальные, и горе тем, кто не подчинится Наггрсиаг'у, не подчинится воле богов! — указываю рукой на тело Шарттат'хи. — Наггрсиаг' покарает их! Наггрсиаг' уничтожит их! Наггрсиаг' вырежет и пожрет их сердца, и заберет их души, и бросит тела их гнить на скалах, пока вороны не выклюют им глаза, пока гиены не сожрут их кишки, пока кости их не растащат крысы, пока черви не съедят то, что останется! Так будет с каждым, кто не подчинится! И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ БЕЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!

Орет толпа, вертится солнце, блестят в призрачном коридоре письма саркофага, и саркофаг распаивается...

— Железные их одежды не спасут их! Ручные их молнии не спасут их! Большие их лодки не спасут их, все они БУДУТ МЕРТВЫ! ТАКОВА ВОЛЯ БОГОВ.

Я говорил — и темнело в глазах, и души их все до единой были в ладонях моих, липких от крови; и каждое слово падало глубоко им в разум, и они готовы были идти за мной, убивать ради меня, умирать с моим именем на устах; такое убеждение было в словах моих, что убеждал я и сам себя, и все больше верил, что действительно я Избранный, что действительно боги избрали меня, что мне суждено победить, что бы не случилось, какие бы силы не были брошены против меня.

Я стал, наверно, слишком дерзким и утратил всякую осторожность.

Ночь была полна лунного света, и был час, когда боги надевают лучшие свои серебряные и золотые одеяния, и собираются на совет, и смотрят с высоких небес на землю — наблюдают, что делается в подлунном мире.

Я выполз на обрыв и осторожно выглянул наружу. Там, внизу, переливалось серебром беспокойное море, и качались на кораблевязи два широких деревянных судна; ходили по темным палубам часовые с мерцающими фонарями в руках.

На песке стояли ровными рядами бараки, и горели огни, и вокруг них сидели угрюмые, бородатые люди. Много костров было, и много, много солдат кишели, как муравьи; но не слышен был грубый солдатский смех, не видны карты в руках, не блестили в неверном свете бутылки. Все было не как обычно.

— Генерал Хусар, — прошипел я, имя это проскрипело песком на зубах, ложкой вязкого яда в горле.

— Хус'сар? — прошептал сбоку ломкий, подростковый голос; Нан'я только прошел посвящение в мужчины. — Наггенсиат' считает, что он здесь?

Мы сидели вдвоем на скале, на голом камне, высоко вознесшемся над побережьем. Виден отсюда неохватный глазами край, густые леса до самого горизонта, бурные реки, скалы, ущелья; и над всем этим возвышаются громадные, призрачные и невыразимо прекрасные в лунном свете горы.

Виделось мне, как страна эта, упрощенная до пиктограмм, до линий и стрелочек, нанесена на карту, всю мятую, рваную, закапанную кровью, пробитую ножом; и нависает над ней генерал Хусар; он стоит в своей каюте, морщит плоский высокий лоб, и не моргают зеленые, змеиные глаза. На нем солдатская рубаша и галифе цвета мертвой пустыни, и накинута на плечи генеральский китель

с потертыми погонами и приколотыми к груди лентами, полученными им за истребление и порабощение многих народов во славу Королевы; на поясе у него любимая наваха, та самая, которая помогла ему сделаться впервые убийцей в шесть его нежных лет; которая прошла с ним гражданскую войну, три военных переворота и бесчисленные кампании на земле и море; деревянная ручка изъедена морским соленым ветром и напитана кровью до того, что крови в ней больше, чем дерева; он не сменил эту наваху ни на солдатский палаш, ни на офицерский кортик, ни на генеральскую саблю, выкованную великим мастером Рамалем Мариа-Адонис, которому после сдачи работы и проверки качества стали на первом попавшемся изменнике родины выкололи ей же глаза и разрезали на запястьях жилы, чтобы никогда никому другому он не сделал такую же саблю; на лезвии у ней гравировка старинным штилем: *«Заакхи нурит-хё дыяльги»* — *«Господь сильнее смерти»*, в эфес у ней вделан рубин размером с орлиную голову, символ Империи, и гарда изогнута хитрым способом так, что если взять в левую руку, то виден суровый и нежный профиль Королевы, а в правую — смиренный силуэт Спасителя; но он отказался, сказав, как всегда, что верен навахе своей, как жене, а на неосторожное возражение какого-то из министров «но ты не женат, генерал, и вообще...»; министр тогда осекся и не стал повторять слухов, а генерал ответил, что женат на войне; и на том разговор закончился, на том и на преждевременной кончине министра, перерезавшего себе горло десертным ножом после прочтения письма от молодой возлюбленной, содержание которого осталось неизвестно, потому как и письмо, и возлюбленная в суматохе скоро исчезли без следа и без слова. За пояс у генерала заткнут наградной пистолет ручной работы; он без промаха убивает коня, скачущего на полном ходу, да так, что коня этого не замечает и двенадцать еще шагов гарцует, роняя, как сле-

зы, капли крови, пока смерть, опомнившись, не роняет его на горячий песок; он ходит, сгорбившись, по темной каюте, где горит одна только керосиновая лампа на столе, где нет кровати, а только сдвинутые два деревянных ящика — говорят, генерал не может спать на мягком, — и стучат о дерево каблуки, и чадит керосиновая лампа, и горят в полумраке зеленые фосфорические глаза.

Я сжал зубы и рукоять кинжала.

— Генерал здесь. Так говорят знаки на земле и воде.

Я давно уже не был тем мальчиком, который бежал от собак сквозь лес, который беспомощно смотрел, как убивают, насилуют и сжигают его деревню; я вырос, я освоил искусство войны, охоты и смерти, я выучил язык зверей, трав и белых людей; и я пришел, чтобы забрать свое.

— Ина́т'та ударят сегодня ночью, — я прыгнул со скалы и стал спускаться по узкой каменистой тропе к лагерю. — Генерал здесь. Наггнсиат' отсечет змее голову — и его воины будут убивать белолицых, пока море не станет красным.

Нан'я мешкался, на лице его, освещенном ровным лунным светом, читались сомнения.

— Там женщины... И дети...

— Наггнсиат' убьет их тоже! — рявкнул я. — Всех до единого! Это дьяволово отродье!

— Мать Нан'я говорила, что его жизнь спас белый человек...

Я замер вдруг. Встала перед глазами фигура в широком черном балахоне; но плюнул на камни и стал спускаться дальше.

* * *

— Это безумие, — говорит Тень Ножа, единственный глаз хмуро смотрит из-под седых бровей. — Лшак'ти бесчисленны. Следует выждать два восхода, пока не подойдут ш'рум.

— Генерал здесь. Наггенсиат' не может ждать.

Песок залит кровью. Красные волны накатывают на берег, хватают мертвые тела, уносят в море.

Всюду крики и стоны умирающих, гремит в ушах лязг железа, ружейный грохот мешается с ревом моря.

— Их больше. У них больше л'шан. Они укреплены. Наггенсиат' испытывает богов.

— Не забыл ли Тень Ножа битву в Расщелине Двухголового медведя? Боги помогли Наггенсиат'у тогда.

Всюду отсеченные головы, руки и ноги, разорванные тела. Свои и чужие лежат в обнимку, позабыв о былой вражде.

— Тень Ножа не забыл ни одной битвы в своей жизни. Но Наггенсиат'у не стоит гневить Великого Духа.

— Наггенсиат' и есть Великий Дух. Боги на его стороне.

Кровавый закат плещется в воде; и тени на песке длинные, искажены в чудовищные силуэты, в потусторонние языки пламени; будто души падших бродят по полю боя.

— Тень Ножа пойдет за Наггенсиат'ом на верную смерть. Однако Наггенсиат'у следует помнить слова Инт'тага...

— Довольно! Наггенсиат' атакует на рассвете. Воины должны приготовить оружие.

Я стою на коленях на залитом кровью песке, посреди кучами наваленных мертвых тел. Хватаю воздух сухими потрескавшимися губами. Пытаюсь вспомнить, что же произошло.

Помню, как стоял на скале, озирая поле будущей битвы. В руках я держал лук; и горел наконечник стрелы. Я вдохнул глубоко, задержал дыхание и поднял лук; долго в синем предрассветном небе летела стрела, расплескивая по ветру огонь, как знамя. Занялась пламенем полотняная палатка; рванули снаряды и тогда, будто сквозь обгорелые края разорванного неба, упали в мир первые лучи солнца; битва началась.

Ходят по берегу, опираясь на ружья, качаясь от ран и усталости, солдаты лшак'ти в залитой кровью форме. Переворачивают мертвые тела, вглядываются в искаженные смертью или предсмертием лица. Поднимают ружья и в грудь им вонзают штыки.

Помню, как резал и колол, колол и резал; всюду лица, лица, лица, искаженные яростью лица, перекошенные страхом лица, в предсмертной агонии бьющиеся лица, все слепляются в одно неразрывное месиво, во фрактал, в мандалу, и я часть этого месива, этой человеческой массы, в слепой ярости убивающей саму себя. Я годы и годы учил язык войны и смерти, я теперь говорил им свободно, я теперь слагал им стихи. Я резал и колол, колол и резал; но не кончались лица, не кончался бой, не кончалось безумие.

Я смотрю, как приближаются медленно кособокие неотвратимые фигуры. Крупные черные мухи летают по полю битвы; я не могу пошевелиться, нога моя пробита пулей, и торчит желтоватая, с обломанными краями кость; такая же, как у других, но моя, моя; мои кости такие же, как у других.

Помню, как Нан'я вонзил кинжал в грудь высокому безусому солдату, совсем мальчишке; помню удивленное его лицо и широко распахнутые зеленые глаза, будто не мог он поверить в собственную смерть; и Нан'я не мог поверить тоже, и сжимал нервно рукоять, и крупные капли крови стекали ему по лицу.

Помню, как Тень Ножа сражался с четырьмя лшак'ти сразу, и одному перерезал горло, другому распорол живот, и тот упал, руками хватая вываливающиеся кишки, а из его пистолета Тень Ножа в упор застрелил третьего, рукояткой размоzzжил череп четвертому; но их было слишком много, и Тень Ножа подняли на штыки, и он парил над полем боя, как забираемый в небеса мученик, и смотрел на меня с укором и мольбой — «сними повязку,

да не моргни, не отведи взгляда, заberi мою душу»; и я не помню, успел ли или нет, но вдруг заметил генерала — он стоял чуть поодаль, стоял и смотрел на меня немигающими змеиными глазами, и в одной руке у него была кровью измазанная наваха, а в другой пистолет; он медленно, медленно поднимал его на меня.

Я поднимаю взгляд — вот он стоит передо мной, в галифе, в сбрызнутой кровью солдатской рубаше, в небрежно накинута на плечи генеральском кителе; пустые рукава колышутся на пахнущем юной смертью, на безумно хохочущем ветру; он широко улыбается и наклоняется ко мне. Кровь туманит взгляд — я дергаюсь и зубами вцепляюсь ему в худое, в рыжей щетиной заросшее горло с торчащим, как обломанная кость, кадыком; но падаю на горячий песок, и слышен смех, и слышен безмятежный шелест волн.

Помню, как перехватил кинжал за лезвие и замахнулся — все исчезло для меня, только я, только кинжал в натянутой, как плоть, руке и генерал, поднимающий и поднимающий пистолет; но вдруг в ноге у меня разорвалось солнце, и выпал из руки кинжал, и горячий песок упал в лицо мне, и стало темно.

Я снова стою, снова на коленях, как ничего не было; но толпятся вокруг солдаты-лшак'ти, кривые ухмылки у них на белых лицах, они орут и свистят и хохочут, как безумные. В кольями огороженной яме голодные псы лают взахлеб, роняя с длинных брылей густую слюну. Стоит возле ямы полуголый смуглый подросток; оглядывается недоуменно по сторонам, будто что-то пытается разглядеть, но глазницы его пусты, и кровь стекает по лицу — я узнаю: это Нан'я, он жестоко избит, и связаны за спиною руки.

Подходит пьяный, шатающийся солдат; упирается облеваным сапогом в спину Нан'я, толкает его в яму; мужицкий гогот, собачий визг, хрип, чавканье разрываемой плоти.

Он хлопает, довольный самим собой — и поворачивается; безумны, жестоки его глаза, растрепанные рыжие лохмы разметаны по лицу; он шагает ко мне.

— Эй, эй! — одергивает кто-то. — Генерал говорил — оставьте этого живым.

Он оборачивается разочарованно.

— Его? Живым? Но хоть помордовать-то можно?

— А вот это дело! Если спросят, скажем, что так и было...

Подступают ко мне; ухмыляются. Валят на песок, долго бьют сапогами, прикладами, острыми пряжками ремней; смех, улюлюканье, ровный шум безразличного моря, тьма.

VII Жолдас

Аркад стоял у окна и с непонятным выражением лица пил чай, глядя то ли на свое отражение в мутном, пылью заросшем стекле, то ли на разбухшую талой водой реку; в лунном свете всплески ее блестели, как чешуя.

В руках у Арката была потертая старая чашка с надколотым краем; эмаль, разрисованная абстрактными узорами, пускала трещины и откалывалась чешуйками. Поднимался от нее пар. Аркат поднимал чашку ко рту, вдыхал пар ноздрями, глядел неотрывно в окно; или за окно, или и туда, и сюда.

Жолдаса вдруг накрыло странное, непонятное предчувствие: он подумал, что чашка эта завтра разобьется.

Чашка эта была здесь задолго до него. Она не была уникальной — был целый набор, и даже часть набора уже доказала простую истину: чашки умеют разбиваться, значит, может разбиться, значит, когда-нибудь разобьется и эта, и это конец всех вещей, но все же. Она не была уни-

кальной, но стала уникальной со временем, уже по рисунку трещин, по рельефу отколотых краев можно было разделить одну от другой; но никто этого не делал. Все было все равно, из чего пить и из чего есть; и Жолдасу тоже, но почему-то сейчас, в этот конкретный вечер, в эту минуту ему было не все равно.

Скорый конец этой чашки как будто придал ей какую-то особенную ценность, с ней как будто была связана часть его жизни, которую придется оставить позади, которая станет только воспоминанием.

И ведь сам этот вечер, само это мгновение тоже станет воспоминанием, быть может, совсем скоро, быть может, завтра. Жолдас почувствовал хрупкость и необыкновенную, удивительную ценность этого вечера, такого же, как и все другие, но в чем-то неповторимого. Конец придает вещам ценность. Но ведь всё конечно...

И ему вдруг стало все равно, что чашка разобьется; это будет завтра. Это будет завтра — значит, у него еще есть сегодня. И сегодня надо наслаждаться этой чашкой, и этим вечером, и этим мгновением, не потому что его не будет, а потому что оно есть.

Шуршала за окном река. Тихо билась в лампочку моль, и лампочка медленно раскачивалась на длинном проводе; раскачивался свет. В бесконечную даль ползла река.

Жолдас пил чай из чашки — то была другая чашка из того же набора, но не отмеченная печатью скорой гибели и оттого почти неприметная; но он пил, и пил с удовольствием. Тепло поднималось из согретого чаем желудка.

Хамза сидел у буржуйки и кормил голодный огонь рублеными щепками, и грел голодным огнем ладони. Огонь лизал ему руки, как прирученный волк, и не трогал даже густые седые волосы на пальцах, как ни был голо-

ден, как ни был ненасытен, как ни был старше Хамзы, старше семи его предков, старше самой степи; Хамза приручил его.

Губы его беспрестанно шептали:

— Фетек. Фетекк. Фетекх. Фетек'. Фетейк...

— Хамза, — Жолдас отпил чая и отложил чашку в сторону. Старик медленно повернулся к нему, не прекращая шептать: «Фетейкк. Фетейкх. Фетейк'...» — Может быть, Слово, которого нет, не нужно найти? Может, его нужно создать?

Хамза умолк. Свел брови и медленно кивнул, будто говоря: «продолжай».

Жолдас продолжил. Краем глаза он заметил, что Аркат все еще стоит у окна, но теперь смотрит в отражение — на него.

— Вернее, как, — «создать». Я имею в виду — взять слово, которое уже есть, любое — и сделать так, чтобы его не стало...

Аркат крикнул. Отошел от окна, подошел к столу, опасно размахивая полупустой чашкой.

— Жолдас, Жолдас... Я еще понимаю, почему Хамза занимается этой ерундой, но ты? — он с размаху стукнул чашкой о стол. — Вот скажи, мой дорогой, и ты, Хамза, тоже, скажите мне, пожалуйста, что вы вообще имеете в виду, когда говорите — слово есть, слова нет?

— Ну как же, если в словаре... — начал было Жолдас, но осекся. Аркат расплылся в ухмылке.

— Во-во. Никакого слова нет. Никакое слово нельзя потрогать. Значит, что? Что, спрашиваю?

Громко, неожиданно громко хрустнула сломанная щепка. Они медленно обернулись к Хамзе.

— «Есть», «нет»... Слово наделяется существованием, если есть человек, который наделяет его смыслом. Ко-

гда не было людей, не было и слов. А когда появились, мир сразу пошел под колеса. Почему? Потому что много болтают...

— Значит, нужно придумать слово, которое никто не знает.

Аркат рассмеялся и хлопнул в ладоши.

— Додумался, умник! В том-то и фокус — поди придумай такое сочетание букв, которого еще никто не придумал. Так еще смыслом надели!

— Молчи, Аркат.

— Я могу молчать, сколько тебе угодно, — он размашистым движением подвинул к себе и оседлал стул, оперевшись локтями на спинку. — Но я ЗНАЮ. Я знаю тысячи языков, господа, все, что Хамза бормочет себе под нос, не ново, ничего не ново. А теперь скажи, умник, — он повернулся к Жолдасу, — как ты хочешь уничтожить слово?

Жолдас смутился.

— Ну... самое очевидное — если не будет носителей слова, и не будет текстов, и ничего не будет... Тогда не будет и слова.

— Ге-но-цид! — Аркат смеялся и хлопал в ладоши. — Ге-но-цид!

— Это один вариант, — согласился Жолдас. — Но если мы подойдем с другой стороны... За словом стоит не только набор звуков, но и смысл; но ведь смысл может меняться. В разных языках одно и то же слово может иметь разный смысл, и даже не в разных языках: для двух человек одно и то же слово на одном и том же языке может иметь разный смысл. Вот что, например, появляется у вас перед глазами, когда я говорю, например... «дом»?

Он повернулся к Аркату. Аркат сощурил глаза, растянул губы.

— Место, которое я давно забыл.

Жолдас осекся. Моль билась в лампочку. Гудел огонь.

— Э... Хамза?

Хамза молчал. Хамза смотрел в огонь.

Жолдас пожалел, что начал этот разговор.

— Хорошо, ладно... Я к тому, что... вы же замечали, что если повторять одно и то же слово много-много раз, оно как будто бы теряет смысл... Вот и если взять это и довести до абсолюта...

— Ты буквально озвучил позицию Хамзы по этому вопросу. Но что заслуживает уважения, так это то, что действительно в твоём исполнении это наделено большим смыслом, или по меньшей мере забавно...

Жолдас понял, что завел сам себя в тупик. Прав был Хамза, молчать и верно лучше всего, молчать и слушать, тогда не будешь позориться; он вдруг очень сильно захотел, чтобы что-нибудь случилось, чтобы кто-нибудь спас его, вытащил из этого разговора.

— Истина тоже есть, — вдруг сказал Хамза. Он разломил щепку и сунул в пасть голодному, робкому огню. — Слово — не только набор звуков. Может быть... Да... — он что-то пробормотал на своем, потом снова: — Звуки могут издавать и животные. Но слова создаются разумом. Смыслы создаются разумом. Слово, которого нет, не имеет ни звуков, ни букв. Чистый смысл. Да...

Пока он бормотал, он все кормил и кормил огонь; переевшее пламя, оттого только голоднее, вырывалось из печки, гремело, ревело, плевалось дымом и искрами.

В степи завывали собаки. Аркат повернулся к окну, с губ его ничего не успело сорваться, как из-под двери, грязная, стремительная, хлынула вода.

Жолдас смотрел на нее, не понимая, что происходит; за секунду она залила всю комнату, зашипела, ожегшись горячей печкой, но все прибывала и прибывала; вдруг стена дома накренилась.

— Наружу! Быстро! — рявкнул Хамза, и добавил что-то резкое, гортанное, могучее, и на мгновение показалось, что действительно слова его могут остановить воду, усмирить дикие волны...

Жолдас уронил чашку, прыгнул к двери, на ходу хватая куртку; вода дошла уже до щиколотки. Он остановился на мгновение — проверить, как там другие; но ударило в затылок резко выбитой дверью, и бесчисленные холодные руки воды вошли в проход, схватили его за ноги, за плечи, за шею, утащили во мрак, где играли, кружили, трясли, били о камни, тащили глубже в бесконечную холодную тьму¹.

(Продолжение в сл. номере)

¹ Весной 2024 года большую часть Казахстана накрыли масштабные паводки.

Александр АЙЗЕНБЕРГ

(Одесса)

ИЗ КНИГИ «ОПЬЯНЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» фрагменты

...Города падают к моим ногам... вражеские армии
сдаются.

Царь Езекия заперся в Иерусалиме.
Он передал триста талантов серебра и тридцать та-
лантов золота. Он взял их из царской казны и из имущест-
ва храма.

Почему же об этом узнали ассирийцы?..

Временный мир.

Синаххериб.
— Пора покончить с царем Иудеи.

Сговор с Египтом против Ассирии.

Я им покажу!

Почему же об этом узнали ассирийцы?..

— Ассирийский военачальник Рабсак с большим войском.

— Это он.

— Посланцы от иудейского царя.

Рабсак.

«...скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это — одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила: итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее!»

Почему же об этом узнали ассирийцы?..

Возвысив голос, Рабсак.

«Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: «Примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца. Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников...»

Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?»

И евреи слышали его.

— Слова эти не дали ожидаемого результата. Однако Синаххериб, ограничившись на этот раз лишь осадой Иерусалима, решил начать войну с Египтом.

Покоряюсь богу Ашшуру, «царю всего божественного мира, создателю самого себя, отцу всех богов, владыке неба и земли, Господину всех богов, повелителю судеб».

— Посланец «бога воинств», Синаххериб вышел к границам Египта.

Пророк Исайя: «...и вот, он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет; и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы; он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет...»

Царь Езекия в осажденном Иерусалиме.
Эта армия непобедима.

Пророчество Исайи.

«Вот, Я пошлю в него в царя ассирийцев дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его».

И Синаххериб направился к Египту.

По дороге решил переночевать.

Сон его не был нарушен.

«И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и пора-
зил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И
встали поутру, и вот, все тела мертвые. И отправился, и по-
шел, и возвратился... царь Ассирийский, и жил в Ниневию».

«И вот среди ночи полевые крысы буквально заволо-
кли вражеский лагерь, изгрызли колчаны, луки, ремни
щитов, так что, проснувшись утром, противник, лишив-
шийся оружия, был вынужден отступить, оставив в лагере
множество трупов.

Каменная статуя царя Сета держит в руке крысу.
«О ты, на меня смотрящий, учись доверяться богам».

Синаххериб бежал.

По дороге он снял осаду с Иерусалима, и его войска
бежали от иудеев, которые даже не стали их преследовать.
Город иудеев не был разгромлен.

Произошло с «любимцем великих богов, смелым,
храбрым, расторопным пастырем народов, распорядите-

лем людей, сильным, мужественным, грозным, первым среди царей воином, уничтожающим нечестивцев и преступников».

«секирой Б-жьей».

Армия, состоящая из эламитов, вавилонян и арамейских племен, двинулась на Ниневию.

Сын Саргона победил.

Синаххериб одержал новую победу, после чего пошел на Вавилон и разграбил его.

Во время молитвы в храме Мардука, Синаххериб был зарублен мечами сыновей.

Сон Ашшурбанипала.

Син, бог Луны.

На поверхности Луны написано:

«Тех, кто замыслил зло против Ашшурбанипала, царя Ашшура, или причинил ему вред, я накажу, наслав на них ужасную кончину от удара кинжалом, от падения в огненную бездну, от голода и чумы, так я лишу их жизни».

Сын Асархаддона.

Гибель Вавилону.

— Шамаш-шум-укин мятежный поджег свой собственный дворец и погиб в огне.

Ашшурбанипал безжалостен к вавилонянам.

Предавшие Синаххериба.

— Царь Ассирии приказал перебить этих.

Ашшурбанипал пошел на Сузы, столицу Элама.
Он разрушил город, вывез изображения богов и богинь.

«За месяц я полностью покорил Элам, поля не слышали там голоса человеческого и топота копыт, не слышали радостных криков».

От царства Иудеи нет неприятностей.
Царь Манассия.
Иудейский царь живет долгое время в Ниневии.

— Манассия поощрял обряды и на возвышенностях, разрешал строить жертвенники идолопоклонникам.
При нём внесли в храм Соломона изображение чужеземного бога.

«Да не будет у тебя других богов предо мной».

«Да не сотворишь образа».

Скрытное преследование пророков Израиля — Исайи, Наума, Софонии.

— Так он предатель?
— Или, наоборот, спаситель?

— Неужели он не хотел повоевать с сильнейшей армией мира?

— Надо было уничтожить Ассирию.
— Интересная мысль. Каким образом? На белом коне, разумеется.

— Надо было уничтожить Ассирию.

Царствовал Ашшурбанипал.
У Ассирии не было её силы врага.

Набопаласар, царь Вавилона.
Мидяне недовольны.

Киаксар, царь Мидии, объединил племена скифов и персов, реорганизовал армию по ассирийскому образцу... перебил за одну ночь всех скифских вождей, напоив их до невменяемого состояния.

Новый царь скифов Арбак... против Ниневии... согласился на союз с мидянами.

Неожиданный разлив реки Хозер.
Внешние стены города над берегами реки обвалились...
Бреши, в которые устремились осаждающие.
Решающий бой произошел внутри Ниневии.

Дворцы царей и оба храма разграблены.
За стенами бурлила вода, как во время бури на море.
Множество людей погибло в городе.

Набопаласар приказал своим военачальникам преследовать бегущих.

«Ассирия с давних времен господствовала над всеми народами, держа под тяжким гнетом жителей этой страны, и вот я, слабый и немощный, обратился с молитвой ко Всевышнему из всех богов и благодаря могучим силам моих богов повелителей Набу и Мардука оторвал Ассирию от страны Аккада и сверг ее иго».

Египет.
Фараон Нехо.
Иудея.
Царь Иосия.

После взятия Ниневии и падения Харрана — крах Ассирийской империи.

Возрождение могущества Египта — «дома рабства» евреев?

Царь Иосия уклонится от противостояния Египту?
Для него немыслима война с фараоном.

А победа египтян над вавилонской армией не возродит Ассирийское царство?

Иудейский царь вышел против Египта.

Мог ли он ждать?

Не лучше ли было ждать?

Мог ли он ждать?

Пусть эти изнуряют друг друга.

Мог ли он ждать?

Фараон Нехо II.

Бой под Мегиддо.

Царю Иосии:

«И послал к нему Нехо послов сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя».

«Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехо от лица Б-жия».

Иосия, сражавшийся на колеснице, тяжело ранен.
Его перевезли в Иерусалим, где он умер.

Наступление египтян приостановлено.

Кончина его отца, Набопаласара.

Вавилон.

Навуходоносор короновался.

Навухаднецар.

Пророк Наум.

«Так говорит Г-сподь: «И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Г-сподь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома бога твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении... Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен... Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство... Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?»».

Пророчество Софонии.

Г-сподь «...обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня».

Навуходоносор, новый царь Вавилона,
Победив Нехо II в Каркемише и преследуя его, явил
свою мощь, мощь Вавилона — египтянам, финикий-
цам, иудеям, аммонитянам, моавитянам.

Тайное подстрекательство Нехо II к восстанию? Египта?

Вавилон двинулся на Иерусалим.

Вавилоняне вошли в Иерушалаим.

Царь Вавилона забрал золотые вазы, священные сосуды из алтарей в Вавилон... приказал.

«из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского... отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смысленных, и годных служить в чертогах царских, и научить их книгам и языку халдейскому».

...Даниила, Ананию, Мисаила, Азарию...

Царь Иоаким.

Навуходоносор покидает Иудею.

Какие утраты...

Иудея сохраняла видимость независимости...

Храм цел.

Вавилон и Египет.

«схватились на поле боя и понесли и тот, и другой тяжёлые потери».

Царь Иудеи Иоаким.

Он думает...

Новый фараон Псамметих II, Нехо, придет на помощь... против Вавилона.

Иоаким отказался платить дань Навуходоносору?

— Египет придёт на помощь?..

— В самом деле?

Войска Вавилона осадили Святой город.

Египтяне не пришли.

Иоаким захвачен в плен.

Казнен Навухаднецаром. .

Египет придёт на помощь?..

Пророчество Иеремии.

«Так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: «увы, брат мой!» и: «увы, сестра!» Не будут оплакивать его: «увы, государь!» и «увы, его величие!» Ослиным погребением будет он погребен: вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима».

Царь Иоаким погиб в возрасте тридцати шести лет, процарствовав одиннадцать лет.

Кто решает — тот отвечает.

Ты решаешь? ответь!

«И делал он неугодное в очах Г-спода, Бога своего...
Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский...».

Покориться? покориться?..

Время уступить?..

Время погибнуть?

Ты решаешь? ответь!

Иеремия проповедует, что необходимо теперь для
иудеев добровольно покориться Вавилону?.. так?..

После взятия Иерусалима Навуходоносор увел в плен
закованными более трех тысяч мужчин.

Не разрушил храм и Святой город.

Убил Иоакима...

Сохранил Храм.

Возвел на трон Иудеи Иехонию, сына казненного царя.

Иехония отказался платить дань Вавилону.

Царь Вавилона двинулся на Иерусалим.

Навуходоносор вновь в Иудее.

Он потребовал выдачи царя.

В Вавилоне иудейского царя заключили в тюрьму.

Навуходоносор не осквернил храм и не разрушил город.

Поставил царём Седекию.
Тот согласился платить дань Вавилону.

Наказание иудеям за измену.
Навуходоносор приказал сослать в Вавилон десять тысяч мужчин.

Пленники увидели руины Ниневии, увидели, во что мог Вавилон превратить Иерусалим, если бы новый царь не уступил вавилонянам.

— Царь Иерусалима Седекия слушает Египет, отказывается платить дань Вавилону.
Заклучил союз с Египтом.

«Царь вавилонский остановился на распутье, при начале двух дорог, для гадания; трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень».

Иерусалим смотрит, как вавилоняне его окружают.

Появились египтяне!

Египет поможет!!!

— Вавилон уходит!

Полководец Вавилона Навузардан снял осаду с Иерусалима!

Вавилоняне потерпели поражение!

Египет поможет!!!

Иеремия.

«Не обманывайте себя, говоря: «непременно отойдут от нас халдеи», ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем».

Египет поможет!!!

Иеремия.

«Войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет».

Вавилонская армия не увидела врага.
Египтяне отступили.

Какие иудеи?

Войска Навузардана пошли на Иерусалим.

-
- Иеремия предсказывает несчастья.
 - Сопротивление любой ценой.
-

Иудейские военачальники царю Седекии на пророка.
«Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов и всего народа».

Во время раскопок «Города Давида» найдены тексты высокопоставленных придворных царя Цидкияһу (Седекии) — Йехулаля, сына Шелемияһу, и Гедальяһу, сына Пашхура... они советуют царю убить пророка Иеремию.

«И услышали Шефатиа, сын Маттана, и Гедальяһу, сын Пашхура, и Йухал, сын Шелемйау, и Пашхур, сын Малкийя, слова, которые говорил Йирмеяһу всему народу, сказав:

Так сказал Г-сподь: оставшийся в этом городе, умрет от меча, голода и мора, а тот, кто выйдет к халдеям, останется жив, и добычей ему будет душа его; и будет он жить.

Так сказал Г-сподь: непременно предан будет город этот в руки войска царя Вавилонского, и он возьмёт его.

И сказали сановники царю: да будет этот человек предан смерти, ибо он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, произнося пред ними подобные речи; ибо этот человек желает этому народу не благоденствия, а бедствия.

И сказал царь Цидкияһу: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может сделать вопреки вам»

Они бросили его в яму нечистот.

Иеремия.
...покориться вавилонянам.

Царю Седекии Иеремия.
«Если ты выйдешь к князьям царя вавилонского, то
жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен ог-
нем, и будешь жив, и дом твой...».

Как там было, когда Пугачёв захватил крепость, Пет-
руше подсказывал дядька Савельич, чтоб он плюнул и по-
целовал ручку...

Плюнь и поцелуй ручку.

И одного за другим офицеров вешали пугачёвцы.

А позже пришёл черёд и Емельки.

Ждите.

Но Петрушка решает за себя, а не за страну.

Дети... старики...

Так как: наступать? отступать?

Двигайтесь подкупательно.

— Платить дань?! Так платить дань?..

Конечно, платить.

Ждите. Надо выжить. Уцелеть.

Как можно верить Египту?

Тем более за него воевать?

За фараона! За Египет!

Военные-параноики.

Возможно ли победить тогда, когда невозможно победить.

Подними одной рукой вес более 500 кг над головой!

А положить всю страну?

Да, дань плохо, а самоуничтожение лучше?

Ты самоубийца, а это запрещено, но ты для себя так хочешь... ты — больной.

А почему ты решил за всю страну?

А... так ты хочешь всех потянуть за собой в могилу...

Плачет Иеремия.

Безумие его не слышит.

Безумие народа.

Коллектив не лечится.

А этот... он прав...

Он не прав.

Царь-лев? Лев!

А этот... псих.

Царь Иудеи Седекия не может отступить и капитулировать.

Ты слаб. Ты боишься. Так уйди! Откажись от власти!!!

Залман ШМЕЙЛИН

(Мельбурн)

БЕРДЯНСКИЕ БЫЛИ

Записки провинциала

МОРЕ

эюд

Я не люблю море. Не то чтобы какая-то неприязнь или недоразумение. Нет. Просто нет некой взаимной доверительности. Оно само по себе, я сам по себе.

Возможно, здесь какое-то онтологическое начало, сложившееся из наших отношений, некий фрейдистский комплекс. Но я вроде не боюсь воды (чур меня, чур — я как и многие рефлектирующие интеллигенты в достаточной степени суеверен) за исключением тех случаев, когда мать принималась мыть мне голову и непременно с большим количеством мыльной пены, забивающей глаза и уши. Никакие увещевания, уговоры, запугивания и даже анекдоты о предстоящем приезде тети Сары не могли примирить меня с этим адским произволом.

Первое ощущение большой воды у меня осталось с того времени, как мы семьей плыли из Дзержинска в Москву на большом санитарном транспорте по Волге, летом 1943 года после двухлетней эвакуации. Мне было тогда четыре года. В памяти остались не чайки за кормой и не волжская ширь, а запах карболки и грязных бинтов, длинные узкие проходы между палубами, красные спасательные круги с какими-то белыми надписями по бортам и как

ухало и куда-то уходило сердечко, когда я со страхом всматривался в бурлящий след за кормой где-то далеко внизу. Подобные ощущения возникали у меня позже на балконе большого «генеральского» дома, куда я иногда приезжал к бабке, бездельничая после уроков. Со страхом и упоением я смотрел вниз, прокручивая в воображении картину возможного краткого безумного полета. В этом воображении было что-то ужасное и в то же время неудержимо заманчивое. Соединив полоски бумаги колечком, я пускал парашютики, которые, стремительно вращаясь, планировали на землю или залетали на близлежащие крыши. Деловые отношения с пугающей высотой снимали все страхи.

Следующий контакт с водной стихией не замедлил иметь место той же осенью в подмосковном Растроргуево, где мы тогда жили, по всей вероятности в бывшей усадьбе, потому что при доме был небольшой парк со старыми высокими деревьями и пруд. Вот около этого пруда я как-то и застыл, глядя на шквальную зыбь под пронизывающим осенним сырым ветром, сдувающим с деревьев пожухлые листья, которые покрыли уже желтым ковром всю водную поверхность. От вида этих колышущихся ярких пятнышек на темной, почти черной воде мне становилось еще зябче. Во всей картине была какая-то неизбывная грусть и безнадежность, было очевидно, что этот нутряной холод будет расти и бог знает, чем кончится. Из оцепенения меня вывел только встревоженный голос матери. Мое изначальное утверждение не связано с боязнью утонуть или каким-либо многозначительным предсказанием вездесущей цыганки. Вовсе нет. Плавать я научился рано и совершенно самостоятельно, ибо главным моим наставником в детстве была босяцкая улица. Не скажу, что я от нее был в восторге, многое вызывало во мне тошнотворное чувство, но там била ключом настоящая жизнь, неза-

висимо от того, был ты еще несмысленный карапуз или обремененный немислимыми знаниями ветеран подворотен. Из барачных задворков тароремонтного завода, что боком притулился к Катуаровскому шоссе на окраине быстро расстраивающейся послевоенной Москвы, мы плотной босоногой оравой в жаркие дни перемещались в район ближайшего засиженного водоема. Это не были Патриаршие или Лефортовские пруды, но я не помню удовольствия большего в ту пору, чем окунуться в эту переполненную клоаку, наполовину покрытую ряской, с вязким глинистым дном и, не продвигаясь, не дай бог, никуда от берега, хлюпать в упоении ногами, перебирая в то же время руками по илистому дну, наполненному корягами, битым стеклом и еще черт знает чем склизким, на что лучше не смотреть. Какая-нибудь современная мать при виде своего сокровища, по большей части и единственного, погружающегося в такую антисанитарию, зашла бы в истерику, но вряд ли ее чадо во вполне благоустроенном и с водяными аттракционами бассейне испытает ту полноту детского счастья, как мы в ту пору. Но впервые я оторвался от дна уже совсем в другом месте, в станционном поселке Чур, в удмуртском захолустье, куда завез нас отец, от греха подальше, спасая от начавшейся кампании травли «космополитов». У нас был свой домик, с загаженным голубями большим и темным чердаком, на котором я как-то в течение нескольких недель втайне от всех откармливал хлебом выпавшего из гнезда горластого и прожорливого вороненка. Речка, глубиной мне по колено, текла прямо за грядками, во дворе, я ловил там на вилку пескарей, которых скармливал потом нашему сибирскому, мохнатому, черному, с белыми подпалинами на голове и хвосте, коту. Но купаться мы с ребятней ходили в другое место, возле тихого, бездонного омута. Кое-кто с криками, чтобы отогнать охватившую робость, перемахивал его саженками, ожидая еже-

секундно, что в пятку вцепится хозяин, стокилограммовый сом, неперемный атрибут таких мест. Но большинство держалось подальше, на песчаной отмели. Однажды, заигравшись, я вдруг почувствовал, что под руками у меня уже нет опоры и, осознав, что это значит, в отчаянии заколотил по воде руками и ногами. Через несколько страшно долгих секунд моя нога неожиданно коснулась дна — я был уже на противоположном берегу. И назад уже возвращался, не торопясь, выгребая «пособачьи», полный ощущением сделанного значительного шага — посвящение состоялось. А плавание подлинное, стилем я с восхищением наблюдал много позже, в фильме «Тарзан», и стиль не простой, а от Генри Вейсмюллера, который не мог не покорить. Мы до одури пытались его копировать в выгороженном летнем бассейне Воткинского пруда, я уже был студентом техникума и был рад, если меня брали в экипаж парусной шлюпки-восьмерки, очень модной в то время, в этом большом, раскинувшемся на несколько километров бассейне. Это было уже предчувствие моря.

А знакомство с морем произошло как-то само собой и очень уж буднично.

В то лето после летней сессии я поехал знакомиться с родителями моей жены-сокурсницы в Город у Моря. Как всякий нормальный житель континентальной России, я подспудно носил в себе мечту о такой встрече. Эта несколько отвлеченная мечта подогревалась уже и вполне конкретной направленностью — как-то на загородном пикнике на даче у моего короткого приятеля с подготовительных курсов, объявилась неожиданно на столе азовская вяленая тарань и вмиг покорила мое невзыскательное сердце. Икраяная рыбка, только что доставленная самолетом, лоснилась жиром и просвечивала насквозь. Она была наполнена щедрым южным солнцем и пахла морем. Это был совершенно откровенный намек судьбы, но я его тогда не понял.

Мы с женой прибыли утренним поездом, проехали по пыльным, разморенным жаром улочкам прямо к застолью и только уже к вечеру, когда жара начала спадать, тесть повез нас на своем ухоженном «москвичке» на Верховую вдоль добротных, скроенных на века домов немецкой «Колонии», мимо обихоженных с исключительной, как в собственной квартире, украинской основательностью виноградников, и, наконец, за песчаными дюнами мелькнула полоска бирюзы. Но прежде в открытые окна ворвался и по-хозяйски устроился стойкий и совершенно для меня неожиданный запах тухлых яиц. Я сначала даже не понял, что это такое, потом подумал, что так удобряют виноградники, но, наконец, тесть сообразил, что меня смущает, рассмеялся и объяснил — так пахнут лиманы, главное богатство и непреходящая привлекательность курортного города. Мечта оказалась с запашком. Так юнец, грезивший с детства кораблями, став моряком и выйдя в свое первое настоящее плавание, сразу убеждается, что море — это тяжкий труд, качка, морская болезнь, узкий душный кубрик, длительное отсутствие женщин, гнетущая атмосфера замкнутого пространства и многое, многое другое, все, кроме романтики. И все же... все же...

Я еще не знал, что около этого моря мне предстоит провести почти три десятилетия.

Привыкание к морю проходило тяжело. Моя чисто городская натура с трудом уживалась с почти деревенской размеренностью провинциальной Малороссии. Внутренняя суть того, что было берегом и ощущало себя, как берег, как граница двух столь разных стихий мне далась не сразу. Я понимал, что эта особенность проявляется в каждом движении окружающего пространства, но не мог перевести ее на язык будничных отношений. Наверное, этот язык самое свое глубинное гнездовище имел в местном фольклоре, но и он воспринимался мной как испорченный

русский попеременно с малороссийским. Не происходило погружения в среду. Каждый день я проходил по узкой кромке обрыва над плещущимися внизу волнами свои несколько километров по пути на работу. Это было время откровения. Между мной и морем не было ничего, кроме колышущегося марева. Но озарения не наступало. Иногда жара была чрезмерной, пот заливал глаза, но даже в такое время у меня не возникало нестерпимого желания спуститься вниз и погрузиться в соленую волну и я спешил домой, чтобы тривиально залезть под душ. Витя Картофлицкий, внешне сильно напоминавший молодого Маслякова, шесть лет проведший в Казани, изучая математику в местном университете, будущий руководитель городского вычислительного центра, собравшего под своей крышей весь цвет местной компьютерной инженерии, смотрел в корень. Он говаривал мне: «Ты не понимаешь, это лучший город в мире». Да, Вите было здесь очень уютно, это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом слове. Через несколько лет мне в руки попала книга ростовского писателя Сергея Званцева «Таганрогские были», в которой он утверждал, что Чехов страдал болезненной привязанностью к этому провинциальному городку и при всякой возможности туда убегал. Как-то по дороге в Ростов я специально подправил маршрут и заглянул в Таганрог, чтобы понять причину такой привязанности. Я как будто ступил на улицу все того же Города у Моря. Единственное, что нарушало знакомую идиллию, был старый расхлябанный дребезжащий трамвайчик, явно чеховского возраста, который как-то странно смотрелся на тех, почти деревенских, улицах. Видимо, прав был Генри Миллер, утверждавший, что каждый в состоянии создать вокруг себя «необитаемый остров» и быть на нем счастливым, как Робинзон Крузо.

Я осваивал местные технологии, брал резиновую лодку и выходил на ней в море, запасшись полудюжиной удочек-закидушек и коробкой вонючих лиманских червей. Ловить было неинтересно. Было такое ощущение, что бычки лезут на крючки даже без наживки. Они обсаживали закидушку гроздьями, только успевай снимать, за час можно было набрать с ведро рыбы. Говорят, что сейчас все совсем, совсем не так, но я еще застал то обильное время. Многие начинали общение с морем с самого раннего утра, устраивали пробежки и купания до завтрака и ухода на работу. Я тоже, удлинив свое утро, спускался иногда на Лиски, это занимало не более семи минут, но бегать как-то не хотелось, и я усаживался, прислонясь спиной к какому-нибудь баркасу и опустив ноги в лениво плещущую волну. Монотонность процесса вытесняла из головы всякое присутствие мысли. Покой был слишком совершенен, чтобы его чем-нибудь нарушать.

Как-то уже в заматерелые годы мой приятель, используя все свое влияние главного городского газовщика, раздобыл пару алюминиевых подвесных баков на соседнем аэродроме. Баки представляли собой длинные серебристые сигары из алюминия. Соединив их перекладинами и установив сверху сварной каркас, мы получили прекрасное плавсредство типа катамаран с игривым названием: «Полный пиздец!». Это сооружение базировалось у знакомых на огороде в районе Средней Косы. На пике лета, на зорьке, едва небо начинало светлеть, мы отплывали на этом сооружении в поисках клева и часов через пять возвращались, нагруженные серебристой снедью. При хорошем раскладе здесь были и тарань и бычки, а иногда и добротные судачки. К тому времени женщины уже ждали нас со всей приправой для ухи. Теплый спирт под горячую уху при температуре под 30, а то и под 40 погружал в нирвану. Эти летние дни были особыми, в эти дни обо мне вспоминали все родственники и близкие и

дальние знакомые в разных концах тогда еще необъятной страны. И это умиляло. Будней уже не было. Они отменялись. Летние дни представлялись одним большим многомесячным приемом, растянувшимся на весь курортный сезон, а он в Городе у Моря, слава богу, длился едва ли не полгода. Гости сменялись с калейдоскопической быстротой. Главное, было быстро их пристроить на какой-либо береговой точке.

Однажды, выйдя на «Полном Пиздеце» в море, мы пересеклись с встречной баржей, направлявшейся на Дальнюю Косу, полной людей в самой немыслимой одежде. Это снимали фильм «Остров погибших кораблей». На острове со звонким названием Дзензик, где гнездилась бесчисленная колония чаек, собрали весь обветшалый корабельный хлам и с утра до вечера вели съемки. Любопытство взяло верх, и на следующее утро я плыл на этой барже рядом с К. Райкиным, сосредоточенным и молчаливым. В этот день снимали кадры зажигательной пиратской джиги. Меня нарядили в безразмерные парусиновые штаны, и именно эти пляшущие грязноватые штаны, как бы оторвавшиеся от остального туловища и головы, я увидел при просмотре фильма спустя несколько месяцев. Непременный атрибут дальних походов и открытий — матросские клеши, отплясывающие бешеный пиратский танец, они возникали, как призрак того, что мы всегда втайне ждали от моря — наш личный «остров сокровищ», который, слившись в бесконечности с необитаемым островом Робинзона Крузо, и есть Земля Обетованная.

Обволакивающее очарование Средней Косы — Песчаный Брег с редкими посадками кустарника, плавно, но решительно уходящий в теплую, ласковую слегка соленую бирюзовую воду, которая по ночам бывает теплее воздуха, а в темные августовские ночи фосфоресцирует мириадами разлагающихся микроорганизмов, закончивших свой сезонный жизненный путь и оставляющими яркий

огненный след за каждым движением рук и ног. И ночной браконьерский лов в сговоре со сторожем и его сетью, когда с одного стремительного пиратского захода вытаскивался полновесный улов серебристой, сверкающей в лунном свете, трепыхающейся в последних пароксизмах рыбы и креветок и редкие незванные свидетели из отдыхающих-полуночников, невольно разделяющие с тобой эту краткую запретную радость.

Но море всегда начеку. Однажды я заснул на песке у кромки воды, глядя прямо на опрокинутое небо, чистое, без единого облачка, усеянное звездными блестками, словно кем-то намеренно декорированное. Жена и дочь копошились в десятке метров в освещенном проеме двери, выгоняя на ночь комаров и мошек из очередной пансионатной клетушки. Проснулся я уже глубокой ночью от какого-то странного щекотания, словно кто-то глубоко внутри перышком провел.

Краткая ночь наедине с морем была, как интимная встреча с глубоко порочной женщиной и стоила многих лет упорного выкарабкивания из хронического недуга, потребовавшего углубления во все тонкости нетрадиционной медицины. Это была хорошая школа, школа лечения духа, не тела.

Мне предстояло увидеть еще всякие разные моря, вернее берега, ибо Море — одно.

На Балтике, рукотворные пляжи Куршской косы, тянущиеся на добрую сотню километров, широкая, ровная полоса дисперсных, «поющих» песков — подпираются скосами, засаженными хвойными деревьями, которые за полторы сотни лет превратили эти насыпные дамбы в дремучий лес. Вода же здесь стылая, неприветливая, сродни суровым витязям, прокладывавшим дорогу своим боевым стругам из этих мест в Испанию и даже, скрытно, в Америку, а дно сплошь каменисто. В Афинах море лениво ворочалось — густо синее, аквамариновое с золотом от

разбегающихся по поверхности солнечных бликов, словно отвергнутый, забытый языческий бог, пережевывающий время, медленно и тягуче стекающее с холмов, от развалин Парфенона и Акрополя. Его алчный язык периодически набегал на берег, слизывая мгновения. Рядом, совершенно неожиданно и как-то очень по-домашнему примостилась полянка, сплошь усеянная знакомыми, непритязательными ромашками.

В Тель-Авиве, куда я впервые попал с группой энтузиастов сионизма, Средиземное море встретило нас привычным волнением. Мы приехали под вечер и пока разместились в гостинице на знаменитой улице Дизенгоф, наступила ночь. Но избежать визита на пляж после раскаленного дня было невозможно. Особо отчаянные заходили в море, держась за натянутые вдоль мостков канаты — иначе волны сразу сбивали с ног. Рев пенящейся воды стоял неумолчный. В кабинах для раздевания спали бездомные. Все было неожиданно и непривычно. А в Ашкелоне по пляжу разъезжала шумная молодежь на каких-то громко рычащих монстрах, поставленных на высокие, тракторные колеса. Они стремительно с гиком носились вдоль кромки воды, спугивая редкие парочки, без стеснения предающиеся любви прямо под открытым небом. Вода плескалась как расплавленный свинец, темная и пресыщенно соленая. В глубине скрывались опасные ребристые валуны — в этом месте сбрасывали суда балласт во времена Птолемеев и римских легионов.

За несколько недель до исхода из страны, я принимал гостью из Киева, официального сохнутовского функционера с ревизией. Перед отъездом она попросила показать что-нибудь запоминающееся, пригодное для камеры. У нее была машина с личным шофером и рано утром, еще не всходило солнце, я повез их на Косу. Была зима и необычно холодная, так что море местами замерзло. Но то, что мы увидели, потрясало своим величием. Солнце толь-

ко-только показало свой край из-за окоема, как будто выплывало прямо из жерла, из центра безбрежного морского пространства. Оно осветило своими первыми, еще тусклыми лучами песчаный берег, по краю которого, сколько было видно, тянулись ледяные торосы, нагромождения льдин, которые сдвинула, сбросила с себя, как ненужное покрывало, норовистая вода, не привыкшая к ледяному плену. Это было незабываемо — желтый песок, сгрудившиеся на берегу льдины, достигавшие кое-где метровой высоты и неудержимо поднимающееся солнце, в лучах которого берег со всеми его земными заботами становился все меньше и меньше.

Как далека ты сегодня от меня, песчаная Бердянская Коса, столь уютная и ласковая, с таким длинным, жарким, насыщенным, пьяным летом, окруженная со всех сторон соленой морской водой, состав которой почти такой же, как состав моей собственной крови.

ЮАБОВИЧ

— Идеальному городу подобает состоять из красивых, подлинно архитектурных построек, в том числе и для бедняков.

— Но, в таком случае кто будет за них платить?

— Правитель, если он не хочет, чтобы его считали нищим. В идеальном городе должен быть очень богатый правитель.

Джузеппе Д'Агата

Моя умная совсем не задним умом теща всегда с удовольствием вспоминала свое первое впечатление от встречи с этим городом, как бы прикорнувшем на песчаном берегу между степью и морем, продуваемым насквозь ветрами этих двух стихий под неумолчный гул морского прибоя и соленый терпкий говорок южного украинского

базара. Она тогда впервые, отряхнувшись от тяжких военных и не менее тяжких послевоенных забот, предприняла семейную длительную поездку на мотоцикле с коляской — свидетельстве начавшегося материального восхождения. Только-только закончив мединститут, с мужем, еще не окремавшимся от жестокой контузии и двумя малолетками на руках, молодая, полная сил женщина не вынесла голодных буден родного Ростова, когда единственной пищей за столом, зачастую, на всю огромную семью был котелок каши, полученный ее тестем в качестве пайка в пожарной охране, где он служил. И отказавшись от научной карьеры, которую ей прочили, от протекции ее зятя, ставшего вскоре ректором Ростовского мединститута, уехала на годы в казачью станицу, добровольно запрягшись в упряжку сельского участкового лекаря. А были, были задатки. И через десяток лет, уже пребывая в маститых медицинских администраторах, она иногда делала уникальные пластические операции, изменяя форму носа, губ, ушей, что стало так сейчас популярно, а тогда воспринималось, как чудо, способное изменить капризную человеческую судьбу. Ее врожденный такт, умение легко сходиться с людьми, держа, одновременно, дистанцию, не допускающую даже мысли о панибратстве, сломили, в конечном счете, лед отчуждения — жить рядом с казаками оказалось вовсе не просто — и в дом пришел достаток. Люди расплачивались за ее необычную для села квалификацию натурой — яйцами, медом, свинными окороками, куриными тушками, о чем в Ростове они и мечтать не могли. Но через несколько лет станичные границы показались ей узки, купленный по случаю и ухоженный сноровистыми руками мужа, работавшего до войны шофером, мотоцикл породил желания и они, очертя голову, понеслись на нем к морю. Их открытый всем ветрам экипаж проскочил, не задерживаясь, загазованный металлургами Мариуполь и через какой-то час уже въезжал в Бердянск.

Подъехав к длинному, колдобистому спуску с Горы в Город, они с удивлением остановились прямо напротив городского кладбища, заросшего пышными кустами сирени и акаций. Навстречу им медленно тащилась телега, наполненная рыбой, сверкающей на солнце разноцветной, перламутровой чешуей. Улов был свежий и еще продолжал время от времени вспучиваться выгнутыми темными спинками. Самая большая не помещалась на телеге, и хвост ее тяжело волочился по земле. Но главное, что никого больше эта идиллическая картина не трогала, а значит, была привычна. Это так поразило вчерашних ростовских голодальцев, что они не сговариваясь, решили про себя — вот место, где люди никогда не будут знать истинную цену куску хлеба. Место это им показалось заповедным, и остались они в этом убеждении навсегда. И оттуда уже больше никуда не двигались, разве что в отпуск. Мне это всегда казалось мифом, придуманным для собственных детей, проявлявших в молодости стремление поскорей покинуть провинциальную глушь и каждый раз с какой-то фатальной неизбежностью возвращавшихся обратно. Я лично таких телег не встречал. Видимо, опоздал. Не случайно в конце 70-х Институт Черного и Азовского Морей в Ростове был переименован в институт Индийского Океана. Но это не значило, что туда, на чужой юг сразу направились вереницы алчных рыболовецких шхун из приазовских совхозов. Совсем даже наоборот. О, этот великолепный византийский стиль, так легко и с некоторой небрежностью усвоенный еще со времен Киевской Руси, когда истинный смысл нужно читать между строк. Для тех, кто был в курсе дела, так прозвучал приговор обреченному водоему, до войны считавшемуся сказочно богатым, где с гектара снимали рыбный урожай в десяток раз больше, чем где-либо еще на морях и океанах. Теперь на светофоре зажегся мигающий желтый свет, призывающий не зевать, пока не поздно.

Зато я наблюдал возрождение неисчерпаемых богатств другой стихии Древней Таврии. В те годы, насыщенные тревожным ожиданием перемен, власти, проявив неожиданную прозорливость, наделили всех желающих вожделенными шестью сотками (интересно, кто придумал такую норму, мой прадед, например, когда решил разжиться землей, прикупил порядка 40 гектаров, видно люди тогда были иных масштабов), которые очень скоро для многих и многих буквально стали последним аргументом в борьбе за выживание. Мне достался тогда кусочек степной земли в 20 километрах от города, сплошь заросший бурьяном, поднявшимся в человеческий рост рядом с узенькой, в три шага, речушкой с жесткой водой, мало пригодной даже для полива. Кругом под ногами валялись вывороченные с корнем, древовидные, в руку толщиной стволы подсолнечника с малюсенькими, дистрофическими, выродившимися головками, совершенно истощившие почву, много лет не знавшую отдыха. Земля спеклась в бурые, как будто сцементированные глыбы, которые впору было разбивать отбойным молотком. Я стоял в одиночестве, не зная, как к этому подступиться, предстоящий труд казался огромным и бессмысленным.

Как удивился бы посторонний человек, оказавшийся на этих полянках годика, эдак, через два. Ухоженная неумными руками вчерашних выходцев из окрестных сел — украинских, русских, болгарских, греческих — земля воздавала сторицею. Эти сёла, ожерельем рассыпанные по степи вокруг Города и были настоящими, не бутафорскими потемкинскими деревнями, созданными переселенцами на землях, оттяпанных у Османской Империи удачливыми екатерининскими генералами, среди которых и генералиссимус Суворов. Остатки ногайской Орды, кочевавшей по ковыльному бездорожью Приазовья и охотив-

шейся на бесчисленную живность в плавнях мелководной Берды, около устья которой и zaloжили Город, окончательно рассеялись уже в советское время.

Впрочем и заезжая, по преимуществу, интеллигенция, знакомая с сельским трудом разве только по ежегодным бестолковым выездам на дармовую прополку в колхоз, проявляла завидную и неожиданную прыть. Вскоре микроуторки покрыли все видимое пространство. Как грибы после дождя вырастали хатки, домики и хоромы. Возрожденная к жизни, любовно перелопаченная, удобренная земля оказалась лучшим в мире черноземом. Темно-бурая, обнажающая в каждом выворченном лопатой ломте расплзающихся жирных дождевых червей, лоснящаяся, разъезжающаяся на гранулы — ее хотелось мазать на хлеб и есть. Культурный слой почвы здесь достигал невиданной толщины — чуть не полметра. Говаривали, что во время войны практичные и завистливые немцы вынашивали несбыточные планы вывезти весь этот чернозем в обделенную таким божественным вниманием Германию, вместе с удивительным, нигде более не произрастающим местным сортом мускатного белого винограда с романтическим названием «Березка». По этому поводу в городских архивах хранится запись, свидетельствующая о личной заинтересованности главного бундфюрера — Гитлера. Этими землями интересовался и ошельмованный в памяти людей Трофим Лысенко. Видно, не по Сеньке оказалась ему шапка академика, а мужик был хваткий и практику земли понимал. До войны в этих местах картошка числилась в деликатесах и была гораздо дороже яблок из-за сухого, без дождей лета. Чужие сорта здесь упорно не приживались и вырождались за один сезон. Трофим Денисович экспериментировал несколько лет и предложил решение, которое умельцы до сих пор эффективно используют — сажать корнеплоды очень рано весной в еще

холодную, но обильную влагой почву и собирать незначительный, но очень нужный урожай в июне (так называемая и хорошо известная местным жителям «июнька»), ее же сразу высаживать и получать второй, богатый, полноценный приплод поздней осенью, попадающей в период созревания на самый сезон дождей. Такой вот гонитель продвинутых морганистов. Кстати, те, оправившись после преследований, принялись травить своих бывших оппонентов с не меньшей изобретательностью и злобой. И, как свидетельство тому, упоминание об этих работах опально-го агронома я нашел только в брошюрке, выпущенной еще до войны.

Впрочем, нельзя сказать, что и я был так уж обделен рыбным изобилием. А однажды даже оказался в сходных обстоятельствах и, странным образом, в районе того же Спуска. Тогда довольно уже поздним осенним вечером позвонила сослуживица моей жены и предложила по очень сходной цене красную рыбу (красной, как и повсеместно в России у нас называли рыбу осетровых пород, запрещенную к лову). Правда, тут же с завидной прямоотой она заявила, что на одного здесь будет многовато, а надо забрать непременно все. Я тогда еще не понимал, в чем дело, но на всякий случай подписал своего приятеля, тот был заядлый рыбоед и рыболов. Только приехав на велосипеде по указанному адресу, я понял, во что вляпался, но отступить уже было «западло». Передо мной лежала огромная, рыбина, длиной почти в полтора метра, едва прикрытая ветошью, как оказалось, молодая белуга. Весы показали больше 20 килограмм. Для белуги, которая в Азовском море нагуливает аж до 400 кг, это было пустяком. Но я такой огромной морской твари еще не видывал. Невольно вспомнился хемингуэевский «Старик и море». Хуже было то, что здесь наличествовал очевидный криминал. Вот-вот должны были нагряться с обыском. Инфор-

мация, как это часто бывает, работала на обе стороны. Счет шел уже на минуты. Я кое-как взвалил необычную добычу на багажник, закрепил, как мог, и закрутил педалями. По дороге меня разобрал жуткий смех, я как раз пересекал спуск в том же самом месте, о котором рассказывала теща, — товарищ жил в частном доме, точно напротив кладбища — и хвост, выпроставшись из креплений, волочился по земле. В доме заранее предприняли все меры маскировки и затемнения — плотно зашторили окна и притушили свет. Рыбину поместил на полу белым брюхом кверху. Разложенная в длину, в небольшой горнице, она производила прямо-таки чудовищное впечатление. Приятель острым ножом сделал в центре крестообразный надрез — и произошло чудо — изнутри неудержимо полезло что-то абсолютно черное, перемешанное со слизью. Я еще никогда, ни до, ни после, не видел такого невероятного количества черной икры. Ее набралось тогда около 5 кг. Но технологию превращения сплошь укутанной пленкой белужьей икры в продукт, пригодный для употребления не знали ни я, ни мой приятель-рыболов, хоть он и был уроженцем этих мест. Пришлось интересоваться у знатоков, и какие-то волны разошлись. Много бы дала та тетка-сослуживица за эту информацию тогда, несколько десятилетий назад. Она поняла, что в панике сильно продешевила, и пару раз звонила, интересовалась, но мы молчали — риск оказался на самом деле несравненно больше. А сын мой еще долго после этого убежал из-за стола, едва завидев «черное пюре» — картошку, заправленную натуральной паюсной икрой.

Этот спуск с Горы, на которой расположились основные предприятия Города, как сказали бы на развитом Западе — «промзона», вообще примечателен и его превращения определяют некие вехи в жизни горожан. Там, на самом склоне, еще в конце 60-х стоял известный всему го-

роду ларек. Уж очень у него была удобная дислокация, Туда скатывался весь транспорт из промзоны, с трассы Москва — Симферополь, из соседнего Запорожья, Донецка, сонмы автомобильных «дикарей» со всего Союза, жаждущие беззаботного, хмельного отдыха, мимо него возвращался народ после рабочей смены. Хозяйкой ларька состояла приземистая, белобрысая баба очень уж российской наружности и манер — дочь мордовских лесов, бог знает какими ветрами занесенная в приазовскую степь. В ларьке гнездилась разная мелкая снедь, но главным ходовым товаром, завлекалочкой служило простое виноградное вино местного разлива по 18 коп. за стакан. Но еще больше, чем вино, любопытный люд привлекал партнер ларечницы, часто замещавший ее на рабочем месте, бухарский еврей Михаил Юабович, простым народом просто и бесхитростно прозываемый Ебовичем, личность колоритная и примечательная. Как многие евреи из низов, он источал многозначительную меланхолию и склонность к мелкой житейской философии, не забывая наполнять стаканы — контроль со стороны хозяйки был жесткий. На все запросы в отношении закуски Ебович неизменно глубокомысленно изрекал: «Пей, пей, там все есть» — вера его в это была неколебима... Впрочем, не только в это. Дом их находился прямо напротив ларька, там, где начинался пользующийся недоброй браконьерской славой район Лисок. С ними в доме проживала девушка Лена Яковлева, дочь ларечницы, уже закончившая учебу в институте и влившаяся в дружный заводской коллектив, где работала и моя жена. Поэтому в этот, оказавшийся гостеприимным, дом мы иногда заходили. Хозяин любил гостей, особенно молодежь, которую так легко было «развести» на умные разговоры. Слегка приняв на грудь, он непременно извлекал на свет старенькую радиолу и такие же ветхие, заезженные пластинки с заунывными, однообразными

для нечуткого европейского уха мелодиями. Подняв руки и закатив глаза, он начинал подпевать и медленно, словно в трансе, перемещаться, плавно раскачиваясь. Во время праздников к радиоле и пластинкам добавлялся ритуальный, синий, бостоновый пиджак с рядами орденов и медалей. Это были отнюдь не бутафорские побрякушки, выдаваемые ветеранам к определенным датам, а настоящие боевые награды в несколько этажей — в том числе ордена Красного Знамени и Отечественной войны. Так что пиджак этот казался мне боевой кольчугой, и нужно было иметь честные мужские руки, чтобы позволять себе к нему прикасаться. Михаил Юабович во время войны служил в полковой разведке в звании старшего лейтенанта. Иногда к нему в гости приезжал его брат, полковник милиции из Душанбе. Тогда во дворе сооружался дастархан с разбросанными по нему подушками, и двор превращался в кусочек Средней Азии. Но утреннюю молитву они неизменно совершали вдвоем, как иудеи. Соседи и прохожие недоуменно заглядывали через забор — в городе единственную синагогу сожгли во время войны, это было одно из немногих пострадавших зданий, а оставшихся евреев, числом около девятисот, всех, кого выловили оккупанты — румыны или сдали добрые соседи, расстреляли в Мерликовой балке. Возможно, они были тогда едва ли не единственными реликтовыми евреями в этом городе, имевшими понятие о том, как одеть талес и прочитать молитву.

В середине 70-х примечательный ларек вместе с привычным глазу неухоженным Спуском исчезли. В город как-то проездом заглянул всеильный в то время украинский партийный вождь Шелест. Но ошарашенный видом серых однообразных бетонных застроек нагорной части, которыми преимущественно и прирастал в последние годы этот курортный полис, он доехал только до Спуска, развернулся и велел погонять обратно, бросив историче-

скую фразу: «Засрали такую жемчужину». Чуть не на следующий день начались работы, длившиеся много месяцев и окончательно лишившие город его патриархального своеобразия, выстелив дорогу бетонными плитами и возведя сбоку аляповатый, невыразительный, зато столь расплодившийся монумент Воинской славы и Вечный огонь в пятиконечной звезде. Вместе с ларьком вскоре исчез и Михаил Юабович. Они вернулись в Душанбе, прихватив с собой и девушку Лену Яковлеву. Несколько лет она еще писала оттуда грустные письма и поздравления.

ШУТКА

«Любой задрипанный еврей — это добротный русский писатель» — так, или примерно так, высказал свою полутрезвую мысль Александр Куприн.

Стряхнув с себя прах племенных предубеждений, выскажу несколько непривычное соображение, лишь перефразируя великорусского беллетриста:

«Любой грамотный человек — это в потенциале добротный писатель».

И не говорите мне, что для этого нужно родиться с талантом, было бы неплохо, но не обязательно. И ум, и интеллект для этой цели тоже необязательные аксессуары. Жизнь Швейка, его крепкий от пуза и задницы взгляд на жизнь не менее занимательны, чем знакомый многим лишь из литературы мир кабинетного ученого.

Писательство не врожденная черта, вряд ли и через тысячу лет удастся с точностью назвать номер гена, виноватого в этом. Страсть к перу и бумаге скорее болезнь, определяющая судьбу. Об этом высказались уже все, от Веллера до Бродского, я не поленюсь повториться. И не думайте, что можно человека отогнать от письменного стола одним грозным окриком «Графоман!».

Как игрок к рулетке, он будет возвращаться туда снова и снова, испытывая страсти не меньшие, чем иные досточтимые мэтры. Чувства игрока не определяются величиной выигрыша, а вот проигрыша — точно. В проигрыше сама драма и есть!

Да и с удачливыми писателями не все чисто. Лев Толстой кричал: «Графоман!» на самого Шекспира. А Достоевский, тот и вовсе не литератор, хоть и жил литературным трудом. Монотонность, газетность его стиля общеизвестна, патетика, худший враг литератора, — прорывается повсеместно. Зато в его публицистике, в Дневнике Писателя этой литературности — избыток.

Список великих графоманов может оказаться неожиданно длинным.

Там непременно осядет и плодовитейший Александр Солженицын, да и сам Лев Николаевич.

В конечном счете, писатель ждет многого от читателя. Писать в стол — худшая из болезней. Да, рукописи действительно не горят, но только потому, что они истлевают. Они истлевают в темноте стола, как тело, преданное земле. Из них уходит их душа — время. Без читателя даже самый выдающийся труд — пустой звук, свиток в стране мертвых.

Читатель любопытен и обожает сплетни. Как живой и озорной школьник, он не терпит только одного — нравочений.

«Не думайте, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества» — писал М.Ю. Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени», приковавшему к себе внимание немедленно, сразу и навсегда.

Кстати, о Лермонтове.

Как-то два моих приятеля жестоко подшутили над постоянным посетителем воскресного книжного базарчика,

школьным учителем словесности, одним из немногих мужчин, подвизавшихся на этой ниве. Учитель был нищ, как и большинство его коллег.

Это было время пустых полок в книжных магазинах, обнажившихся даже в лавке букиниста. Но базар процветал. Правда, цены на нем крутились заоблачные. Там можно было найти все, вплоть до шеститомника У. Черчилля «История второй мировой войны», изданного в переводе тиражом аж в 50 экземпляров. Такая цифра бесстыдно маячила в выходных данных солиднейшего партийного издательства. Предназначались они, эти тома, для избранных членов ЦК и высшего комсостава и были большей редкостью, чем Орден Победы. А трехтомное издание Библии с иллюстрациями Доре вообще шло чуть ли не по цене «Жигулей».

Я сам тащил на этот базарчик все заработанное на стороне, в ущерб нарядам жены и подраставшей дочери. Жена как-то в минуту откровения призналась мне, что долго подозревала меня в тайных взносах в мифическую еврейскую казну. Если бы. Пришлось с грустью поведать ей гораздо более прозаическую правду, которая, неожиданно, принесла ей облегчение.

Но вернемся к нашим баранам, т.е. к учителю, который хоть ничего и не покупал, но регулярно заглядывал в наш закуток, приткнувшийся между городским сквером с памятником лейтенанту Шмидту и общественным туалетом. Словесник оказался однолюбом, всю пыльную страсть своего сердца он отдал Лермонтову. Любой разговор он переводил на эту тему. Увидев его, богатенькие книжные жучки прятали, что поценнее подальше, знали, что он ничего не купит, только замусолит. Он принимал своеобразное участие в словесных баталиях начавшейся перестройки и нередко, загнав в угол неосторожного слушателя, с садистским сладострастием гнусавил ему элоги великого поэта.

Расправа была по-детски немилосердной.

Надергав строчек из разных стихов Михаила Юрьевича и кое-как склеив их друг с другом, шутники подсунули опус поднаторевшему в поэзии словеснику с просьбой оценить их друга, якобы начинающего стихоплета. Вердикт последовал немедленно: «Нищий язык, убогая графомания, отягощенная попыткой копировать стиль золотого века».

Узнав, что это был розыгрыш, бедный халдей сильно расстроился, несколько месяцев не появлялся, то ли переживая за классика, то ли пересматривая свое к нему отношение.

Манию, превращающую человека в невольника, прикованного цепью к столу, в то время как он мог бы проводить время наедине с природой, в лесу, на озере, ловить рыбу, охотиться на зверя или ухаживать за женщиной, я бы отделил от другой мании, злокачественной, но иногда проявляющейся сходным образом:

Как грань тонка меж тем и этим
Меж тем, что есть и чего нет,
Но ровен пыл на этом свете
Оставить хоть какой-то след —

Любым путем, совсем не святым.
Пятная память по себе,
Сонмы иуд и геростратов
По грешной шествуют земле.

Кстати, Платон, самый выдающийся графоман древности, если извлечь изначальное значение этого термина, оставил нам, слава богу, с десятков томов, в отличие от его великого современника Сократа, не имевшего ни охоты, ни времени мараить бумагу. Среди обилия его, т.е. Платона, глубокомысленных высказываний есть удивительное

замечание: «Кто без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он, благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых». Не мудрено, ведь «мания» — это одно из значений слова «неистовство». Перечитав написанное, я подумал, что в приводимых размышлениях явно не достает цитат, учитывая серьезность вопроса. Поэтому решил добавить еще высказывание поэта Федора Тютчева, которого из-за его приверженности к краткости никак нельзя заподозрить в графомании: «Мысль изреченная — есть ложь».

Тем более что эта парадоксальная сентенция позволяет трактовать все ранее изложенное с точностью до наоборот.

ЦИРКУЛЯЦИЯ

Говорят, что евреи — это ось мировой истории. Кто говорит? Многие. Говорят сами евреи в своих священных книгах. Говорят их ненавистники, которые ни о чем другом и думать не могут. Говорят современные философы, еще не запуганные до смерти политкорректностью. Говорят писатели и публицисты, от самых известных и популярных до никому неизвестных, но уже с жаром неопитов нацепивших ермолку даже на Пушкина и Лермонтова.

Но, если есть ось истории, значит, есть и некий ее сущностный вращательный процесс. Так сказать круговорот евреев в природе. От Моисея к Христу, к Магомету, к Марксу и обратно. Циркуляция, вечный двигатель, столь же непостижимый, как закрученный однажды и навсегда электрон.

Предвоенный год для девушки Зины был очень насыщенным. Она вышла замуж и поступила в Ростовский

мединститут. Все вышло как-то органично и само собой. Мужа она отыскала можно сказать в гаражной яме. Сосед, водитель шикарной черной эмки, спортсмен и ворошиловский стрелок по дороге в клуб железнодорожников, как-то завез ее к себе на работу в автоцех, хотел, видимо, похвастаться перед приятелями своей, как он считал, ладно сбитой, начитанной девушкой. Смотрины, оказалось, были организованы преждевременно. Пока она стояла, тревожно косясь на лужицы грязного машинного масла, боясь пошевелиться — ее, патологическую чистюлю буквально бросало в дрожь от вида разбросанных там и сям лоснящихся запчастей — откуда-то из-под днища старого, обшарпанного автобуса вылез парень, невысокий, коренастый с невыразительным лицом.

Но Зину поразило его вид — в этом царстве грязи, среди людей в промасленных комбинезонах, с лицами, словно покрытыми боевым окрасом — ни одного пятнышка, за исключением ладошек, которые парень тщательно, с мылом отмывал несколько минут, прежде, чем подойти, познакомиться. В этом было какое-то тихое, основательное мужество и оно пришлось Зине по душе. На крутых жизненных поворотах ее всегда отличали способность совмещать почти звериную женскую интуицию, с тщательным, безупречным расчетом и непреклонностью в достижении цели. Ни колебания, ни сомнения ей были несвойственны. Так что через два месяца они с тем аккуратистом пошли в ЗАГС. Тем же летом она подала документы в мединститут, ее свояк, муж сводной сестры там быстро делал научную карьеру на кафедре, так что все выглядело как семейное дело.

Молодой супруг ее утром 22-го июня собрал чемоданчик и ушел в военкомат, не дожидаясь повестки — водители состояли на особом учете. Вернулся он в 45-м в капитанских погонах и с тяжелой черепной контузией.

Военные годы выпали суровые. На излете осени 41-го Зина родила девочку, но институт не бросила. Немцы рвались к Ростову, слава богу, не дошли. Было голодно и холодно. Хорошо, что отец-покойник успел своими руками сложить дом с добротной, чуть не в полхаты, русской печкой. При нем садик, огородик, это спасало. Институт Зина закончила в 46-м, с отличием. Открывались перспективы, но на руках был ребенок и муж-полуинвалид, а за окном послевоенная разруха. От греха подальше она подалась в сельские лекари. Через пару лет все устаканилось. Пришел достаток и уверенность. Она уже могла себе кое-что позволить. Зина выходила, поставила на ноги мужа и позволила себе еще одного ребенка — мальчика. А потом они перебрались в приморский курортный городок. Муж стал учительствовать, а Зина резво взбираться по карьерной лестнице. Специалистов катастрофически не хватало, а у нее еще был характер и бойцовский опыт ростовских пригородов, сделавших этот город папой всего криминального мира. Между тем ее девочка выросла. Папа, вспомнив несколько особо приятных месяцев, проведенных им после ранения во Львове, о чем история сильно не распространяется, убедил дочку искать там свою альма-матер. Лучше бы он этого не делал. Летом после второго курса Политеха дочка приехала домой рожать. Муж ее был еврей — сокурсник. Пришлось новоиспеченному деду, как младшему по званию, растить внука, молодым еще предстояло три года грызть гранит науки. Зине было не до того. Она решала глобальные городские проблемы. Между тем ее бутуз, зачатый и выпестованный на тучных казачьих просторах в первые послевоенные годы, тоже заметно подрос. Он выучился в ростовской мореходке, сплавал на «Товарище» вокруг света, прошелся пару раз капитаном малотоннажки в сопредельные страны, избавился навсегда от мальчишеского романтизма, связанного с морем и

бросил якорь в местном порту, в конторе по страховке иностранных судов и грузов. Там в порту его поджидала судьба по имени Ильнара. Ее семья была из Андижана, мать так и не смогла освоить русский, о себе говорила в мужском роде и всегда тщательно следила за субординацией по возрастному цензу, даже за столом все должны были рассаживаться по одному ей понятному порядку.

Ее муж не выдержал ее непреклонного мусульманского домостроя и сиганул как-то с четвертого этажа в лестничный пролет с петлей на шее. У Ильнары Хусаиновны была гораздо более крепкая закваска. В восемнадцать лет она приехала из Андижана в Одессу поступать в Высшую Мореходку. У адмирала, начальника училища отвисла челюсть. Такого еще в истории училища не было. Какая-то кнопка, метр двадцать на шпильках из каких-то аральских степей и в его просоленной на всех морских ветрах сугубо мужской конторе. Но адмирал не на ту напал. Оказывается, ни в каких прошитых и пропечатанных документах дискриминация юбок не была узаконена. Все же и так знают, что женщина на судне — плохая примета. Это потом, задним числом, этот недочет исправили. А тогда бросились рыться в бумагах, искали прецедент, доказывали, что в училище и туалетов-то женских нет и женские койки в экипажах не предусмотрены. Но все было тщетно. Ильнара Хусаиновна грозилась страсбургским судом, комитетом ООН по правам человека, честно предупреждала, что о мужском шовинисте, поселившемся в самом свободном городе мира, узнает вся мировая общественность. Наконец она написала официальную жалобу министру морского флота. Министр оказался человеком более дальновидным, чем бравадный адмирал. Он понимал, что курьез можно пережить, а скандал чреват, ибо в результате непременно будут искать крайних. Короче, девушка получила диплом технолога и навсегда вошла в историю российского море-

плавания. В море Ильнара так никогда и не вышла. И это к лучшему, потому что ее укачивало даже во время штиля. Но большую часть жизни она провела все-таки где-то рядом, что говорит о врожденной неистребимой тяге. Возможно, в прошлой жизни она была матросом в эскадре Колумба или Магеллана.

Когда первое знакомство в порту наших героев перешло в стадию стойких семейных отношений, выяснилась еще одна деталь, мимо которой в пылу морских баталий проскочило обескураженное руководство училища. Милая девочка со столь твердым характером, оказывается, страдала врожденным пороком сердца и была все время на учете у самого Амосова, к которому могла лично звонить в любое время суток. Чем она и воспользовалась, когда пришло время рожать. Амосов сам в Киеве и принимал ребенка. Девочка родилась, чудо как хороша, но маме ее с больным от рождения сердцем внуков увидеть было не дано. Она тихо угасла, когда девочка оканчивала школу. Еще через десять лет, уже будучи модным женским мастером, дочь Ильнары познакомилась по интернету с евреем, выходцем из Одессы, выпускником Йельского университета с первой ученой степенью и уехала в Америку. Вечный двигатель, скрипнув шестеренками сделал очередную оборот.

ЭКСТРАСЕНСЫ

Пожалуй, никто из выдающихся инженеров нового времени не вызывает столь жгучего интереса, как Николай Тесла. Он пришел ниоткуда и ушел в никуда. В его разработках явственно ощущается запах серы, который неуловимо примешивается к озону, сопровождающему мощные разряды его необычного интеллекта. Его разработки до сих пор вызывают оторопь своим грандиозным замехом. А

его утверждение о том, что он знает, как передавать электроэнергию по гигантскому конденсатору между небом и землей, так и осталось неразгаданной тайной, недостижимой мечтой энергетиков. Похоже, Тесла утащил эту тайну с собой в могилу, как в свое время подобным образом поступил Леонардо да Винчи, утаив от человечества секрет его возможного существования под водой. Последнее особо волнительно в свете утверждений физиологов, что анатомия человека с головой выдает первородность для него водной стихии.

Но есть в работах Теслы и еще кое-что, явно за пределами доступного всем чувственного опыта. Не зря люди, оказавшись в поле воздействия его Лаборатории, расположенной на вершине горы над Колорадо-Спрингс, жаловались на некие невидимые силы, проникающие сквозь одежду и кожу в их внутренний мир, вызывая странные эмоции и настроения. Эти силы они связывали с огнем из пекла, и однажды он таки испепелил здание на холме и навсегда заставил замолчать того, кто пытался его приручить.

И был момент, когда мне показалось, что я слегка приоткрыл завесу над этой тайной.

Все началось абсолютно прозаически. Но, как говорится, случай идет навстречу тому, кто его ищет. Я тогда еще только осваивался в новой для меня роли руководителя Лаборатории, но уже знал, что кроме занятий промышленной автоматикой, мне придется оказывать и некоторые внеслужебные «услуги». Это было неизбежное зло. Так что, когда мой шеф Гутман — породистый, вальяжный еврей, официально Главный Конструктор, а на деле скрытый лентяй, сибарит и недурной музыкант, попросил помочь «нужному человечку», я ничего, кроме досады не испытал. У меня и в мыслях не было, что это судьба постучалась в дверь моего неказистого кабинета, возникнув в образе оплывшего, здоровенного мужика, известного в

городе психиатра и «терапевта» Резника. Я кое-что слышал об этом человеке, намного опередившем свое время тем, что он еще в застойные 70-е в открытую занимался запретной частной практикой. Он баловался гипнозом, кодировал хронических пьяниц и оказывал иные экзотические услуги, естественно, небескорыстно, за что его даже выгоняли из города, но ненадолго и недалеко — в соседнее село, потому как пользовал он городскую головку и не только знал некие интимные секреты, но и был зачастую их последней надеждой. Резник поведал мне грустную историю, с ним приключившуюся, почти катастрофу, ибо в одночасье иссяк едва ли не главный родничок его неправедных доходов. Этот живой ключ из рощи богини Маммоны открылся ему в виде портативного аппарата Д'Арсанваля, адепта французского магнетизма из совсем другой эпохи, который он откопал лет десять тому на одесской барахолке за «шумашедшие» деньги. Мне был продемонстрирован потрепанный деревянный чемоданчик, явно довоенного производства какой-то немецкой фирмы с длинным шнуром в обрывках хлопчатобумажной оплетки и набором стеклянных трубок — электродов. С помощью этого нехитрого с виду устройства Резник выводил бородавки, мозоли, лечил радикулит, и, главное, спасал от ранней импотенции местных бонвиванов, ибо, ввиду чрезвычайной доступности виноградного продукта, эта беда настигала их годам к тридцати.

«Три четверти мужиков здесь полуимпотенты, но не подозревают об этом», — страстным шепотом открыл мне эскулап секрет нашего тихого курортного городка.

Я несколько приуныл, ибо, во-первых, уже стремительно приближался к критическому возрасту, а, во-вторых, сам полным ртом потреблял «продукт». И из желтых бочонков, стоящих на каждом углу — по 18 копеек за стакан, и из обычных бутылок молдавского разлива типа «флоря-

ски» или «фетяски» под копеечный «шоколадный» батончик из сои, и из трехлитровых банок с «варехой», купленной на косяке в рыбацкой хате через дорогу от пансионата по рублю за литр, и из двухсотлитровых бочек из подвала моего приятеля Толика Суркова, держащего на огороде виноградник из 400 кустов «плавая», под закуску из «копчушки» — отсвечивающей тусклым золотом копченой хамсы домашнего засола.

Так что я загорелся желанием помочь, подогретый полновесной бутылкой трехзвездочного армянского коньяка. Дело казалось простым, как мычание. Сразу выяснилось, что накрылась высоковольтная катушка, двоюродная сестра бобины, непременной части всех самодвижущихся агрегатов на бензиновом ходу. На любой автобазе Резнику набросали бы таких целый мешок, только заикнись. И он таки заикался. Но... простой уже длился несколько месяцев, образовав дыру в бюджете и создав ощутимую угрозу местной сексуальной экологии. С наскаку оживить этот древний агрегат никак не получалось. То есть он оживал, но неохотно, вяло и на короткое время. Тугой, вибрирующий червячок высоковольтного разряда со змеиным шипением наполнял помещение запахом соснового леса и за несколько часов как будто высасывал из катушки всю ее мощь, обрекая на угасание. Как-то ненавязчиво запахло проблемой.

Перепробовав все, что было под рукой и то, что было выужено из заветных загашников, и то, что было выменено на спирт у вертолетчиков, я наконец потребовал у эскулапа предъявить сгоревший оригинал. Слава богу, он его не успел выбросить на помойку. Моим глазам предстало нечто из электрической древности, основательное и добротное, словно свиток, скрученный из бесчисленных слоев промасленной бумаги и картона. Что-то дрогнуло у меня внутри, и память вынесла на поверхность: «Катушка Тесла!»

Да, эта штука, пожалуй, ничем не отличалась от тех, что держал в своих руках Маг черной горы Пайкс-Пик.

Это таки была знаменитая его Катушка, с помощью которой он с легкостью получал сотни, тысячи, миллионы вольт напряжения.

Я почувствовал руку провидения и решил больше не искушать судьбу, а максимально приблизиться к тому, что имел в своем распоряжении сам Мастер в начале прошлого века. И дело сразу же пошло. Проявив некоторое «хитроумие» (что соответствует изначальному смыслу слова «инженер») в аранжировке замысла величайшего электрика, я заменил интерьер, добавив из арсенала самых современных материалов, но оставил без изменения внешнюю архитектуру, так что изюминка оказалась замурованной внутри и скопировать ее сколь-либо удачно так и не удалось появившимся впоследствии завистникам и конкурентам.

Рука Теслы, возникнув один раз, продолжала упорно, с какой-то мистической настойчивостью, проявляться в моей жизни. Казалось бы, незначительный, почти бытовой эпизод оказался судьбоносным. Возрожденная Катушка стала талисманом, фирменным знаком Лаборатории и размножилась в разнообразной аппаратуре, расползающейся по стране, проявляя невиданную живучесть. Почти сразу же после эпопеи с Резником приоткрылись целые направления, где она нашла удачное и неожиданное применение.

Об одном из них, нетрадиционном, как бы сейчас скажали, и пойдет речь.

Я от рождения человек трезвомыслящий до зевоты и в инженерной практике всегда придерживался принципа: «Чудес в технике не бывает». Более того, предпочитая работать максимально независимо и самостоятельно, не раз имел возможность убедиться, что успешным может быть

только такое дело, результат которого четко просчитывается без учета потусторонних сил. Но жизнь, как будто иронизируя, подбрасывала мне явления совсем иного рода, в которых причинно-следственные связи находились не в сфере логики и расчета, а в области духа или нравственности.

Первый такой опыт я имел в раннем детстве, лет пяти. Мы жили тогда в Расторгуево, под Москвой. Шла война. Ту зиму я провел дома, перманентно в постельном режиме. Болячки приносила из школы моя сестра. Они липли ко мне, как будто торопились продемонстрировать весь свой богатый арсенал. После одного из таких глубоких заплывов в стиле скарлатины, мой левый глаз неожиданно закрыло бельмом. Родные сильно переживали, но, скорей всего, при общем сочувствии меня легко бы тогда занесли в общий мартиролог бесчисленных жертв войны: безногих, безруких, безглазых, примелькавшихся уже, ставших фоном быта, но меня заметила соседка, сердобольная старушка из соседнего двора. Зазвав сестру, втайне от родителей, она велела ей надеть мне на ноги носки из козьей шерсти с начесом, а сверху валенки.

— Зачем валенки, у нас печь хорошо греет? — удивилась сестра.

— Непременно валенки, да теплые, мягкие, и еще на руку, на палец указательный сделать и носить, не снимая, колечко из шерсти.

Мать бы, наверное, над всем этим посмеялась, сказала бы предрассудки мол, бабушкины сказки, байки деревенские от бескультурья, на том бы дело и кончилось. Но сестра была из другого теста, натура артистическая, слушала старушку сердцем, не головой, оттого и сделала все, как было сказано, никому не открываясь. За что и благодарен я ей по сю пору, ибо на второй день зачесался у меня глаз немыслимо, хватился я за него, а под рукой волосок торчит, я его и потянул, все бельмо и раскрутилось, как спираль, и

увидел я снова белый свет, и удивился безмерно. Только в руке у меня нитка осталась голубенькая, мутная, больше метра длиной. Это было чудо, и я о том не забываю.

В 70-е годы самая читающая публика в мире запала на книги ленинградского психиатра Владимира Леви.

Привели меня тогда пути-дорожки в некую катакомбную группу в Свердловске.

Увлекались они там сильно Блаватской, йогой, травными диетами и прочей чертовщиной. Каждый второй числил себя экстрасенсом, практиковали они мыследействие, т.е. пытались двигать предметы усилием воли, общались на расстоянии, читали скрытые мысли и лечили нелечимое... Им верили. Одну даму, из местных «гуру», поносили в центральной прессе, обвиняя в незаконной медицинской практике с целью наживы. Встречал я эту удивительную женщину, помогавшую всем бескорыстно, из принципа, которая вела подчеркнуто аскетический образ жизни, отказавшись от всего материального, вплоть до того, что и мебель из дома выставила. Она подбирала на улице каких-то великовозрастных бродяжек, сырых и неухоженных и вынынчивала их, не жалея ни времени, ни скудных средств своих, как другие выхаживают брошенных на произвол судьбы зверюшек. Некоторые из них становились ее последователями и учениками. В том кругу меня по классификации Леви определили, как чистого «циклоида», т.е. природно-уравновешенного, без каких-либо психических заскоков, от которого и ждать ничего не приходилось. Тем не менее, в общении с этими людьми и наблюдая некоторые бесспорные феномены, пришел я к твердому убеждению, что наш чувственный опыт ограничен и не вполне адекватен явлениям окружающего мира. Вероятно, природа, дав нам пять органов чувств, кое-что утаила. Да и те, что дала, ограничила чрезвычайно, например, обоняние или диапазон частот, разли-

чаемых нашим ухом, или спектр доступных глазу световых волн. Видно, был в этом глубокий смысл, в ограждении нас от излишней информации, в которой может скрываться некий ужас, способный лишить воли к жизни. Достаточно уж того, что наделенный сознанием человек, единственный из живых существ знает о неизбежности смерти, положив это свое знание в основание всех религиозных доктрин. Непредсказуемые, неизбежные флуктуации индивидуальных возможностей вокруг нормы воспринимаются окружающими, как феномен, как уродство, чудо, или гениальность, но они были, есть и будут.

Как-то на квартире у своего брата в Москве я познакомился с Розой Кулешовой. Ее как раз вызвали для очередного обследования — официальный вульгарный материализм российского разлива не мог примириться с ее противоречащими всем догмам способностями. Туда, на квартиру набилось десятка полтора интеллектуалов — физиков и лириков, инженеров, университетских педагогов, всем было любопытно. Роза была в ударе. Я ожидал встретить вундеркинда, необычного ребенка, а передо мной предстала мужиковатая баба в черном вполне зрелых лет, на четвертом десятке, плотная, коренастая, с вислым носом картошкой. Она вполне вписалась бы в любую деревенскую улицу средней полосы или своего родного Урала. Роза казалась мне крайне возбужденной, как с хорошего бодуна, но бог свидетель, я сидел рядом с ней и видел, что к налитой рюмке она даже не притронулась.

За столом она рассказала, что о своих удивительных способностях узнала случайно, оказавшись на больничной койке после гриппа. Она некоторое время тому поработала нянечкой в школе для слепых и видела, как там читают руками наощупь специальные книги. Решив, по наивности (ей тогда было 15 лет), что и в обычных книгах буквы, напечатанные краской должны несколько выступать над по-

верхостью бумажных листов, а значит, при определенном навыке их можно научиться различать, она стала упорно экспериментировать и после нескольких попыток добилась таки успеха. Ей было невдомек, что жидкая типографская краска легко впитывается в бумагу, тем и отличается от прочих, так что прощупать выступы букв никак невозможно. Тем не менее, она постепенно научилась распознавать все буквы и читать несложные, четко написанные тексты. Увидав, что Роза читает вслух с повязкой на глазах, ее товарки по палате бросились врассыпную с криками, что у них объявилась колдунья. Несколько лет с ней практиковали заинтересовавшиеся местные эскулапы, ознакомив ее с начатками анатомии и дав представление о внутренних органах. Потом получившая известность через СМИ Роза Кулешова выступала в цирке, пока ее не подловили на спекуляции вещами из Восточной Европы и не обвинили в махинаторстве. Ей запретили тогда всякую самостоятельную практику, да и у врачей к ней интерес поубавился. Тем не менее, ее необычные способности не исчезли. И она демонстрировала всем присутствующим неоспоримый факт чтения текстов руками, по крайней мере, она четко различала все буквы в красном и белом свете, но теряла эту способность в лучах голубого и не «видела» в темноте. Она не чужда была некоторой показухи и склонности к трюкам, видимо освоенным во время гастролей с цирком. Например, она утверждала, что может «читать» и ягодицами и предплечьем.

Последнее соответствовало действительности. А вот насчет ягодиц ясновидица лукавила — читала она все-таки руками, когда естественным жестом оправляла юбку, прежде чем усестся на подготовленный текст. Но ее возможности как бы просвечивать внутренние органы повергали в шок. Она могла обнаружить следы переломов костей, безошибочно называла перенесенные в прошлом

болезни, «видела» пораженные ткани (естественно при отсутствии внешних признаков), она могла заявить прямо в лоб о наличии опухоли, не утруждая себя ни дипломатией, ни изысками психологии. И что удивительней всего, она прогнозировала проблемы в отдаленном будущем, индивидуально и конкретно, хотя и с какой-то долей сомнения в голосе, как будто она несла за это некую вину. По прошествии многих лет с грустью вынужден констатировать, что ее несколько туманные прогнозы были безупречны. Позже один из научных авторитетов, пытаясь хоть как-то объяснить феномен Розы Кулешовой, предположил, что она просто телепатически считывала информацию с объекта, озвучивая то, что каждый знает или подозревает в отношении себя. Правда это «просто» тоже требует объяснения. Мы не могли стать объектом массового гипноза. В сложившихся обстоятельствах она сама была подопытным кроликом, а скепсис у окружающих был слишком велик, чтобы их легко можно было провести. Я до сих пор считаю, что видел то, что видел и слышал то, что слышал. И от этого никуда не деться.

Через некоторое время Роза вернулась обратно на Урал и вскоре трагически погибла. Во время приступа эпилепсии, которые у нее изредка случались, она упала, сильно ударилась головой и скоропостижно скончалась. При вскрытии в ее мозгу была обнаружена обширная опухоль, которую считают следствием того заболевания гриппом, что уложил ее на больничную койку в 15 лет.

Так что к встрече с Экстрасенсом я был подготовлен. Познакомил нас Сережа, дорогой шуряк, брат жены, во дворе родительского дома, где он с бывшим приятелем предавался ностальгическим воспоминаниям о буйных днях их совместной юности. Сохранилась еще тяжелая чугунная калитка, сняв которую с петель они сражались здесь с подворотной пьянью. Сереже тогда располосовали

горло, и он едва остался в живых, но и мужикам тем крепко досталось. Шуряк мой потом окончил Ростовскую Мореходку, недолго поплавал и осел в местном порту, а приятель его, Борис Захаров, стал военным врачом, в звании подполковника вышел в отставку и открыл кабинет нетрадиционной медицины в помещении рядом с Горотделом милиции. Очевидно, для удобства общения. Он слыл местной достопримечательностью, так как оказывал органам некоторые специфические услуги. Например, по фотографии мог с большой дозой вероятности дать заключение жив ли данный субъект, или в каком месте нужно искать его тело. Поскольку было несколько точных попаданий (особенно с отысканием трупов), авторитет Захарова вырос до небес, и его привлекали в сложных случаях как теневого эксперта. Мы разговорились и быстро сошлись.

Моя фамилия нередко мелькала в прессе, он знал, что я увлекаюсь изобретательством и как раз искал человека для реализации своих нетривиальных идей. Свои необычные качества Борис проявил, благодаря специфике армейской службы, одним из атрибутов которой было обязательное посещение политзанятий. Слушая бесконечные, повторяющиеся, давно потерявшие смысл, дежурные фразы он научился отключать сознание, находясь как бы в трансе с открытыми глазами. И оказалось, что в этом состоянии происходят странные вещи, как бы открываются новые сверхчувственные каналы. Во всяком случае, он на уровне подсознания фиксировал у коллег наличие биополя и мог нарисовать его контуры. При этом в некоторых случаях просматривались разрывы полей, как возможное свидетельство хронических отклонений. Борис полагал в то время, что пробой биополя и является причиной хронического недомогания, и, наоборот, восстановление поля должно автоматически вести к излечению. Он искал возможность и способ «штопать» дыры в биополе, которых никто, кроме него самого не видел.

Задача показалась мне очень интересной и не безнадежной. Но больше всего меня заинтересовал сам Боря и то, насколько верны его декларации. Поэтому я заглянул к нему в кабинет посмотреть на его работу с клиентами. Я увидел, как он входит в контакт. Обследуемый (большая часть его посетителей были женщины — у них скепсиса меньше, да и шестое чувство им не чуждо) становился к нему спиной, Борис сосредотачивался и начинал делать ритмичные движения руками до тех пор, пока тот не начинал раскачиваться в такт с движением рук. Я был свидетелем необычных явлений, которые постепенно начинали восприниматься, как заурядные. На моих глазах экстрасенс воспроизводил контуры того, что он называл «биополем» и корректировал его наложением рук. Правда, это требовало чрезвычайного напряжения и отнимало массу энергии. Иначе результата добиться было невозможно. Эффект, видимо, был, люди шли к нему толпами, записываясь заранее в длинную очередь. Справедливости ради надо заметить, что он еще был хорошим мануальщиком и прекрасно владел техникой массажа. И все же его специфические способности также имели спрос. Как-то одна из наших сотрудниц вдруг стала мне рассказывать, что с ней произошла странная история:

— Я стояла на базарчике и продавала цветы с дачи. Мучилась страшно, колени распухли, едва стою. Задолбал артрит, сил нет, ни о чем другом думать не могу. Подходит какой-то мужчина прилично одетый, пошутил, купил букет и улыбнулся на прощание. Вдруг возвращается и говорит: «Я вижу, вы очень страдаете, у вас болят ноги и руки. Не удивляйтесь, я доктор, приходите-ка ко мне на прием, я приму вас без очереди. Я вам помогу, только не тяните с этим делом». Я была у него два раза. Боли как рукой сняло. Но он сказал, что еще ходить надо, и долго. Не знаю чего и делать.

Я уже догадывался, как зовут ее доброго волшебника. Если у меня и были какие-то сомнения в отношении экстрасенса, то только в отношении пользы и долговременности такого лечения. Ибо эффект воздействия исчезал через дня два-три. Надо было научиться штопать это «поле» более капитально. Задача казалась из области: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Я не видел тех «полей», не ощущал их, не был способен на них воздействовать. Но кое-что в заглавнике у меня было. Занимаясь время от времени медицинскими приборами — в электронной лаборатории это неизбежно, — я накопил определенный опыт и арсенал из самодельной медаппаратуры самого разного предназначения. Одним из них был звуковой облучатель для снятия болевого синдрома из-за спазма мочеочника, который происходит как реакция на движение по нему камня. Боль эта, как известно, острая, мучительная, почти непереносимая. А камни выходят долго, иногда этот процесс затягивается на месяцы. При удачном раскладе прибор снимал боль через несколько минут. Механизм этого воздействия был не известен, но факт остается фактом, почка странным образом реагировала на сигнал определенной частоты, свободно проникающий сквозь мышечные ткани и давала команду на возобновление работы мочеочника, и приучала мочеочник не реагировать на инородное тело.

Это было уже что-то. У меня возникла идея прочистки «каналов», идущих вдоль человеческого тела, на которых расположены все известные акупунктурные точки. И китайские медики, и индийские Йоги полагают, что по этим каналам, как по рекам, перетекает энергия жизни. Казалось очевидным, что если существует виртуальное «биополе», оно непременно связано с виртуальными «каналами». Также очевидной была и аналогия — направить сигнал вдоль канала, так же, как направляли его к почке.

Но как войти в канал? И тут я вспомнил о Резнике. Он ведь своим Д'Арсанвалем раздражал не что иное, как акупунктурные точки. Нужно только правильно промодулировать высоковольтный разряд. Катушка Теслы в качестве экстрасенса — это было круто. Если только Боря прав, то открывается фантастическая возможность целенаправленной тотальной чистки организма, говорилось даже о возвращении к первоначальному состоянию «поля», с которым человек приходит в этот мир. Правда здесь, кроме аппаратуры нужен еще третий виртуальный элемент — экстрасенс, но это уже, как говорится, детали.

Через пару недель все было готово к испытаниям. В качестве подопытного кролика пригласили того же Сережу. У него постоянно болела шея — все тот же вездесущий артрит. В этом месте Борина рука рисовала огромный вздувшийся пузырь — разрыв поля уходил в бесконечность, в космос. Продольный меридиан — канал движения жизни, начинался на плече и заканчивался на ступне. Там мы и решили воздействовать высоковольтным сигналом. Эффект превзошел все ожидания. Как только шипящий, огненный червячок коснулся заранее отмеченной фломастером точки на ноге, Сережа тихо охнул. Ему показалось, что его прошило насквозь вдоль всего тела, отозвавшись прострелом в плечо, как будто пространство между двумя точками замкнулось. Электрик бы сказал — короткое замыкание. Да оно таковым и было. Чистка канала шла, вне всякого сомнения. И так называемое «поле» восстанавливалось в первородном виде. Вот только проблема из шейных позвонков не уходила. Зато с помощью аппарата боль можно было перемещать в любое место, хоть в пятку. Этот эффект был для нас совершенно непредсказуемым. В памяти тут же возникла другая ситуация, как за несколько лет до этого я баловался с прибором для электропунктуры. Схему мне подарили ребята из Новоси-

бирского Академгородка не помню уже за какие такие услуги. Их много приезжало разных на наши Юга. Я тогда обзавелся дефицитной литературой, малым и большим Атласами по Акупунктуре и вел себя исключительно осторожно, зная уже, что китайцы идут к практике в этом деле, обучаясь чуть ли не двадцать лет. И тем не менее едва не влетел в историю, о чем сейчас, через много лет вспоминаю с содроганием. Тогда обратилась ко мне молодая женщина, умоляя помочь с помощью этого, как мне казалось, невинного аппарата. Кто-то ее убедил, что есть такая точка на теле женщины, воздействуя на которую иглой или электрическим импульсом можно вызвать искусственный выкидыш. Я, конечно, отбивался, как мог, но ее настойчивость отчаяние были убедительнее. В своих талмудах я никаких указаний на этот счет не находил, легкий зондаж у местных гинекологов тоже вызвал недоумение, не более. И я решил, что над женщиной просто подшутили и решил ей это доказать, чтобы она не теряла ценного времени. По странному стечению обстоятельств ее заветная точка, которая некоторое время позволяла ей легкомысленно забывать об осторожности, тоже была на ноге, на пятке. Атлас утверждал, что ничего в ней, в этой точке, сверхординарного нет, так заурядная точечка, может быть использована как общеукрепляющая в режиме возбуждения. Чем я и решил руководствоваться. Похоже, мы оба были уже настроены совершенно благодушно, не ожидали никакого эффекта и даже не задумывались о том, а вдруг бы действительно случилось обещанное.

Но случилось другое. Мы еще продолжали взаимно отпускать шуточки, когда я щелкнул тумблером выключателя и коснулся электродом нежной женской кожи. Женщина вдруг замолчала, как-то странно выгнулась и откинулась назад.

Я с ужасом понял, что она потеряла сознание или, что еще хуже. Глаза ее были закрыты, дыхание не ощущалось, пульс не прощупывался. Я боялся тронуть ее с места и не знал, что делать. Я притащил зеркало и убедился, что она все-таки дышит. Я был в тяжком раздумье. Какие бы ни были мои побуждения, мне никак не улыбалось, чтобы эта история получила огласку. В конце концов я решился вызвать скорую. И только потянулся к телефону, как она пришла в себя. То, что она мне рассказала, не укладывается в рамки привычных представлений. По ее рассказу, она вышла из тела и все это время находилась в углу под потолком, наблюдая себя, как неживую. Она все видела, все слышала, она рассказала мне все, что я делал и говорил, хотя я отчетливо помню, что глаза ее все время были плотно закрыты. Я как раз и ждал, что они откроются. Обморок длился минут 15–20. Объяснить я ничего никогда не пытался. Практиковать акупунктуру я сразу же прекратил, а сам аппарат подарил через некоторое время городскому венерологу.

Видимо, нечто подобное испытал в тот момент и экстрасенс Боря Захаров. Теперь-то ответственность лежала на нем. На этом наши эксперименты закончились, и человечество потеряло шанс при желании возвращаться к своим чистым истокам. Слишком много было вопросов. И самый главный — верен ли постулат, что недомогание есть следствие искажения биополя. А может быть, наоборот. Может быть, именно поле искажается, чтобы продолжалась жизнь.

ПСИХ

С Юрченко я познакомился на наших ночных бдениях под книжным магазином. Эти очереди выстраивались с вечера перед субботним выходом «Книжного обозрения» и иногда продолжались несколько «шаббатных» ночей

подряд. Так что времени было более чем достаточно. Юрченко был одним из самых активных сидельцев со стажем. Его колоритная фигура — выше среднего роста, с вислым хохляцким носом на тонко выделанном лице, кряжистый, с длинными ухватистыми руками, в своей неизменной шапке-финке с замысловатым козырьком, всегда сдержанно-насмешливый, со следами непрерывной внутренней умственной работы — придавала невольную значимость этим нашим странным сборищам. Познакомившись, мы уже много времени проводили в интенсивных разговорах, глядь, ночи как и не бывало. Юрченко был набит самой разнообразной информацией и стихами. Выяснив, что у меня к ним есть тяга, он выливал на меня ушаты поэтической макулатуры советского разлива. Он декламировал любимого им Григория Поженяна:

Я старомоден, как ботфорт
На палубе ракетноносца...

Собственно, Юрченко в нашем городе не жил. Он обитал в большом селе Николаевке, километрах в двадцати от метрополии. Но на неделе его частенько можно было встретить в любом из книжных магазинов, где скупал все новые поступления пачками. Говорили, что дома он тоже их держит в пачках, упакованных в картонные коробки, чуть ли не в подвале. Останавливался он обычно у дядьки на 12 этаже многоэтажки, где на первом располагался городской ЗАГС, но сам был одинок и жил в селе с матерью. А еще его можно было увидеть на городском рынке, за прилавком, он торговал там какими-то особыми мичуринскими полосатыми грушами, дынями и ранними овощами. Собственно, это и был его источник дохода, от плодов земли приусадебного участка, который почти весь тратил на книги и который стал, в конечном счете, его личной Голгофой. Вроде бы он еще где-то числился то ли сторо-

жем, то ли пожарником. В отношении его странного образа жизни ходили самые разные слухи. Но главной версией, которой он не отрицал, было то, что чистым и светлым комсомольцем он после школы поступил на работу в некую портняжную артель и, быстро обнаружив, какие частнособственнические инстинкты руководят мастерами иголок и ниток, вступил с ними в борьбу не на жизнь, а на смерть, в результате чего был с шумом изгнан из дружного социалистического коллектива, навсегда потеряв веру в человечество и поклявшись себе ни при каких обстоятельствах не обслуживать советскую власть, и эту клятву честно сдержал. Началом его огромного по тем временам книжного сокровища, по его собственным признаниям, была некая сельская библиотека, переданная ему не нуждающимися в ней пейзажами где-то в Средней Азии в оплату за какой-то грандиозный труд, ведь он владел массой практических навыков. Допускаю, что при этом не все юридические формальности были соблюдены. Юрченко арестовали, как выяснилось позже, по доносу заведующего городским образованием, подслушавшим как-то ночью его громкие высказывания, обращенные к памятнику А.С. Пушкина по поводу его, Пушкина, нечистых на руку, власть предержащих, потомков. Органы еще тогда по инерции пытались держать все под контролем. Но официальное обвинение было почти невинным — незаконный самовольный захват колхозной земли и тунеядство. Не смущало обвинителей даже то, что одно как бы по определению противоречило другому. Захват заключался в том, что Юрченко, якобы, распахал и засадил канаву около дома, принадлежащего его матери в селе Николаевка. Как далеко простирались планы правления колхоза в отношении нескольких квадратных метров этой перекопанной вручную, с помощью лопаты, канавы осталось невыясненным, да и никого не интересовало. Что же до тунеядства, то более нелепого обвинения в отношении именно этого человека трудно бы-

ло придумать. О его трудолюбии и нечеловеческой трудоспособности ходили легенды. Не было случая, чтобы он кому-нибудь отказал в физической помощи. А силенок в нем хватило бы и на троих и даже на четверых. Тем не менее, доход с канавы, засаженной картошкой, посчитали столь значительным (поистине, невольно вспоминается библейская история о том, как Иисус пятью хлебами целую деревню накормил), что сочли необходимым сделать в доме обыск. И конфисковали всю его библиотеку, в которой обнаружилось более 15 тысяч книг, большая часть из которых не была даже распакована. Ходили слухи, что среди них были обнаружены некие библиотечные раритеты всемирного культурного значения, но на суде ничего такого не фигурировало. Из прокуратуры и партийных кабинетов шли к судье откровенные знаки посадить стихийного диссидента и надолго, но судья оказалась женщиной порядочной и в официальном обвинении не было ничего, кроме формального зафиксированного тунеядства, подтверждаемого отсутствием трудовой книжки и каких-либо других документов, свидетельствующих о следах общественно полезной деятельности. В любом случае даже такое тяжкое преступление тянуло от силы на год условно. Юрченко от адвоката отказался, он был уверен в своей правоте да и с уголовным кодексом был знаком не понаслышке (за несколько лет до описываемых событий он проходил по той же статье и суд позорно провалился). Но в этот раз все вышло иначе. В запале Юрченко заявил, что не признает ни этого суда, ни его кукловодов, что сам он за них никогда не голосовал и вообще на выборы не ходил, не ходит и ходить не собирается, а потому весь этот суд над собой считает нелегитимным. Таких и слов-то тогда не употребляли. Это был перебор. Да и судью он этим сильно раздражил. Она ведь из-за него и так чуть места не лишилась. В провинции пренебрегать желанием хозяина — себе дороже. И вот что имеет...

Юрченко получил по приговору четыре вполне законных года за оскорбление суда. Вышел он ровно через восемь лет. Четыре добавочных он схлопотал за то, что свято выполнял свою внутреннюю клятву. Он ни разу не вышел на работу и тем заслужил уважение и авторитет, особенно, у блатных.

А еще и за то, что бескорыстно и добросовестно, со знанием дела помогал им составлять всякого рода жалобы и апелляции. В тюрьме к нему приклеилось погоняло «святой». И выпустили его не за просто так. Тюремные власти относились к нему по-разному и вынуждены были считаться с его влиянием среди заключенных. А потому предложили в конце концов сделку — свободу в обмен на справку о психической неполноценности, заменив прокурорский надзор на постоянный контроль со стороны городского психиатра, что было не намного лучше. Ибо, за любое, с точки зрения властей, неадекватное поведение его могли засунуть в психлечебницу без всякого суда и следствия, по одному лишь решению эскулапа.

Ему частично вернули его книги. Юрченко не был очень рад свободе. Все никак не мог отойти. Как-то у него завелся очень странный разговор с одним из книжных фанатов, в какую рубрику на полке помещать русскоязычных авторов-евреев — то ли к русской литературе, то ли к еврейской, но при чем тогда здесь русский язык. Н-да, вечный вопрос...

Юрченко утверждал, что дед его в Николаевке владел несколькими десятками гектаров земли, и он надеялся, в конечном счете эту землю когда-нибудь вернуть. Дай бог, чтобы его мечта осуществилась, чтобы пришел на нее настоящий тороватый хозяин.

Григорий ВАХЛИС

(Иерусалим)

ХУДХУД¹

— Повезёт! — думала она на ходу — Любит-не любит — плюнет-поцелует! Полярность динамических процессов! Против-ЭДС при размыкании цепи... Должно повезти! Ведь это уже четвёртая попытка... достижение одного экстремума... неизбежно запускает гомеостаз... Господи — гладиолусы! Это же надо... на клумбе! Посмотрю потом... когда...

Дорожка пошла книзу, и она чуть не бегом выскочила на улицу. Пронеслась мимо одинокая «Победа», бледная и сверкающая, как гладиолус, и она полетела на ту сторону, к бело-синему зданию, хотя спешить было некуда — до встречи оставалось около четверти часа.

— Зайду — осмотрюсь! Приведу себя в порядок. И нечего так волноваться!

Старинная тяжкая дверь в брызгах голубой известки подалась с мелодичным скрипом, а потом неожиданно грохнула за спиной. Волшебство! Мраморная широкая лестница с медными прутьями, некогда прижимавшими ковровую дорожку. На верхней площадке, над перилами две нимфы с канделябрами в руках — фонари, правда, без колпаков, горит зачем-то одинокая лампочка. У стены козлы, на них ведро. Пахнет масляной краской и сыростью.

«Ремонт!» — подумала она, поднимаясь, оглядываясь, присматриваясь. Потолок весь в роскошной лепнине, рез-

¹ Птица Худхуд (удод) — в суфийской философии является символом и проводником духа. Запах ее несносен для невежд. То же и Духифат в древней еврейской традиции.

ные арки... Куда идти? Там, должно быть, высокие коридоры, полные гулкой тишины, таинственные сказочные пространства...

Еще несколько шагов — и... выскочил откуда-то С. Как-то сразу это поняла — он. Стоял, видно, наверху, в вестибюле. Ждал?

— Светлана Григорьевна? Это вы? Вы? Подымайтесь же! Пойдёмте! Ада вас так и описывала! Молодая-красивая! — Он как бы подхватил ее — нет, не под руку, неким своим вихрем. И голос его закружил... — Так вы Политехнический закончили? Теоретическая радиотехника? Так ведь это же прекрасно!

Поблескивал мраморный пол, отражаясь в нем бледными тенями, они плыли куда-то в глубину дворца. Полураскрытая двустворчатая дверь в громадное помещение, и тоже вся в роскошных завитушках с огромными медными ручками, а там, внутри, шкафы с книгами, с папками, какими-то древними приборами, колбами, прямо на неё из цилиндрического сосуда уставилось некое существо с искривленными ножками чудовищного мертвого цвета и вида.

— Тут, знаете ли, музей, но будет конференц-зал, — а я пока в будуаре! — засмеялся он, открывая относительно небольшую дверь в конце коридора. — В этом здании, знаете ли, был особняк. Спальни-столовые и тому подобное.

Фамилию его на табличке она не разглядела, в глаза брызнул свет из трех высоких арочных окон. Его желтый канцелярского вида стол казался нелепо игрушечным посреди просторной полукруглой комнаты.

— Садитесь же! — он схватил стул и придвинул к ней. Заходил вокруг широкими шагами, прижав руки к груди. — Да... значит, Ада о вас рассказала... и я очень рад! В принципе вы нам очень даже подходите. Не возражайте! — он махнул рукой куда-то вверх, в сторону, — сейчас у нас синтез! Слияние, так сказать... — его голос вдруг за-

звучал неожиданно глухо, — он закашлялся, и умолк. Попытался присесть к столу, но обнаружил, что стул занят. Сделал задумчивый круг по комнате. — Да... Вы и представить не можете, сколько было заявок... а разговоров? Года четыре на месте топтались... А ведь Гурвич писал еще в сорок четвертом... когда война еще... Ну, не будем, не будем! Сейчас, вы не поверите, какое у нас тут... понимание! С апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого, — с некоторой горечью добавил он, откашлялся и заходил по комнате. — Казалось бы, какая связь? А эти космические полёты всё переменили!

— Космополёты! Космополёты! — кудрявый мальчик с пластилиновой ракетой в руках пробежал по комнате и вылетел в окно.

Высоко звенящий голос его некоторое время еще звучал, заглушая всё и вся. Она застыла на своем стуле с сумочкой на коленях, не в силах шевельнуться, не в силах дышать. Голова ее вдруг запрокинулась, и мелькнуло на потолке что-то вроде ангелочка с лирой в руках, а вокруг облака, облака... Но ангелочек тот не шевелился, не летел, лишь смотрел куда-то, улыбаясь. А штукатурка вокруг него пооблупилась, пыльная, в желтоватых разводах, так что уже не понять, где облака, а где...

— ...отдел, вернее, пока физико-техническая лаборатория, — наконец расслышала она. — Но по секрету скажу... Я еще в свое время статейку хотел тиснуть. Так чуть... но, всему свое время — каламбур! Ада сказала... что вы интересуетесь...

— Да, да... — начала она, с трудом выговаривая как бы непослушные слова, изо всех сил пытаясь вернуться к происходящему. — Я... кое-что слыхала и думала... и думаю, нет — я уверена! Необходимо экспериментально...

— Так для этого нужна лаборатория! А этот вопрос вопросов... Имя-фамилия уже!

— Извините, я не поняла...

— Вопрос Вопросов — так дразнят! Меня!

— Дело в том, что Ада мне намекнула что...

— Правильно! Тут у нас! Намекнули, что не возражают! Я пока, и начальник отдела и завлаб — по совместительству. Пока называется лаборатория... ах, я уже говорил... Но будет другое название!

Она снова стала терять нить, сердце всё колотилось, а он все говорил и говорил. И постепенно, слово за словом, мысль за мыслью, она успокоилась. Постаралась поглубже дышать. Незаметно под столом достала из сумочки пудреницу и глянула в крошечное зеркальце. Не такая уж бледная...

Наконец замолчал и посмотрел на нее.

— Ладно, прелюдия затянулась. Пора переходить к фуге. И темперировать хорошо! Нам СБИС нужны, а оборудование... есть и трофейное! Слыхали про БЭСМ? Будем ждать... Так что готовьтесь к современной аппаратуре, читайте побольше...

«Красивый! — вдруг подумала она, — беззащитный какой-то, растрепанный... да, Ада говорила... и очень-очень талантливый. Самостоятельно мыслящий притом. Ах, Ада, Ада... И сидел. С 1946 по... но выпустили... досрочно.

— А биополе? Знакомы хоть немного? Что думаете о биополе? — Он как-то подобрался, напрягся в ожидании.

— Биополе? — она вспыхнула, — не может его не быть! Просто необходимо доказать наличие! Первые результаты есть. Надо продолжать. Но дело не в этом...

Он смотрел на нее сияющими глазами, словно ожидая чего-то, за его спиной, в окнах, переливалось, сверкая, золотое и зеленое. Она неожиданно для себя вскочила со стула и заговорила о пути к людям, о том, что мрачная эпоха позади и того, что было, больше не будет, что добро не может не вызывать резонанса, как и все явления на

свете вообще, что биополе, как и любое физическое поле, воздействует на окружающее, — как на объекты, так и на другие поля, какого бы вида они ни были, что эти исследования, то, что их разрешили, что ими наконец занялись, есть знамение нового времени, новой эры... А через сто лет... Вы же понимаете, что будет через сто лет! В другом уже, в двадцать первом веке!

В своем восторге блуждая по сияющему пространству комнаты, они описали полный круг и оказались под резной аркой у приоткрытой двери. Он еще смотрел на нее с несмелой, гаснувшей тихо улыбкой, когда из коридора донеслись шаги и голоса.

— Одну минуту — перебил он и поспешил туда, чуть ли не оттолкнув ее.

— Это же биологическая энергия, сила жизни, по сути — сама жизнь! — продолжала она.

Но он уже широко отворил дверь.

— Федор Артемьевич! День добрый! Замечательно, что вы здесь! — заговорил С., — Вот, хочу вам представить... Извините, товарищи, что прерываю вашу беседу...

В темном коридоре стояли несколько человек. Силуэты их казались не по размеру массивными, значительными, неуловимое какое-то сходство роднило их. Незыблемая статичность, тоскливое единство арок, колонн и этих фигур, нависли над ней, и время остановилось.

Наконец один из них медленно обернулся. Неспешно и внимательно оглядел ее. И она тоже успела разглядеть как бы мерцающие в полумраке черты. Ей хотелось закрыть дверь, не видеть этой темноты, бесконечно чужих и недоступных, в этом отчуждении застывших силуэтов. Она словно проваливалась куда-то, в глазах еще дрожали медленно гаснущие зелено-золотые сполохи, но пространство меркло, пустело, становилось простым и одномерным.

— Что ж, подготовьте сегодня анкетные данные, согласуем, — услышала она. — Фото, если нет, пускай сегодня сделает. А завтра утречком ко мне. — Он едва заметно улыбнулся и сделал странный жест кистью руки, не подымая ее, и отвернулся к собеседникам. С. тронул ее за плечо и прикрыл дверь.

Она присела к столу и открыла сумочку. Перед ней появился лист бумаги с хорошо знакомыми графами.

С. уже стоял у окна, глядя на улицу.

— Я вам лабораторию потом покажу, когда оформим вас! — сказал он незнакомым глухим голосом и умолк. По улице, постепенно затихая вдали, прогрохотал грузовик. — Вы об эффекте Кирлиана слышали? Метод высокочастотной электрофотографии? — продолжил он после недолгой паузы. Ответа не последовало. — Удивительная штука! Возможно, именно доказательство... И весьма весомое... как мои ребята шутят, руками потрогать можно!

Слова повисли в воздухе, он обернулся, увидел стол, лист бумаги и авторучку, отодвинутый стул, потом портрет на полу у стены, упакованный в оберточную бумагу. Огляделся, ища ее глазами. Издалека, из вестибюля донесся дробный стук, а потом глухой удар.

— А еще лучше — ничего не открывать! — сказала девочка-подросток, обхватив себя руками. Сараи обступили ее, стараясь прикрыть от чужих глаз. Над крышами сараев, по кирпичной стене подымалась вверх пожарная лестница, ржавая и чуть искривленная. На самом почти верху не хватало ступеньки. И рядом окошко, нелепое маленькое и одинокое. Медленно всё это стало крениться и бледнеть, пока не растворилось в ослепительно синем небе, пока не зашумели над головой каштаны, не поплыли мимо скамеек прохожие.

— Нет, не открывать ни в коем случае эту биоэнергию! Ни за что! — повторяла она про себя, вцепившись руками

в крашеный зеленой краской брус, — ведь она жить хочет! Девочка-подросток уже ушла в нее, ушла в глубину, туда, где мерно колотилось сердце, где стояли сараи под ржавой лестницей во дворе шестнадцатого номера по мощеной серым булыжником улице. — Любить! А они из нее что сделают? Архангела Рафаила-целителя? Как же, держи карман. Чужие мысли читать! Имели ли вы и ваши близкие родственники судимости и какие: ФИО, год рождения, место работы и должность отца, матери, братьев, сестер, мужа-жены. Ишь ты! Режима нет — атмосфера режимная! Хоть вход свободный! «Космополёты, космополёты!» — затопал по комнате отец, и полетели, трепеща страницами на пол тома К.Э. Циолковского. — А я на другую работу устроюсь! Мест полно! И не надо мне! Провалитесь вы пропадом! А биоэнергия точно есть, и промодулирована информацией! — понятно, чем пахнет, чем они там дышат... А он, бедняга, сам себя дурит. И его тоже скоро выпрут из этого будуара. И слава богу. Слава богу! — вдруг выкрикнула она, и ее затрясло.

Она закрыла глаза и обхватила голову руками. Снова поплыл сырой закуток двора, но сарай был замкнут на висячий замок, и нельзя было влезть уже в пропахшее старьем и мышами нутро, и затаиться там, как тогда, когда вечером играли в жмурки. Ей казалось, что они, эти, всё сметая на пути, уже хлынули из актового зала и топчут по улицам. А сестра, обхватив голову руками, сидит, но не как тогда, в коммунальной кухне на табурете, а рядом, на земле, и повторяет это чудовищное слово...

— Все, все как один, орали и топотали ногами! А те, в президиуме, стоя, аплодировали. Я не могу, не могу выдержать. Они же вчера им зачеты сдавали! Что теперь с ними будет? — А Давид... дядя Давид еще... Ведь три года прошло... его ведь не убили? — спросила она.

— Мы ничего не знаем! — ответила сестра, и стала бледнеть, и уходить от нее туда же, в пустоту, куда провалилась девочка-подросток — она сама.

И тогда она встала со скамейки. Все кругом сделалось пусто и незначительно.

Она вышла на улицу и двинулась в сторону рынка, никого и ничего перед собой не замечая. Она шла словно по пустому тротуару, и ей уступали дорогу. Некоторые оборачивались и пожимали плечами. Но скоро она успокоилась, и никто больше не обращал на нее внимания.

Растаявший было снег, к вечеру снова затвердел, превратился в застывшее месиво, спускаться по крутой улице было трудно, сумка с продуктами оттягивала руку. Потому и мыслей особых не было — внимание сосредоточилось на желтых отблесках фонарей, на черных глухих тенях. Перед двухэтажным старым домом палисадник с обмерзшими кустами, вход со двора. Она прошла в распахнутые железные ворота и вошла в дом. Спустилась по короткой, в четыре ступени лестнице. Постучала в дверь и прислушалась. Обратившаяся в лохмотья обивка глушила звуки, и все же она расслышала металлический скрип и тяжелые шаркающие шаги.

— Кто там? — раздался неуверенный, срывающийся, какой-то птичий голос.

— Это я... Щелкнул замок, дверь медленно отворилась, смрад, острый и пугающий, хлынул на площадку. За дверью, в полной темноте кто-то стоял. — Это ты?

— Да, да... это я! — Она вошла, миновала прихожую. Уличные фонари едва освещали полуподвальную комнату. — Включи же свет!

Замерцала лампочка, ввинченная в черный патрон на витом шнуре, всё окрасилось в тускло-желтый цвет. В этом будто подземном сиянье на цементном полу замерла тол-

стоя женщина в зимнем пальто и полуспущенных нитяных чулках. Грязные волосы нависали на истертый меховой воротник. Посреди комнаты стоял застеленный газетами стол, в углу — детская никелированная кровать, рядом, на полу — шерстяное одеяло, синее с белыми полосками. В другом углу — изразцовая печь с широко открытой заслонкой. Под ней на железном листе, покрытые толстым слоем пыли, дрова. Бледное облачко вылетало изо рта.

«Господи... Газ хотя бы зажгла!» — подумала она. Взяла со стола спички, подошла к печке и повернула железный вентиль. Вспыхнуло голубое пламя. Она поставила сумку на стол, вынула из нее и разложила на столе полбуханки черного хлеба, масло в оберточной бумаге, две пачки вермишели и две банки рыбных консервов, литровую банку овощного супа с фрикадельками.

— Где твои ботинки?

Они долго сидели молча, — она на найденном в кухоньке стуле, а ее родная тетка Лилия — на своей кровати.

«Как она только в ней умещается!» — подумала она то, что думала каждый раз во время нечастых своих посещений. — У тебя всё в порядке? — попыталась завязать разговор. Ответа не было. Помолчав, она встала и подошла к печке, приложила руку к зеленовато-желтым плиткам, и ей почудилось, что они чуть потеплели.

«Sur un marché, tout tremblant le pauvre mioche Furtivement vola des fleurs!» — зазвучал вдруг за спиной очень резкий, надрывный голос, неразборчиво выпевая слова.

— Что это ты поешь? — спросила она.

— Так, ничего особенного... про цветы... — Elle les aime tant sur son petit lit blanc! — это было сказано уже вполне четко: «Она ждет меня на своей маленькой белой кровати».

«Господи, это же та песня, это отец тогда принес пластинку, она же когда-то пела ее... на пианино себе аккомпанировала! Про мальчика и его маму в больнице!» — вспомнила она.

— Спасибо... Всё хорошее... что ты принесла!

— Это мама тебе приготовила, я только за хлебом зашла!

— Видишь, какие цветы! — там, за окном, с кирпичной кладки полуподвала свисали обледенелые ветки, на теки льда посверкивали в тусклом свете фонарей.

Она смотрела, вглядывалась в это мерцание, и не могла отвести глаз. Тихий стон вдруг вырвался из горла, слезы выступили на глазах, потом потекли по щекам.

Она явственно увидела, как свет вытекает из фонаря и входит в эти натеки, и они вспыхивают, оживают и светят сами. Она закрыла глаза, обхватила голову руками, но свет не угасал.

На опустевшей, ставшей незнакомой улице, по дороге домой, она видела это сияние, и уже не боялась.

ГРУЗОВИК

Грузовик, грохоча по булыжной мостовой, катил вниз. Сине-белое здание осталось позади, на углу. Посреди улицы тянулась занесенная снегом каштановая аллея со скамейками и урнами, разделенная в двух местах поперечными проездами. Бог знает зачем грузовик замедлил ход и остановился на одном из них. Водитель в ватнике и кирзовых сапогах вылез из кабины. Подойдя сзади, открыл кузов и вскочил под брезентовый навес. В то же мгновение трехлетний мальчик в серой вытертой на груди шубе и пуховом платке поверх бурой меховой шапки, разбежавшись по аллее, поскользнулся неуклюжими валенками и, шлепнувшись на спину, влетел под автомобиль.

— Грузовая масына! — сказал он себе под нос и заворочался на снегу, пытаясь подняться. Шуба, стянутая завязанным на спине платком, и огромные валенки мешали

ему. Краем глаза он увидел, как протопали мимо сапоги, хлопнула дверь кабины и зафырчал мотор. — Дяденька, не надо, не надо! — зашептал мальчик и сжался в комок.

Мотор взял уверенную высокую ноту и грузовик тронулся.

Мерцал тусклый зимний свет, нависало над ним огромное двойное колесо, спадал полупрозрачными комьями с рубчатой резины раздавленный снег, огромная черная труба еще дрожала, и тут посыпались на него беспорядочные шлепки и завыл, завизжал девичий глупый голос — то набежавшая домработница-няня выхватила его из-под машины, и раздираемая страхом и неожиданной нежностью осыпала неловкими ударами. Схватив крепко и безжалостно за руку, потащила его домой, заливаясь слезами, больная от ужаса, который никак не отпускал ее.

А грузовик тем временем летел по улице вверх, заплутавший в городе водила зяб в кабине. Во рту у него нестерпимо воняло отсыревшей папиросой «Беломорканал».

Тротуар опустел, и не было на всей улице ни единого человека, который бы хоть что-то понимал в той задремавшей на миг жизни.

Татьяна ТИТОВА

(Киев)

«AND ONE DAY CLOSER TO DEATH»¹

...А в никуда и в никогда,
как поезда с откоса.

А. Ахматова

24.02.22

Война. Настоящая. Всамделишная.

Не где-то там, в истории, и не когда-то там в Донецке, а за окнами. В 4 утра. Классика. И что с этим делать.

Можно уехать в Европу. Заманчиво. Но видела по телевизору, что творится на вокзале. Нет, я не смогу, не осилю. Я не умею орудовать локтями. А Мик² и тем более не выдержит... оно же такое дикое и хрупкое...

08.03.22

Город быстро становится чужим. Лица людей, очереди, чтобы войти в магазин. Идет передо мной по улице мужик и совершенно будничным тоном говорит по телефону: «Я пошел в дальний магазин. Хотел пойти в наш, но там труп лежал недалеко от входа...» Последствия вчерашней перестрелки прямо в нашем дворе, когда казалось, что стреляют даже не за окнами, а прямо у меня на кухне...

Комендантский час. Когда начинается бомбежка, хочется куда-то бежать, глупо, но сидеть взаперти невыносимо.

¹ «И еще на один день ближе к смерти», Пинк Флойд.

² Кот.

Грохнуло так, что стекла задребезжали не только в окнах, но в книжном шкафу и серванте, а Мик нарушил все законы физики, он мирно спал на диване, а через секунду был высоко в прыжке из положения лежа. Бедная птичка.

29.03.22

Господи, со мной ли все это происходит. Война, безысходность, бегство. В субботу за два часа мне сказали, что едет машина с породистыми собаками в Польшу. Есть место. Парень заехал за мной домой, взял рюкзак. Можно ли было отказаться. За такое время я не могу собраться в Григоровку, а тут может и навсегда... три здоровенных боксера и мелкие шавки каких-то диковинных пород. Кошка настолько породистая, что уже и на кошку не похожа. Мик ехал мужественно. Кошка орала за двоих. Ночевали в Володарке, комендантский час. Страшная дорога — бесконечные блокпосты, тьма и пустота, и огромными буквами прямым текстом указания, куда идти русским. Часть пути ехали какими-то проселками, могли бы соперничать с Григоровкой. И пустота. Никого. На границе ни единого человека. Миклухе сделали прививку и всадили чип. Меня приютили, водитель. Приехали в 3.15 ночи. Мертвая, замерзшая, безумная, на следующий день уехать не удалось, ночевала еще одну. Чужой пустой дом in the middle of nowhere, в городе, названия которого еще вчера я не знала, Тернав. Последний привет от М., Лапинский и даже Ш. Очень сложно было организовать дорогу до Кракова, сложнее, чем до Парижа. Микусе нашли временное пристанище в Швейцарии. У тетки было два старых кота, один умер, второму скучно. Да здравствует Европа. Как вовремя случилась война в Украине. Теперь коту не будет скучно... Доехала до аэропорта. Ковид тест. Очень милая девочка забрала Мика... и вот сижу я настолько одна, что прямо звенит вокруг. Никого. Микуся, последняя ниточка... Что это? Начало или начало конца? Куда я

еду? Мика никак нельзя было взять. Рейс дешевый, с животными нельзя. Может, ему лучше будет в швейцарских хоромах, там домики, игрушки, и представляю себе какая жарка... Разве имела я право лишать его всего этого. И куда в Париж? Ничего неизвестно, потом может в UK. Но как же я без него? Сегодня принялся плакать посреди ночи. Оказывается, надо было убрать коробочку. Как же я его люблю, за всех, за мужей, детей, друзей, родителей... А вокруг какие-то люди, какая-то чуждая порода... как же там мое маленькое... надо постараться не сойти с ума. Если еще не поздно. Как-то мир потух. Я ведь еду в Париж! Почему крышу не сносит от счастья? Почему вся душа осталась в пушистом комочке. И болит... и слезы катятся и катятся, и не могу сдержать. Не жаль дом, весь уклад жизни, а без него не могу. Какая-то искаженная исковерканная пустота внутри...

30.03.22

Долетела. О, Франция, луковый суп и Côte de Provence rosé. Меня прикутила потрясающая пара пенсионеров. Отдельная комната. Мое чудо жрет по две порции и позволяет себя гладить! Сажу в парке. Au milieu de nulle part... безумное счастье и жуткая боль. За кота счастлива безмерно, но как же мне его не хватает, так хочется потискать, увидеть эти глаза, для которых ты что-то значишь... но это все пустяки, главное, что ему хорошо. Пристаю к людям, чтобы послушать музыку французской речи, спрашиваю без надобности дорогу. Ко мне пристаю собаки. Общаюсь с хозяевами. Как же мне благодарить небеса за все это счастье. Хозяйка пригласила в кино. Господи, сколько же я не была в кино! И снова общались вечером. Им интересно, спрашивают. Говорим об истории, музыке, литературе. Какая дивная страна Франция. Она поет в хоре и занимается йогой. Он ездит в Париж изучать китайский. Почему мы, славяне, так не можем?

22.04.22

Какая дивная встреча с Клодин. Говорили о войне и о женской доле, об одиночестве и его выборе... забрели на Монпарнасское кладбище. Ей хочется в Григоровку. Те же проблемы старения, когда ты остаешься на месте, а мир вокруг тебя меняется... и главное, забытое ощущение доброжелательности, в ответ на твои слова ни агрессии, ни равнодушия. Еще больше раздолбало. Мир, в котором я живу, где только импульс агрессивности проходит сквозь расплавленный свинец равнодушия, который душит, но никто тебе ничего не должен, ни приятельницы, ни счастливые семьянины, ни благородные подруги.

23.04.22

Ужасный осадок от праздника. Наглое дитя лет 12 истошно орало в микрофон мимо нот, а тетки млели и пускали слезу. Из таких вырастают поляковы и поплавские. С работой дела не будет. Саблезубые девочки к кормушке не подпустят. Поздно мне учиться толкаться локтями. Ела артишоки. То еще мероприятие!

5.05.22

Отправляюсь на работу. Вечер. Тишина. Покой. Страшно.

9.05.22

Вчера была у Мишеля. Он почти не изменился. Сейчас он живет на ул. Сен Мартен. Его квартира могла бы быть музеем. Нет, она не холодная, не официальная, очень уютная, но находится в доме, которому 300 лет. Между комнатами вместо стен толстые деревянные балки, которым тоже, наверное, лет 300. И на потолке. Почти как в Григоровке. Он сам приготовил обед, и мы проговорили несколько часов. Что удивительно, тишина. Почти как в Григоровке. Когда я вышла, все вокруг кипело, толпы оголтелых туристов, смех, крики, вопли, а квартира, как аквариум, вне времени и шума... Завтра иду к Дидье.

15.05.22

Как же я устала, и как довольна. Когда Дидье пригласил меня на обед, я думала, будем только мы, друзья 1982. А было человек 30. Среди них Клодин и, конечно же, Мишель. Сейчас Дидье живет недалеко от Опера, на ул. Сент Ан. Он не терял времени. Когда я была у него прошлый раз, он жил в крохотной квартирке, но недалеко от Эйфелевой башни. Сейчас это двухэтажная квартира, на стене гобелен 17 века и пр. Но больше всего мне понравилось, что он продолжает собирать бегемотиков. Они повсюду, каменные, деревянные, фарфоровые, вязаные, стоят и лежат, рты закрытые и открытые, глядят направо и налево, всех цветов и стилей. Какая замечательная идея — коллекционировать что-нибудь всю жизнь. Одна проблема, где все это хранить. Такая коллекция заполнила бы всю мою квартиру до потолка, без мебели и, конечно же, без меня. Может, он поэтому и переехал.

Среди гостей была очень интересная тетка. Красивая и очень выразительная. В платье, не просто красивом, но требующем некоторого мужества, чтобы его носить среди всех этих штанов и джинсов. Но я не заметила выющихся вокруг нее мужчин. Даже вино она наливала себе сама. Разговорились. Долго и хорошо беседовали. Она профессор философии. Теперь понятно.

Мишель познакомил меня с мусье, который когда-то много лет проработал в России. Он сказал ему, что я не знаю языка и он должен поговорить со мной по-русски. «Но я все забыл, я не могу». Однако, будучи человеком вежливым, смог. Все были в восторге. Жена просто расцвела. После знака Мишеля я перешла на французский. Милый, милый Мишель, как он умеет всех вовлечь, всех порадовать.

Я спала в комнате с сотней бегемотиков, в центре Парижа, после обеда с друзьями и новыми интересными

людьми. Как-то даже неловко. Мне повезло намного больше, чем многим... ведь там война... хорошо, что я работаю с беженцами, хоть как-то долг возвращаю. Утром гуляла возле Оперы, place Vendôme, Tuileries... слова, как музыка. Дидье даже улыбнулся, когда мы прощались. Нужно сказать об этом Мишелю.

20.05.22

Устала. Все время хочу есть и спать. Кончились дни, когда я могла каждый день ходить в парк, гулять, размышлять, любоваться сакурами. Устаю так, что даже читать не могу. Есть ли во всем этом смысл? Денег как не было, так и нет, даже нет сил и времени думать, как я буду их тратить. Самое приятное событие за последнее время, урок, да нет, не урок, практика? Знакомство с Цигун. Забытое ощущение, когда тело просыпается, а интеллект прекращает болтать, доминировать, диктовать и растворяется в каждой клеточке тела. Очень мощная штука. Конечно, мне не удалось достичь непрерывности потока, движений, но если зацепиться за учителя, двигаешься за ним. Босиком на траве, чувствуешь энергию земли, поднимаешь глаза, а там цветы. Нужно что-то делать с моим бедным тельцем, которым я так долго пренебрегала.

2.06.22

Вечер сказочный. Молодой месяц тоненький, как ниточка. Сумерки подступают медленно и осторожно.

100 дней с того жуткого утра, когда мы проснулись от взрывов. Месяц там и два здесь. Бомбежки и дрожание стекол, встреча с удивительными людьми; работа, настоящая работа, не для беженцев, а вместе с французами; километры прогулок по Парижу. Красавец Со¹. Цигун.

4.06.22

Дивная музыка дождя. Нежная, едва уловимая, чуть слышная. Каким-то чудом она приводит в гармонию твои отношения с миром. Можно не читать, вообще ничего не

¹ Южный пригород Парижа.

делать, а только слушать и слушать. Музыка полна смысла и значения. С ней душа печальная, но не холодная, и очень живая.

14.06.22

День рождения Патрика. Какой приятный праздник. Мартин с женой и крохами и я... Так сладко погреться о чужое счастье. Мартин совершенно очаровательный, улыбка в 100 000 вольт. Наверное, Патрик был таким в юности. Красавица-жена чилийка и два ангела. Хлоя привела меня за стол за руку. Наверное, хорошо, что Амстердам не состоялся. А вчера мы просто удивительно поговорили. Очень напряженный внутренний путь. Как приятно, что в таком преклонном возрасте еще можно встретить кого-то, кого можешь понять, с кем хочется говорить.

17.06. 22

Жуткая жара. Страшно выйти из дома. Надеюсь, вечером будет полегче, и я смогу без проблем доехать до работы. А завтра +38! Тело отказывается двигаться. Бедные люди, которые работают на улице, на стройке. А в Григоровке сейчас рай. В хате прохладно, все вокруг бушует зеленью, тишь да благодать. Но Париж стоит мессы.

20.06.22

Какой удивительный день! Лиль и Брюгге. Путешествие было драматическим. Еще недалеко от Лиля, но уже в глуши, среди полей, поезд вдруг вздрогнул и остановился. Минут через 15 нам объяснили, что это было самоубийство. Через полчаса нас заберет автобус. Когда мы выходили, пути были завешены простыней. Даже не знаю, что сказать. Конечно, очень жаль беднягу, но зачем своей бедой осложнять жизнь стольким людям. Да и может быть, если тебе совсем не хочется жить, лучше поехать в Украину и помочь тем, кто жить хочет. Автобус ехал крохотными деревушками до ближайшего ж/д вокзала. Потом снова поезд.

Но Брюгге — это фантастика! Он невероятный. Я всегда представляла себе Бельгию крохотной уютной страной с фантастическим шоколадом; страной, где у людей стиль и привычки Пуаро, а соответственно, яйца на завтрак должны быть абсолютно одинакового размера, а тут такая мощь! Богатый, но суровый. И по каждой улице бродил алхимик и врач 16 века, Зенон. Я поняла почему, даже под угрозой пыток и смерти, он не мог покинуть этот город. Центр торговли и теологии, жестокий и богатый, но такой красивый. Прекрасная иллюстрация к «Этюду в темных тонах».

От усталости тело тяжелое, словно каменное, но от восторга просто отрывается от кресла. Лиль очень красивый, нежный, живой, радостный.

1.07.22

Сердце разрывается на три части: Киев, Григоровка и Мик. Но живу я здесь, совершенно в другом месте. Так и хожу с ошметками вместо души. Уже трудно представить, что она может быть целой.

15.07.22

Жара. Дни длинные и пустые. Но летят очень быстро. Просыпаешься, думаешь, что перед тобой длинный-преддлинный свободный день жизни. Повернешься направо, повернешься налево, выпьешь чаю, прочтешь пару страниц и все, нету дня. Куда он делся? Ушел, исчез... «And one day closer to death». Как внезапно порвавшаяся нить ожерелья, бусинки разлетаются в разные стороны и исчезают. Как водопад, который невозможно остановить.

29.07.22

Дурные вести. Ходила в Porte de Versailles. Все в один голос твердили: нужно пойти раньше, не ждать сентября, чтобы у них было время найти жилье. Чушь! Никто там ничего не ищет. Если сегодня мест нет, приходишь снова завтра в 6–7 утра, и послезавтра, пока что-то не найдется. Более того, временная работа не дает права остаться в Île de

France, только по контракту с неограниченной датой. Вот так рухнули все мои надежды. Но я не имею права жаловаться. Я провела четыре дивных месяца в Париже в прекрасных условиях. И мечтать о таком не могла. Напоминаю себе, что хотела посетить все города Франции. Не помогает. Может, это меня опыт Баси так перепугал. Крохотная деревушка, 5 км пешком до магазина, пару автобусов в день до большой земли. В комнате 2 койки и всё, ни стола, ни стула, и один туалет на 10 комнат. Первым импульсом было возвращаться в Киев. Вчера бомбили Вышгород... Решила сыграть в русскую рулетку. В Киев я могу вернуться из любого уголка Франции. Рискну, поеду. Если будет терпимо, проведу там осень. В Николаеве разбомбили автобусную остановку. Вокруг валяются молодые девушки в красивых летних платьях и забрызганные кровью собаки... Все мертвые... наткнулась на видео издевательств над украинскими пленными. Палач — калмык. Почему-то это меня очень впечатлило. Еще один братский народ? Или один и тот же народ? 20 ракет по киевской области... Харьков, Чернигов, Одесса...

31.07.22

Забавная ситуация на работе. У меня, конечно, очень странная, двойственная ситуация. Я помогаю людям, попавшим в беду, встречаю их, успокаиваю, предлагаю вещи, в которых нуждаюсь сама. Некоторые благодарят, некоторые смотрят косо. Эдакая жертва, которая приходит на помощь другим жертвам. Беженка просит зубную щетку. Французы без лишних вопросов дают ей зубную щетку. И тут же с раздражением, ко мне: ну почему ты не взяла свой компьютер? Но вы же не спрашиваете у них, почему они не взяли зубную щетку. Я оттуда же.

Узнала интересную информацию. С кем работают социальные работники какой-то там организации. Три категории нуждающихся в помощи, это из официальных бюро-

кратических бумаг: 1. Алкоголики 2. Наркоманы 3. L'incident de vie, т.е. происшествие в жизни. Это может быть смерть близкого человека или развод, после чего обычный человек, здоровый, даже богатый, теряет способность действовать, теряет работу, дом и оказывается на улице. Никакого алкоголя или наркотиков. А война может быть incident de vie?

3.08.22

Да неужели же мало проблем?! Я в доме одна. Утром пила чай и предвкушала приятный спокойный день. Но не тут-то было. Жалюзи вдруг замерло посреди дороги. Я конечно перепугалась, это я его сломала? Оказалось, нет. Вырубилось электричество. Как? Почему? Что делать? Сигнализация и масса других вопросов. Je chasse les poules, les hommes me chassent, je suis ennuyé...

6.08.22

Приехали хозяева. Завтра уезжают. Взяли меня с собой в гости к друзьям. Загорелые, отдохнувшие, веселые. Им понравилось то, что я сделала в саду. Довольны. Обрезали с Франсин глицинию. Завтра уезжают. Шли домой, смеялись, я задавала глупые вопросы по французской грамматике, они наперебой объясняли. Как же мне с ними повезло! Они такие милые и живые. «Но одиночество прекрасней».

31.08.22

Умирает лето. Лето, которое казалось бесконечным, лето в Париже; первое лето, когда я не была в Григоровке; ни разу не купалась в живой воде.

5.09.22

Какой прекрасный день. Выспалась после работы, заметила, что сделала Франсин в саду, это было непросто, экзамен на наблюдательность, муж не прошел испытания. А потом они не знали, в какой кулечек положить лаванду. Я предложила сшить. Все смеялись. Ткань они нашли

слишком плотную. Легкой нету. Я отрезала от своего шарфа и долго шила саше¹. Я поливала эту лаванду. Я собирала ее в 4 утра. Я видела, как она сушится, и вот теперь сшила саше. Теперь она отправится озарять их белье и свитера.

Разразилась гроза. А потом мы обедали, картошка, курица, я сделала салат, пока грелась картошка, курица, конечно же, была холодной. О, эта магия совместного действия и трапезы (бессмысленно добавлять совместной, другой не бывает). Лаванда... она так много всколыхнула, Крым, откуда мы ее привозили, шкаф, который она наполняла ароматом, и главное, совместное действие. Тоска по нему звериная... и проливной дождь. И солнце в одном окне, а в другом тьма египетская, как в душе, и неприкаянность...

11.09.22

Виделась с Бенедикт. Примчалась на велосипеде, первый раз видела ее в джинсах. Тепло, забота, трёп, как же хорошо, и это при полной неопределенности... и красавец Париж.

12.09.22

Какая удивительная прогулка. Так интересно оказаться впервые ночью там, где ты никогда не был днем. Мрачные загадочные деревья, почти полная луна и хрупкая воздушная тишина. Какая-то тайна совсем рядом, а жизнь кажется нереальной, как книжка, которую ты читал давно и не до конца и теперь не уверен, ты не знаешь окончания истории, потому что не прочел или читал, но забыл. Но все уже написано...

18.09.22

Великий день в моей жизни. Переехала. Это друзья друзей. Чудная пара 70+. У них четверо детей, хоть они и белые люди, поэтому было куплено две квартиры на эта-

¹ Саше — небольшой мешочек или подушечка, наполненная душистыми травами,

же. Дети выросли, разъехались, вторая квартира пустует, с туалетом и ванной, отдельный вход. Они впустили меня и уехали на похороны матери Элизабет в Ниццу. Чудеса. Обживаюсь.

19.09.22

Первая ночь в чужом пустом доме, со своими звуками и шорохами, от которых подпрыгиваешь. Где? Шаги? Голоса? Здесь или в соседней квартире? Да еще и дверь не закрывается, и ты слышишь, что происходит во всех семи или сколько их там, комнатах. Первая ночь в Со была совершенно другой. После двух дней в дороге и ночи в Польше, когда уже не понимаешь, ты завтра отправишься в Европу, в Киев, в ад, или ты уже там, я упала и уснула мгновенно. Сегодня — только под утро.

20.09.22

Невзоров создал замечательную программу. Диалог двух людей с противоположными взглядами, убеждениями, но без споров. Первым приглашенным стал Арестович. Самое пикантное, его выбор названия программы: «Три толстяка». «А третий просто уже устал и ушел». «А не нравится, можем назвать “Великолепная семерка”». Тогда пять человек уже устали и ушли». Принцип гениальный. Могу назвать воскресенье своим праздником переезда. А где же друзья? А они устали и уже ушли. Где яства и вина? Уже съедены и выпиты. Арестович правильно заметил, что лучше все-таки не называть программу «Десять негритят».

24.09.22

Не могу я это описать. Этот фонтан, это безумие, эту нежность. Этот свет, который зажигается где-то глубоко внутри и растягивает меня на огромные расстояния... эти напрочь забытые ощущения, этот шелк прикосновения и неповторимость общения. Жизнь льется, как из рога изобилия, заливает каждую клеточку тела, душа звенит, а тело мурлыкает. Правда, разрешения на жизнь нету, и могут выкинуть из страны к чертовой матери. А в остальном...

25.09.22

Нельзя, нельзя жаловаться и канючить, нельзя ни при каких обстоятельствах. Не забывай, могла уже умереть. Хуже того, издевательства, плен, война. Все по-другому после этого, иначе пройдешь всё в реальности. Радоваться красивой сказке, понимать, что сказка, быть благодарной за сказку, которая всколыхнула. Ведь вся моя жизнь — это набор сказок, волшебных, светлых и страшных. Реальность серая и убогая. Именно сказки сделали меня богатой, как Крез. Не путать! Сложновато. Ну что ж, прекрасное упражнение. Бодрит, развлекает, убивает.

25.09.22

Обедала у Бенедикт и Марка. Какие они милые. Подумать только, впервые я обедала с ними 35 лет назад! Перед тем, как они отправились путешествовать в свой медовый месяц. Марк прекрасно готовит. Любит экспериментировать с историческими рецептами. Прочитает где-нибудь, чем кормили Наполеона перед какой-нибудь битвой и приготовит. Математик!

31.10.22

Кто бы мог подумать, что спать в постели и без одежды — это такое счастье. Как много незначительных, но таких ценных вещей мы не замечаем. Отсутствие — великий учитель. Сумерки. Сегодня Хэллоуин. Может пойти на кладбище? Мои мертвые далеко, познакомлюсь с чужими. Живых вокруг нет, но сегодня можно праздновать с мертвыми.

2.11.22

Какие короткие стали дни. Выхожу на работу в крошечной темноте, еду через весь город, но город этот — Париж, и это многое меняет.

3.11.22

Холодно, снаружи и внутри, темно, внутри и снаружи. Из окон на улицы льется свет и тепло, но в них нельзя со-

греться, они принадлежат другим людям. Моя дорога на работу, как тоненькая ниточка, одно неосторожное движение и можно потеряться, в городе и в жизни, в темноте и холоде, в голоде и в отчаянии. Смотришь на людей, молодых и старых, неважно, и видишь на их лицах жизнь и продолжительность, непрерывность, у них есть вчера и завтра, прошлое и будущее. В моей жизни есть только ослепительные вспышки среди темноты. Вспышки, у которых нет продолжительности и последствий. Они как-то изолированы и ничего не значат. Самая яркая вспышка не становится шагом в ту или иную сторону, а остается прыжком на месте, каким бы высоким ни был этот прыжок. Смотришь на людей, видишь, как они улыбаются, и не понимаешь, что это они делают, зачем растягивают губы, откуда этот свет в их глазах. Ты забыл, как это — улыбаться и не можешь вспомнить, как чувство сытости после обеда, когда голоден, или ощущение отдохнувшего бодрого тела, когда ты смертельно устал. Все связи порваны. Нужно рождаться заново каждую минуту, а это тяжело. И пустое дикое пространство за окнами автобуса.

4.11.22

Как же холодно. Невзирая на каникулы, в парке никого. Даже утки не купаются. Сидят, скукожившись на травке. Холодно...

6.11.22

Дождь льет целый день. День бесплатных музеев и замков пропал. Я попыталась выйти, но промокла за минуту. Мокрые ноги и холод способны убить даже встречу с прекрасным. И в комнате холодно. Можно существовать только под одеялом, да еще и натянув на себя все одежды. Все серое, мокрое, холодное. Домашний арест. Каково же там, в Киеве, без электричества, когда темнеет в 5. Итак, я променяла радость общения с искусством на горячий обед и счастье спокойно выспаться. Для разнообразия неплохо, но второй день было бы тяжело. Руки мерзнут, как на ули-

це, а зима еще даже не началась. Только где ты, где ты, середина лета? Чай в саду среди цветов и птиц, всегда открытое настезь окно, сумерки в девять часов. Но мы же так страдали от жары! Какая у нас крохотная зона комфорта! А психологического — и того меньше.

7.11.22

Как же всё странно происходит в России. Решения принимаются, не исходя из логики, а на каком-то гормональном уровне. Стаду крикнули «наших бьют!», и стадо бежит защищать родину, правда, на территории другой страны. Защищать от кого? Да это и неважно. Стадо встает с колен. Забавно наблюдать, как толпа здоровых мужиков бунтует после мобилизации из-за условий жизни, отсутствия еды, воды, дров. Но никто не бунтовал против призыва убивать, где-то там, далеко, зачем? С какой целью? Этих вопросов никто не задавал. Вот бы им еще с локтей встать, после того, как встали с колен.

10.11.22

Забастовка. Метро не ходит. Как добраться до дома, не представляю. И вдруг... подвезли на скорой почти до самого Ванва¹. Приехала быстрее и роскошнее, чем обычно. Байо! Очаровательный средневековый городок в Нормандии, красивый до боли. Музей гобеленов. Гобелен длиной метров в 50, повествующий о захвате Бретани Вильгельмом Завоевателем. Стил — удивительный, наивный, непосредственный, иногда почти постмодерн. Этому гобелену 1000 лет! Кажется, на него даже смотреть нужно осторожно, чтобы не повредить взглядом, не то, что прикосновением. Водяные мельницы, дома с черными деревянными балками в белых стенах. Красотища!

Ренн. Это уже Бретань. Очень симпатичный городок с бесконечными кафе на улицах и витринами магазинов в великолепном вкусе.

¹ Южный пригород Парижа.

11.11.22

Монт Сен Мишель. Красавец замок! Безумная идея построить замок на крохотной каменной скале-острове. Но какое воплощение! Огромные залы, винтовые лестницы, какие-то неожиданные повороты и очень грамотный интеллигентный гид, с голосом как Иерихонская труба. Блестящее сочетание для профессии. Отлив. Можно побродить вокруг, чайки, солнышко, счастье...

17.12.22

Уехали Лизаки (хозяева). Они такие милые, даже трогательные. Так долго показывали мне, как включить телевизор, зажечь елочку, увеличить отопление, как открываются и закрываются все двери. Чуть ли не убеждали пригласить кого-то на Новый год, и вообще обращались со мной нежно и заботливо, как со смертельно больным, потому что есть вероятность, я останусь на новый год одна. Я делала вид, что вероятность невелика. И правда, не то что невелика, это вовсе и не вероятность, это факт...

6.01.23

Какой роскошный подарок к Рождеству — гениальнейший рассказ Набокова «Рождество». Невероятное мастерство, это просто гимн бессмысленности, боли и торжеству, величию жизни. Всего несколько страниц, смерть сына и безысходное Рождество бабочки зимой, ее почти человеческое счастье. И еще один прекрасный рассказ «Подлец», тоже очень лукавый и двусмысленный, о непроходимой трусости, с которой ничего нельзя поделать. За это нельзя винить. Ни за что нельзя винить.

26.01.23

Авиньон. Папский дворец — ужасный, огромный, неудобный, какой-то угловатый, совершенно не согласованный с человеческой биологией. Как-то я себя там плохо

чувствовала. И сильнейший холодный ветер — мистраль. Удивительная лавка с невероятным, ручной работы, печеньем. Прованс!

Фантастический городок Дижон. Достойная столица бургундского виноделия.

7.02.23

Умер Лапинский. В 6 утра. Еще один кусок жизни отвалился... Посвященные мне стихи, долгие прогулки с коньяком, пьяные звонки и нежные СМСки. Наверное, здесь я общалась с ним больше всех киевлян. Костецкий, Женька, Вовси, Зморович, Перцов, Маэстро... как-то не могу прийти в себя, поверить.

11.02.23

Что-то у меня с психикой не так. Боль и неприкаянность такой силы, что трудно дышать, ходить, держать лицо. И это ни с чем и ни с кем не связано. Боль нападает внезапно, в самое неподходящее время.

28.12.22

Таинство Нового года. Пустые улицы, темные окна и разлитая в воздухе праздничность. Пустой дом и звенящие осколки, чего греха таить, счастья. Зализываю раны всеми возможными способами. Только не обида, только не злость, не ярость. Должны остаться только благодарность и светлая память. Предпочла бы я этот опыт со всем его страданием или ничего. Конечно же, то, что было.

31.12.22

Работаю.

1.01.23

Наступил. С пьянками и драками между мужчинами и женщинами, с бомбежками с утра и всю ночь, но все-таки наступил. Очень тепло простились с Сабрин. Она больше не работает. Подарила мне две книжки и наговорила бездну добрых слов. Какой-то этап завершился. Париж абсолютно пустой. Полдороги в автобусе я была совершенно

одна. Улицы безлюдные, чистые, сквозистые, праздничные. Мелкий серый дождь. Тепло. Заблудилась, и не у кого было спросить дорогу.

2.01.23

Утром мир делится не на черное и белое, а на красное и зеленое. Красное тебя тормозит, останавливает, леденит (никакой это не теплый цвет), виляя хвостом, дразнит упущенными возможностями. Зеленое приглашает, разрешает, манит, обещает.

23.03.23

Последний день работы. Тишина. Никого. Уже вывезли какую-то мебель. Все пустеет, истончается, тает, тлеет, утекает сквозь пальцы — работа, вид на жительство, отношения...

4.10.23

Метц. Очаровательный город. Грандиозные витражи Кокто. Изломанные, дерзкие, запутанные, какие-то богохульные. Не зря их отверг главный храм. Шагал после них кажется ортодоксальным. Люксембург. Весьма тоскливая страна с некрасивыми людьми. Всё прекрасно, но совсем невыразительно. Во Франции за час обязательно встретишь двух-трех красивых людей, мужчин и женщин. И еще с десяток стильных, иногда даже экзотических. Здесь все какие-то серенькие.

Комбре. После грандиозных описаний Пруста оказался небольшим заунывным городком. Самая обычная церковь. Действительно, красота в глазах смотрящего.

19.03.24

Оказывается, я пишу, только когда болит невыносимо. Если могу удержать хрупкое равновесие между ужасом и самоуспокоением, не пишется. Видно руки шестом заняты...

3.04.24

Какой дивный день! Парикмахерская. Меня стригут и красят. Все 40 минут покраски увещевала себя: ты си-

дишь в парикмахерской в Париже. Сказали бы это той девочке, которая умирала от горя, что не ее отправили в Африку после института, как оказалось потом, за забор и в изоляцию. Так хотелось посмотреть мир! Или той, голодной и полуживой от усталости, которая впервые попала в Париж на несколько дней, с риском для брака, одуревшей и очарованной... А парикмахерские все равно не люблю.

26.04.24

Наконец-то попала к врачу. Очень милый и профессиональный мальчик лет 30. Я усохла на два см: теперь 1 м 70 см. Вешу 65. Самое неприятное — отправили на прививки, не ускользнуть. Либо все закончить, либо сдаться...

27.04.24

Гениальнейший Гамлет с Эндрю Скоттом. Этот лишенный всяких эмоций Мориарти здесь почти истерик. Потирает руки, трогает лицо, почесывается, ничего героического, но Сомнение огромно. И когда он произносит последнюю фразу the rest is silence с вопросительной интонацией, а не как все, с окончательной, все смыкается. Гениальная находка!

2.05.24

Сделали рентген шеи. Мне выпрямляли плечи две очаровательные, просто таки нежные дамы. Три ракурса. Какой-то огонек тлеет внутри и ярко раскрашивает мир. Как хорошо не иметь претензий. Да и откуда им взяться, прилипшая ты к днищу ракушка? Злобность убивает, съедает цвета, огрубляет прикосновение к миру.

Я перепутала время и пришла на час раньше, да еще и книжку забыла. Но этот огонек внутри не позволяет затянуть мир серостью. Больничный коридор был наполнен такой интенсивностью, что и книжка не понадобилась. Вот оно, истинное счастье, не снаружи, а только внутри. Никакие лемуры-лимоны не могут создать такой интенсивно-

сти. Как убить всякое чувство собственности и важности, оставить только этот свет?! Не иметь, не обладать, а только любить...

4.04.24

Роскошный обед с Мишелем и Дидье в ливанском ресторане. Дидье выглядит неважно. Ему внезапно поплохело, и он ушел прилечь. С Мишелем проще. В Париже дождь, не ходят автобусы, потому что демонстрации, и десятки полицейских машин с красавцами-жандармами, «и по родине тоска».

20.05.24

Прекрасная гроза. Долгая, с перекатами и переливами. Урчит, бурчит, погромыхивает. Шуршит и шелестит дождь. Темнеет. Розы в вазе теряют цвет...

3.07.24

Ну вот и произошло. Никогда не знаешь, какую причудливую форму может принять весть, благая она или пагубная. Как смерть. Вчера приехали Лизаки, и сегодня Элизабет сообщила мне, что они будут праздновать счастливое Рождество всей семьей, а значит, нужны все комнаты. Сказала хорошо, не юля, не виляя. Это и так дольше, чем можно было ожидать, но все равно неожиданно. Как смерть. Конечно, все заканчивается, вот и Париж закончился.

Жуткое лето поисков жилья. Безнадега, и вдруг 16 arrondissement. Новое жилье, новые условия и старая боль. Проблемы с равновесием усиливаются. И снова работа ночью. Колокольчик может прозвенеть в любое время, в 2, в 3, в 4 утра.

На сегодня моя компания — это война, старость, болезнь и одиночество. А за окном блистательный Париж. Да, жизнь прекрасна и удивительна, особенно удивительна.

Валя ЧЕПИГА

(Страсбург)

ГАМОВЕР

когда наступили счастливые дни
мы были мы были мы были они
мы стали мы стали мы стали собой
мы были мы стали мы были игрой

Алекс Гамовер сидел за столом и завтракал. Он думал каждый свой завтрак этой фразой: в детстве, читая чёрный томик «Приключений Шерлока Холмса», он представлял себя именно так — сидящим за столом и завтракающим. Это были начало и конец его бытийности в роли самого себя. Дальше начиналась литература.

После завтрака Алекс собирал или не собирал крошки — иногда он ел булочку, мыл чашку, переворачивал её и клал на железные прутья сушильной доски — до следующего утра. Кашу он ел тогда, когда хотел идентифицировать себя с сэром Баскервилем. После каши, конечно, крошек не оставалось.

Позавтракав в этот раз крошками, Алекс решил одеться тёплым. Тёплое лежало в прямоугольном. Из тёплого у Алекса сегодня нашлось: кальсоны белые, рейтузы цвета кофе с молоком, коттоновая рубаха. Носков Алекс не носил, довольствуясь портянками, суппортом для коих служили ветхие кухонные полотенца.

Алекс прошёл в ванную. В ванную он именно что проходил, молодцевато выпячивая грудь и мерно вышагивая

маршем. Ванное время было поручиком, и Алексу всене-
пременно надо было: побриться опасной бритвой или но-
жом, ополоснуть горящую кожу ледяной водой, почистить
зубы — обязательно порошком, и обтереть торс отжатым
дерущим кожу полотенцем.

Далее Алекс-поручик вернулся к платяному, оделся,
прошлёпал пока что босыми в коридор, где уже и накрутил
портянки, надел начищенные с вечера сапоги и грязную фу-
файку. Осмотрел себя в зеркало — постарался сделать это
«придирчиво», то есть внимательно, значит, пройдясь гла-
зом по всему, до чего мог увидеть. Довольно улыбнулся, от-
крыл дверь и вышел на лестничную площадку.

Никогда. Алекс думал сегодня этим словом. Никогда.
Алексу нравилось катать его во рту, а ещё — «Мила».
Алекс подобрался и стал думать себя детективом. Что он
знал о Миле? Алекс нахмурился, зацедил себе слова «по-
купать», «давай-давай», «пройдёмте». Не хватало.

Алекс шёл по улице. Справа лежали подровненные
дворником сугробы, слева бежала дорога, и Алекс тоже
прибавил шаг. Одна портянка смялась и мешала ему ду-
мать себя. Мила.

Алекс дошёл до магазина, квадратная тумба, надо.
Толкнул дверь, зазвенел колокольчик. Маленький мага-
зин, полки, еда, Мила.

Мила улыбнулась вошедшему. Она уже привыкла к
его регулярным визитам. Он всегда покупал одинаковое:
вафли шоколадные, кока-колу или похожее, сыра нарезку
любую, хлеб брал тоже любой. Мила пробила покупки,
Алекс помялся, помычал, вышел из магазина. Мила улыб-
нулась — «дурачок».

Алекс брёл домой. Справа бежала дорога, слева —
нарезка сугробов. Пошёл снег. «Не сказал Миле». Алекс
заплакал. Стал думать себя чуть шепелявящей певичей,
чтобы было удобнее. Никогда.

Вернулся домой, взял нож, которым брился утром, и сделал себе харакири. Странно, подумал, совсем не больно. Потом понял, что убил только утренних, а себя оставил. Алекс опять заплакал. Потом стал думать себя вафельным человеком, заварил ванную чаю, бросился в неё и растаял.

На следующее утро в дверь позвонили, но не было уже ни Алекса, ничего не было, только книги и ванная, полная коричневым. Мила продолжала продавать вафли другим, не зная, какое это страшное оружие. Вот так в незнании можно спокойно жить, думала Мила.

«Баба, баба»! Это внуки Милы уже кричат, а могли бы быть и Алексовы. Мила прислушалась к себе. Зазвенело. Прошла в ванную. Взяла опасную бритву и посмотрела на себя в зеркало придиричиво.

Алекс перестал думать себя Милой, вздохнул и пошел заваривать чай. Завтра пойти в магазин или уже никогда? Любовь страшно. Пойду.

Много ходить хорошо — снег. Будет никогда, но завтра тоже будет, подумал Алекс. Мила.



IN MEMORIAM

Наум ВАЙМАН

(Холон)

БЕССТРАШИЕ БЕСПОМОЩНОСТИ

О Михаиле Файнермане

(9.12.1946 — 29.07.2003)

Я критиковал его за то, что «слишком много дождя», почти в каждом стихотворении дождь. Но ведь он плакал. Плакал, как маленький.

Все мы
как дети
кто больше
кто меньше

Он хотел оставаться ребенком, сохранить удивление, и жажду жить. Взрослый мир ничего не обещал, кроме потускнения красок, угасания удивления и усталости. И ему удалось остаться ребенком. Поэтому и стихи так пронзительны, и поэтому он всегда плачет. Нет, он не горевал. Правда, грустил часто. И мечтал об «общине для одиноких», где друг друга поддерживают, уступают друг другу...

«Друг, я разрешил тут главный вопрос своей жизни — я сказал, наконец, что это равномошнные полюса — сочувствие и радость. И все встало на свои места. И то, и то — а вот как сочетать, в том и жизнь... С монастырями так — только теперь, вполне выйдя из депрессии, я вижу, что она мне дала: дело жизни, стиль ее, направление и цель. Общины разного типа — от сексуальных до просто производственных. Даже с воздержанием. Букет разных типов, об-

разов жизни, даст каждому одинокому найти свое. Ведь и одинок всяк по-своему. Главное же во всем этом деле — сделать так, чтобы люди не стеснялись одиночества — сделать, чтобы это стало обычным: я ищу someone. По-русски так и не говорят, а по-английски: I full lonely¹ — просто.

Но это начало. Потом — постепенное проникновение нового образа жизни из общины в мир. Старик, мы не отсюда пытались начать — не могу сказать больше. Совсем другое ощущение, когда не боишься остаться один — во всех смыслах, не боишься, что тебя выбросят из группы — и знаешь, что есть куда пойти, и там никакой иерархии, никаких насмешек над одиночеством. Подумай, какой мир открывается, когда общаться... легко — тысячи прекрасных и интересных дел! А сколько людей оторвано сейчас от возможности делать эти дела? Занятые тем, чтобы не выбросило, не остаться одному...»

И стихи в интонации разговора с другом, когда поведают движения души, чтобы сохранить, не дать умереть ни одному её жесту. А друг — это тот, кому можно верить, что он не забудет в тот же миг, а подхватит и спрячет, и это останется, твоя душа, эта летопись чувств, в нем останется. Вот тебе и бессмертие, бессмертие для бедных, ценнее многих оглушительных слав...

«Страдалец», сказала сердобольная женщина. Конечно, с детства больной человек, неустроенный, неухоженный, одинокий, к концу жизни почти по-звериному одинокий. И все же. Мне почему-то кажется, что он прожил по-своему счастливую жизнь. Он дожил свою молодость там, где хотел. Просто переход в «зрелость» затянулся, а когда завершился все-таки, то уже не было сил на смену курса, как он планировал, вернее, мечтал, болезнь вцепилась мертвой хваткой.

¹ Я абсолютно одинок.

И он часто был счастлив, часто жизнь радовала и восхищала, а ведь этого не могут сказать о своей жизни многие из тех, кто вполне в ней «благополучен».

Просто-напросто дождь,
холодные светлые капли
и пустота —
совершенная пустота впереди,
как будто поднялся в те сферы,
где нет ничего земного,
и только холмы облаков —
белых, безмозглых, вечных,
как печаль одинокого,
которому, как известно,
езде пустыня

...

Сломить ветку сирени — и
сквозь голоса,
сквозь слезы
бежать вниз, к реке,
размахивая сиренью —
всё, что ты можешь
только...

...

Воробей за окном,
и вечная
грусть о прошедшем
о том,
что, в сущности,
было в начале.

...

В юности можно было
думать о счастье
Легко — время сгущалось, жило тайной
и было
Прекрасным — весенний ветер в окне,
Напомнил об этом...

Стихи-разговор, исповедальный разговор, который у нас с ним не прерывался. Хотя я человек гораздо более «земной», но... Он как-то сказал мне: «Наум, не бойся быть шизофреником».

Остался сборник стихов «Зяблик перелетный», изданный в 1995-ом Виктором Кротовым (изд. «Гео»). Остались письма, которые он писал мне больше двадцати лет. Мои письма к нему сгорели: пару лет назад страшный пожар уничтожил все содержимое его квартиры.

Вот первые его письма после моего отъезда.

16.2.1978

Здравствуй, Наум!

Ты себе не представляешь, какие страшные чувства я испытываю эти два дня, особенно сегодня. Только сейчас я немного разобрался в них — потому что чувствовал, что так не бывало прежде. Кажется, это просто чувства нормального человека — уехал друг, и хочется тоже ехать за ним. До отъезда я думал, что будет грустно, что тебя тут нет, а вышло иначе — грустно, что меня нет там.

Я вчера с такой нежностью читал букварик на иврите... Черт его знает, может эти чувства пройдут, но я очень изумлен тем, как вышло.

Но есть и другая струя — и она, черт, резко усилилась, когда я зашел вечером в вашу квартиру. Зус позвонил — и надо же, через минуту я вышел бы уже — я собирался в Университет на лекцию, в первый раз в этом семестре, там бы, может, развеселился, а тут такая грусть...

Я взял твои гантели и фильм «Сотвори себя». И в этом-то вся и грусть, потому что это взгляд на юность еще оттуда, из шестнадцати, когда думали обо всем таком. А твой отъезд сказал резче всего, что юность давно прошла. Суть в том, что я тоже не могу уже, как прежде, радоваться детским прелестям письма и всего такого — ясно, что надо что-то с собой делать в мире взрослых людей.

Как раз странное совпадение с этими гантелями — днем я делал зарядку, и так ясно ощутил вдруг, как хорошо было бы это делать в шестнадцать — а главное, на месте, и сколько всяких радостей это сулило бы, да и вообще — все можно было начать так — и иначе.

Теперь я чувствую, что начать иначе уже не выйдет — можно менять стиль жизни, и другое, но ось жизни уже выработалась, и кроме как этим — ничем иным заниматься не хочется, и нелепой кажется даже мысль попробовать изменить все. Там, тут ли — писать и размышлять.

Да, почитал я тут Пушкина — твой шестой том. До чего же пустой человек! — что он писал в дневнике!

Там у вас в квартире была твоя мама и мама Зуса. Твоя мама удивляется своим чувствам примерно как я — своим. Наверное, все это слишком необычно для всех.

Когда на аэродроме с Зусом вышла эта история, твой папа сказал в сторону: «Комик в жизни, трагик на сцене». Я вспомнил, как ты рассказывал о его актерском начале.

Вадим был печален: «Заснеженное это поле как заноза... ледяная». Вообще, я как-то почувствовал, наконец, в этот раз, в чем источник его стихов — действительно, дико одинокий человек, и сам себя таким делает, потому что это как-то странно влечет. Но так можно жить сто лет, я понял. Он думает расписаться под действием твоего отлета.

Я тут пишу философскую работу, и в первый раз добился «ясного стиля». Для этого нужно было, оказывается, просто резко замедлить скорость писания — и не допускать сложных фраз. Сразу все стало на место. Идея там интересная — что такое «действительность», о которой мы столько говорим — но сейчас об этом что-то не хочется писать, а лучше я тебе пошлю стихотворение, утром переделал. Да, я приобрел вдруг вкус к переделке стихов — видно, и вправду взрослость.

* * *

Что солнце
То туманное, то розовое, то рябое
И двух дней не бывает кряду
Одинаковым — в этом, кажется, дело
На это можно
Надеяться — смотри
Какое нам дело
До грустных вещей — солнце стоит в небе
Твердо
Видишь? —
Так туман вокруг него греет
Видишь? —
Это снег блестит за окном.

Ну, до свидания. Надеюсь, письмо тебя застанет.
Я не знаю, сколько оно идет. Не знаю даже, как посы-
лать. Завтра спрошу.

Миша.

Открытка

**(Число на штемпеле не просматривается.
Надо полагать, что написано в марте 78-го.)**

Здравствуй, Наум! Что-то от тебя нет письма.
Может быть, тебе не понравился мой ответ на твоё
первое? Если так, извини. Пиши по-простому, просто
мне, а то, боюсь, ты откладываешь, чтобы вышло что-
то эпическое. А я без тебя скучаю, и хочется получать
письма и писать в ответ. Жаль, вообще, нет возмож-
ности увидеться и поговорить — тут столько всего, и,
главное, в продолжение наших прежних тем. Мы тут
сдружились с Зусом, видимся довольно часто. Я сде-
лал вторую редакцию романа, а потом набрел на
идею, которую нам бы обсуждать бы месяцами... Ну,
места мало. Пиши, я жду.

Миша.

30.3.1978

Здравствуй, Наум!

Получил твое первое письмо, рад, что у тебя все хорошо, и вообще, приятно переписываться через моря.

Вчера зашел Дима Тютюнник, прочел твое письмо, и потом мы вместе поехали к твоим родителям. Почитали там твои письма, а им показали твоё. Два места я заклеил, так что об «опасностях местной жизни»¹ никто не узнал.

Исаак Ефимович просил спросить тебя в письме, сохраняются ли льготы ему, как пенсионеру, если он получит там пенсию через год по приезду — тогда ведь он не будет уже вновь прибывшим. Выглядят они оба неплохо, я спросил, как они относятся к твоему зову ехать скорее — Мария Наумовна говорит, что так быстро они не готовились.

Посмотрел я на местность, где ты провел юность — как раз днем вчера зашел Зус, дал твой последний блокнот — там о диване, все такое: я думаю, ты не обидишься, что я почитал.

Зус и сегодня заходил — он что-то загрустил, а глядя на мою активность, становится, наверное, веселее.

Ну, я успел за это время еще раз влюбиться — и хотя безрезультатно, но интересно: «много нового». А в субботу-воскресенье ездил в Голицыно к Жене, и там гулял в компании нескольких Мишиных одноклассников. Они там все либо сами играют на гитарах, либо крутят диски. Видел их одноклассниц. Алешу, жалко, не видел — Миша хотел пойти вдвоем, а после раздумал. Потом мы с ним понедельник были вместе, вечером поехали в гитарную школу — есть такая, и там

¹ Я, по-видимому, писал ему о большом теракте (захват автобуса, тогда это было относительной редкостью) на Приморском шоссе в марте 78-го, в который мы чуть не попали.

еще новые люди. Мне всё это очень интересно. После часу возвращаюсь домой — письмо из Израиля. По воздуху. В первый раз из-за границы. Я очень обрадовался — а тут у меня замок не открывается, в первый раз. Я бился-бился, потом принёс снизу ящик, сел у двери, дремлю. Решил — утром пойду к родителям. А в полпятаго думаю — дай-ка ещё раз — и что ж ты думаешь? — открылось. Я был так счастлив!

Вот тебе песня из Анчарова — но, видимо, не его, это из повести:

Ой, ты, море синее, а тоска зеленая.

Ты не плачь, не плачь, красавица, вода и так соленая.

Вот тебе и поэзия, вот и весь секрет... Сам я понял тут, наконец-то, что меня держит после родителей: чувство, что молодость еще не кончена. Особая такая молодость. Если уехать — такой уже не продолжишь. Хочется дожить ее здесь.

Якобсон¹ — это, видимо, тот, что был учителем у Климонтовича² во 2-й школе. Я читал его о Блоке. Кстати, и Тютюнник учился в том же выпуске. Да, в Израиле, оказывается, живет Илья Бокштейн³ — я тебе о нем рассказывал. Попробуй найти его, пусть он мне напишет. Его стихи есть в журнале Перельмана за прошлый год.

Я тебе pošлю шесть стихотворений — это то, что, вместе с «Солнцем», идет после первой выборки — её я закончил: «Когда он умер, я не был еще мужчиной», а до него шло мое любимое «Собака, уходящая по мокрой дороге в лес». В первой выборке — 18 стихотворений.

¹ С Анатолием Якобсоном я познакомился через пару недель после своего приезда, когда в первый раз поехал в Иерусалим навестить Бору Камянова, и написал ему об этом.

² Писатель Николай Климантович.

³ Поэт Илья Бокштейн, с которым я вскоре познакомился.

А вот немного философии — если ты не потерял еще вкус к моей манере.

(Философию опускаю.)

Попробую, Наум, обратиться к тебе с просьбой, пока скромной: посмотри, есть ли что из книг о заикании, на английском. Если есть — пошли мне. Если удастся, попробуй узнать, как вообще в Израиле дела с лечением заикания. Какие методы? Какие результаты? Мне это, сам понимаешь, важнее, чем что бы то ни было.

Так, ну, теперь стихи. Напишу от руки.

1

Ветка китайской сливы
Зацветает в мае.
Смотри, город лег за стеною,
Перегибись, потрогай крыши,
Потрогай ветки деревьев.
Ты ехал полями? Там влажно?
А у нас земля давно сухая.
Ну-ка, привстань на повозке,
Перегибись, дай мне руку,
Ты приехал с юга, полями?
Это ты принес влажный ветер?

5

Прилетели снегири
Снегири
А воздух такой прозрачный
Что сразу понимаешь: это март
Кончается
Бог с ней, с манерой — знаешь
Пиши то, что есть
Мне в письмах: пиши
«Встретить весну в Иерусалиме...»
На холмах
На холмах

Я мог произносить
Лишь некоторые рваные слова:
Такова была моя манера
Мы с ней обходили лужи
Как будто спешили
Дойти
А на углу
Домов
Она говорит: «Ну, счастливо!»
И я говорю: «Ну, давай...»
И улыбаюсь
Солнца, правда, нет в облаках
За веревку не держат
Змея не держат
И щелочки накрест. Я говорю:
«Увидимся»,
А сам и не знаю,
Увидимся или нет еще.

Вернулся в стадо и стал пастухом
Взял прутик
В карман — веревку
С утра вставал
Вставал легко, стал веселым
Шел из палатки
Считал на ходу, улыбался
А потом останавливался на виду у леса
И смотрел, смотрел
Смотрел, смотрел
О господи
Я вернулся...

Да, Ваня Овчинников приехал из Новосибирска уже с месяц назад. Наверное, он и сейчас в Москве, но не звонит. Хотя стихи его сильно на меня повлияли (еще осенью), но с ним самим мне было тяжело. Но и своим образом жизни он на меня очень повлиял: скитается, живет и кормится то тут, то там. Иногда пишет. О себе говорит все время. Он хочет тут что-нибудь опубликовать в журналах. Друзья ему устраивают это. Женя не верит, что выйдет.

Вообще же Ваня мужик очень хитрый, и по-своему жесткий. Это меня и отдалило. Но уж эти времена и забываются, что он у меня жил.

Вадиму¹ позвоню, пусть почитает письмо.

«Голубой портрет», о котором я тебе говорил, шел ту неделю, я не пошел еще раз, а Ваня видел, и Лена. Ваня говорит, что это снимали в их дачном поселке — он все места узнавал. У Вани завтра день рождения, пойду вечером к нему. Да, я тебя не поздравил тогда в начале марта — поздравляю сейчас. Вышло удачно: новый десяток на новой земле.

У Жени в Голицыне роман с другой Мишиной одноклассницей, а тогда он действительно обиделся на меня из-за Алёны. Даже не покормил.

Мы там ходили в лес — Женя, Шурик Хобби и я. Шурик — другой Мишин друг, пишет хорошие песни, и вообще парень очень приятный. Да, такого леса у вас там нет, сам догадываешься. Мы стали раскапывать склон и нашли шмеля в зимней спячке. Положили обратно, а то еще, все-таки, холодно. Вообще же, у нас весна очень ранняя — я сегодня пошел в училище с Зусом в твоём свитере, в первый раз надел. Ничего, но чуть широк.

Ну, давай, делай там все хорошо, пиши поподробнее, а мы тут тоже не зеваем. Мне в пятницу — шел из

¹ Поэт Вадим Шуляковский, мой друг еще с 203-й школы, где учителем литературы работал новомировский критик Виктор Исаакович Камянов.

Иностранки — пришло в голову, что Москва — это как Дублин. Провинция, уезжают, но родное место. Знаешь вот, если идти от Яузы вверх по Садовому к Курскому, а день солнечный. Или по Пятницкой вверх к Балчугу. Совсем Дублин... Миша.

Сейчас позвонил Витя, завтра зайдет.

Ну, все. Счастливо. Помягче там с арабами — помни мои заветы и что все люди братья. Да, была выставка еще одна на Грузинской. Мне ничего не понравилось. Зато там завязалась новая любовь. Самое смешное, что последняя запись в твоём блокноте об этом. А я за это время сильно успокоился о любви. Сам не знаю, почему — и ничего не прибавилось, а успокоился.

Ну — с любовью!

Михаил ФАЙНЕРМАН **Избранные стихотворения**

* * *

Звери не хоронят своих мертвецов,
и зима им не ведома.
А мы дрожим, мерзнем,
жмемся друг к другу.
— Ну что там теперь?
Расскажи.

* * *

Небо, полное птиц —
я позабыл его имя:
небо,
полное птиц.

* * *

А потом мы катались на велосипеде и говорили глупости.
Марина так и записала:
«Канавы, лужи, закатные облака, вечер.
Мы идем и болтаем глупости».

* * *

Есть люди,
которые
умеют плавать в воде.
Они просто плывут и не тонут.
Смотрите — зеленые рыбы.
Смотрите — зеленые волны.
Они просто плывут и не тонут.

* * *

Когда я был молод и не знал Дао,
многое приводило меня в изумление.
Теперь я жду день за днем
старушку в нашей библиотеке
с кошелкой
со стопкой книг.

* * *

Свет предосенний редок,
как колпак у чахоточного больного
в конце прошлого века.
Веки смежая,
пытаешься дотянуться
до полочки на потолке.
Тени и тени, немые,
не ругай меня, имя
всё равно твоё.

ЧИТАЮ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЮЛИАНА ТУВИМА

Лодзь — имя сквозь мех
привычки,
горбатым мостом к небу,
небо наших надежд,
узнаю и сникаю,
что станет со мной, если
погаснешь ты?

* * *

Как жёсткая зелень
арабских лугов
пробивается
сквозь любовь и ненависть
к высотам еврейского неба,
так и я
тоскую:
я ничего не помню
и ничего не хочу.

* * *

Касаясь
языком то нёба, то дёсен,
они не кровоточат, но болят,
дымлю, касаюсь,
касаюсь снова и снова,
думаю о своём.

* * *

городские люди
в электричках метро
бегут к своему счастью

* * *

Подумать о душе,
шажок за шажком,
чёрные старухи, осенние сумки,
«старухи в чёрных пальто...»¹

* * *

Как тень от солнца,
набежит бессознательное,
покрывая всё собой.

¹ «Старухи в чёрных пальто...» — строчка из стихотворения М.Файнермана начала 1970-х годов.

Я устал ждать,
скажи мне,
любишь ли ты меня.

ДЕТСТВО

Седьмое июня,
снова ехать в лагерь,
сколько слёз,
сколько слёз.

* * *

Просто-напросто дождь
холодные светлые капли
и пустота
совершенная пустота впереди
как будто поднялся в те сферы
где нет ничего земного
и только холмы облаков
белых, безмозглых, вечных
как печаль одинокого
которому, как известно
везде пустыня

* * *

Ивану Овчинникову

Ночь с субботы на воскресенье
озерцо мудрёной воды
и мороз, подымающийся со дна
а баба выскочила на босу ногу
и смеется, и трясет корзинку.

* * *

Стая за стаяй
птицы на север летят,
на север, домой.

* * *

Свет Божий
я увидел (впервые)
в междуречье Яузы и Неглинной.
Дальше автор ничего не может сказать,
эти слова кажутся ему такими прекрасными,
что он готов повторять
их снова и снова.
Или гулять
берегом Яузы
между складами, свалками, тонкими деревцами
четыреста лет назад:
от «Красного богатыря» до «Потешной больницы».
Автор хотел бы погулять берегом Неглинной.
Но осталось только устье.
А любимая река, Серебрянка,
ушла под землю уже на моей памяти...
Автор любит ходить к ее берегу.
Его собаки даже не знают, что здесь река.
А я знаю! — она всегда будет здесь.
Когда я увижу ее на поверхности снова —
как если бы я всплыл —
я умру спокойно.
Мы поменяемся с ней местами,
я вернусь туда, откуда пришел,
она станет
где ей положено быть...
Свет Божий
я увидел впервые
в блеске этой воды...

* * *

Иней
на зеленой траве,
память прошлого лета.

* * *

Это смерть, Санчо, это смерть!
выведи меня отсюда!

* * *

Октябрь,
каждый лист на счету,
их так мало осталось.

* * *

Тихо-тихо
в кадку капает дождь.

* * *

Радость
тех, кто выжил,
и грустная боль — кто погиб.

* * *

Тихо
с неба падает дождь.
Капли растут, приближаясь к земле...

* * *

Свет осенний
день ото дня короче.
Листья в желтом
падают сквозь этот свет.

* * *

Ветер с той стороны,
из-за полдня, рябь,
сумерки нашей тревоги...

* * *

Кошка на капоте машины —
не бабочка, но судьба.

* * *

Она любит ходить в театр, а я домосед —
как же нам встретиться?
Напишу ей письмо петушиными перьями
буковками
величиною с горчичное зерно ...

* * *

Я сказал,
что выкормил вороненка,
а на самом деле он умер.
Что может быть хуже
этих мучений? — он умер тихо,
покорный судьбе.

* * *

Харбека,
хаиригучи —
я потерял счет словам.
Дать им имя?
имя любви...

* * *

Очутиться одному, на ветру,
одному,
на ветру...

Владимир ВЕРЛОКА

(1974–2023)

В 2023 году наш бренный мир покинул поэт, энциклопедист, глубокий знаток средневековой поэзии и музыки Владимир Верлока. Этот уникальный автор, которого знал, без исключения, весь творческий Киев, оставил нам в дар не так много. Он окончил философский факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, занимался научной работой, трудился в библиотеке им. В.И. Вернадского. В издательстве «Каяла» готовится к печати монография Верлоки об этой библиотеке. Поэтическое творчество было лишь одной из ярких граней таланта этого уникального человека. Его литературные тексты издавались в журналах «Крещатик», «Многоточие», «Соты», а также в коллективных сборниках. В этот номер мы включили подборку сонетов Владимира Верлоки, венчающих (хотя и не являющихся, в строгом смысле, венком) его творчество.

Елена Мордовина

СОНЕТЫ

* * *

Измаешься от глупости умов!
Да собственный, поди, ничуть не лучше;
И вот уже в невероятный случай
Ты за глаза уверовать готов.

И, предположим, он случится вдруг,
Но ненадолго — ты ведь знал об этом.
И снова дни мерцают тусклым светом,
А на душе тоска или испуг.

И бездна на тебя положит взгляд,
И спрячешься в нее — себе не рад,
Но там, во тьме увидишь свет далекий.

Но бездне ты в ответ взглянешь в глаза,
На коих о тебе блеснет слеза.
И с ней почувствуешь себя не одиноким.

ENTRE NOUS

Целебна мята временных разлук —
Внимательнее чувствуешь детали;
Какими были и какими стали
Слова, тобою сказанные вдруг.

Их тишина сродни росткам травы,
Размашистому жесту снегопада.
Но интереснее всего, что так и надо,
Чтоб выветрилась дурь из головы!

Когда вернешься, я тебе скажу,
Что одиночество — бессмысленная жуть,
Которой и врагу не пожелаешь.

Но ты смолчишь, нахмурившись едва,
А мне твои припомнятся слова:
«Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь».

СОНЕТ К ЛЕКЦИИ 14 ДЕКАБРЯ 2014

Во времени теряются слова —
Их помнит камень, да молчит покуда.
Его спокойствие и есть возможность чуда,
Когда их музыка окажется права.

Но знаки ожиданий далеки,
Тропинки возвращений незаметны.
Лишь исподволь, по косвенным приметам
В тумане нас заметят маяки;

И то не всех. А многим тишина
Залижет память, как следы волна
Да воском забытья залепит уши.

Но коль к себе вернуться ты сумел —
Имеешь право отдохнуть от дел.
Вот музыка звучит — сиди и слушай.

ИГРАЯ В ГАМЛЕТА

А на могилах мёртвых языков
Однажды примерещится такое —
Угрюмый призрак книжного покоя
Заговорит, соврёт и был таков.

Вопросик старый — быть или не быть —
Привычным жестом гуглишь в интернете.
Но, понимаешь, кое-что на свете
Ясней, когда коннекта рвётся нить.

Подумаешь, — где взять бы языка?
Да снова не поднимется рука
От страха перед правотой молвы.

Твой в Лондон улетаёт самолёт.
И скорбно ВВС передаёт,
Что Розенкранц и Гильденстерн мертвы.

21 мая 2015

СОНЕТ К ЛЕКЦИИ 21 ЯНВ. 2015

Представь себя волной. Ее состав
Вполне текуч, но форма неизменна.
Покуда гордо вздыбленная пена
Не припадёт к стопам прибрежных трав.

Подумаешь, — остаться бы собой,
Уже и это было бы удачей!
Но море вечно думает иначе,
Тебя слизнув под полог голубой.

Но окоём, единый в этот час,
Шепнёт тебе: — Попробуй ещё раз —
Я поддержу, уж если станет худо.

И взглядом солнца поднята волна,
От глупого тебя пробудит сна.
И ты проснешься, чтоб взглянуть на чудо.

НА ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Хоть будь ты стар, но здесь ты — ученик,
Средь тишины, как тополь, вертикальной
В твой разум — то игривый, то печальный —
Врастает время корешками книг.

Они такое помнят, что тебе
И в страшном сне, наверно, не приснится.
Истрёпанные, смуглые страницы,
Как лица, постаревшие в борьбе.

И потому их сомкнуты уста,
Молчанье прочно, совесть их чиста,
Пока не потревожишь их вопросом.

Тогда уж береги свой идеал —
Услышишь точно то, чего не ждал.
Так на столицу наступает осень.

25–28 сентября 2015

* * *

Заплаканная девочка — весна,
До срока красоте своей не веря,
Ещё боится тронуть ручку двери,
Ведь знает — слишком ветрена она.

Но у всего бывает свой апрель,
Нас воздух заставляет удивляться
Простому расширению пространства
Движенью теплых, медленных недель.

А девочка становится стройней.
Опережая рост весенних дней,
Её черты выходят в свет из тени.

И вся природа, чинная на вид,
Свои законы разменять спешит
На яркое безумие сирени.

2–6 апреля 2016

ПАРОДИЯ НА РАЗГОВОРЫ О КОНЦЕ СВЕТА

Покуда дремлет пролетариат,
Считая покорённою природу,
Рождается в ней новая свобода,
В отместку всех убытков и утрат.

Владыка поломавшихся машин
Чтоб утром спекулировать трусами
Проснется. Посмотрите сам,
Как он прекрасен средь пустых равнин.

Се человек, — ты говоришь? Ага, сейчас...
Из телека раздастся трубный глас,
И ангел бесп(и)лотный свой полет

Вершит. Он, как бутылки, собирает души,
Имея план пристроить их получше
В том месте, где мобила не берёт.

Июль 2017

* * *

Ещё морочит головы зима,
Сугробами завалены предместья.
Какие-то безумные известья
Толкуются на окраине ума.

Да кто их слушает?! Бессмертна ерунда,
Политика противнее ангины.
И лишь проказы зимние невинны —
Опасны, словно мерзлая вода.

И тащится последний снегопад,
Которому никто уже не рад,
Среди обломков елочных игрушек.

Но скоро скучный кончится покой,
Как шоколадка, хрустнет лёд речной.
Придёт весна. Мы все слетим с катушек.

10–21 февр. 2017

НОЯБРЬ. ТУМАННЫЙ ПУТЬ

В тумане вдруг припомнишь что-нибудь
Из бывшего, или из книг старинных,
Из слышанных тобой рассказов длинных,
Что как туман вот этот, прячут суть.

И как воспоминание темно,
Так лишь слегка виднеется дорога.
От прошлого осталось так немного,
А где ночлег — пока не решено.

Ах, как похожи наши ум и тело!
Вначале оба движутся так смело,
Пока светло, и все вокруг так ясно.

Но над дорогой всё идут туманы —
Уму не избежать самообмана —
И каждый шаг становится опасным.

10 ноября 2017

* * *

Да мы не будем спрашивать всерьёз
Всех тех, кто к нам приехал в БТРе.
Ведь каждому по маленькой, но — вере
Раздать пообещал Иисус Христос.

Само в небрежных и слепых руках
Крошиться, как печенье, государство.
В злодействах убеждённых нет коварства,
Скорей энтузиазм, но он же — страх.

Конечно, ничего не решено!
Но червякам могильным всё равно —
Кому служил ты и во что ты верил.

Придёт опять какой-то кто-нибудь
Прекрасны снова станут гнев и жуть,
А контурные карты — снова белы.

11 июня 2018

СОНЕТ ВИНЫ И ПРОЩЕНИЯ

Господи! У нас на лицах стыд,
потому что мы согрешили перед Тобою.
А у Господа нашего милосердие и
прощение, ибо мы возмутились против Него.
Кн. Пророка Даниила. IX. 8–9.

Since my appeal I did strive to prove
The constancy and virtue of your love.
W.S. son#117

Когда неосторожность языка
Качнёт тяжелый колокол обиды,
Окрест вдруг станет ничего не видно,
И в пустоту протянется рука.

Как пойманный воришка, куцый ум
Впотьмах на ощупь ищет оправданья.
Так вот какой на вкус он — хлеб изгнанья,
Как давит на уши молчанья гулкий шум!

Но Бог нас видит даже в темноте.
Он скажет: «Ты сказал слова не те;
Но дело прошлое, и с кем то не бывало!»

И некто, кто живёт вблизи дубрав,
Подумает, что Бог, наверно, прав.
И давний разговор начнет сначала.

22–25 ноября 2017

СОНЕТ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ

Амур, возьми-ка свой гранатомёт,
Хотя и пьян ты — целься тщательнее.
Ещё прекрасны голова и шея,
Которые твой залп сейчас снесет!

Провозглашай Республику свою!
Свобода нам порядком надоела.
Амура в президенты — это дело!
Свою свободу даром отдаю.

Мне говорят, свобода — редкий дар.
Но где мой дом был там теперь пожар,
Так под ярмо я сам подставил выю.

И полюбив, я всех лишился прав.
Правитель мой и злобен и лукав
Но красоты я принял тиранию.

* * *

Случайно ли припомнится потом
Казавшееся раньше незаметным —
Аукнется нечаянным сонетом
Все, что забыть уже ты был готов.

А то ещё — прелестная мечта
Улыбкою лукавою поманит.
И в сущности не то, чтобы обманет,
Но всё-таки окажется не та.

И что за радость — впутаться в сюжет,
Которому развязки толком нет —
Лишь хлопоты, потери да дороги?

Да, разные бывают времена,
Но стало быть, ещё ты жив сполна,
Коль голову тебе морочат боги.

СОНЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Воротишься на родину...
Бродский

Закажет ли зима в обратный путь,
Закружит ли карпатская позёмка, —
Среди пути, у родины на кромке
Остановись чуть-чуть передохнуть.

А готика тобой пройдённых стран
Ещё щекочет шею и лопатки.
Но ты как Одиссей, а взятки гладки
С того, кто переспорил океан.

Так возвращаясь на круги своя
Привычного, простого бытия
И радуясь вещам обыкновенным.

Заметишь только, что был прав поэт
И вдоволь наглядясь на белый свет
Себя душа готовит к переменам.

Декабрь 2019

ВСПОМИНАЯ ГЕРАКЛИТА

Над Дарницею вечер и зима.
И едоки картофеля кругами
Бредут меж неуютными домами,
Пока следы их поглощает тьма.

Но отдых им сулит привычный быт —
Гул новостей да шёпот разговора,
Рука спеша задёргивает шторы,
Пока за ними город не следит.

И белая слетает тишина
В ладошку человеческого сна,
Скрывая опустевшие дороги.

И пьяненький невзрачный мужичок
Внезапно говорит мне: «Слышь, браток, —
Пойми, здесь тоже обитают боги».

Декабрь 2019

* * *

Теперь ты слышишь, как растёт трава,
Как мышь грызёт Троещины остатки,
Весенний страх хватает за лопатки
И катятся ничейные слова.

Их выронил больной беззубый рот,
В котором обитает глас народа.
Не рыпайся, а хрен тебе свобода,
В такой уж слишком високосный год!

Приди однажды на пустой Майдан.
Тот шум, которым был когда-то пьян
Стал слишком нехорошей тишиною.

Теперь твой ужас — не огонь и дым,
Не тот, кто был тогда врагом твоим,
А некто, кашлянувший за спиною.

2 мая 2020

ОСЕННИЙ ИЛИ ПОЧТИ ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ С ЕДВА ЗАМЕТНОЮ ФИГУРОЙ ВДАЛЕКЕ

И. Г.

Пока огни осенних холодов,
Как наши одиночества — случайны,
Нас радуют бесхитростные тайны
Провинциальных тихих городов.

Листва теряет быстро рейтинг свой
И выборы проигрывает с треском,
А самый хитрый гений — гений места,
Забыв, но как всегда — всегда живой.

А дальше тишина — ответа нет,
Лишь вдалеке мелькнувший силуэт
Махнет рукой тебе или другому.

Не спрашивай, откуда знает он,
Что этот путь твой — лишь тяжелый сон,
Но с каждым шагом ты всё ближе к дому.

3–6 декабря 2020

СНОВА О ГЕНИИ

Пока нам гений, парадоксов друг
Готовит до фи́га открытий чудных —
Блуждаем мы средь наших мыслей скудных,
А гений вызывает в нас испуг.

Что там задумал этот странный тип?
Каким-то светлым будущим одарит?
Иль ерунду очередную впарит?
Внимательнее будь, пока не влип!

Припомни опыт, сын ошибок трудных,
Чреду последствий мелких и занудных.
Игрушкою чужой не стань опять.

Итак, чтоб не попался ты повторно —
Воздвигни сам себе нерукотворный,
А гениям не стоит доверять!

7 июля 2021

* * *

Не будет нас — останутся слова,
Обрывки недопитых разговоров,
Обжитый и забытый нами город,
Пустой, как ясли поле Рождества.

Предместья, что твои черновики,
Истрёпанные скучной непогодой, —
Фантазии становятся природой,
Прекрасны тем, что слишком далеки.

Так постепенно забывая нас,
Пространство превращается в рассказ
С достаточно условным персонажем.

Но отдавать в печать его постой, —
А вдруг и он окажется живой,
Да мы об этом никому не скажем.

Январь 2022

* * *

До дыр зачитан список кораблей.
Но плыть куда — пока никто не знает, —
В Европе нам Европы не хватает,
А Азия и ближе и милей.

Пока константинопольский гашиш
Нам кружит голову и тихо вяжет ноги,
Мы даже без особенной тревоги
Берём их барактар, урюк, кишмиш.

Так свой народ и Родину любя,
И веря в героизм самих себя,
Мы искренне мечтаем о победе.

Но вновь взглянув на список кораблей,
Мы станем осторожней и грустней,
И все-таки куда-нибудь уедем.

30.10. 2022

* * *

Над вздыбленной землёю небеса
Мрачны, но удивительно спокойны.
Им помнятся бесчисленные войны,
Им слышны всех несчастных голоса.

Не то, чтобы бесчувственны они,
Но плачет небо пресными слезами.
И смотрит светло-серыми глазами
На самые безжалостные дни.

Не сомневаясь — и они пройдут.
И чередой своей свершится суд,
И том истории уляжется на полку.

А память — удивления сестра,
Ее спросить давным-давно пора:
Так был ли толк? — Да никакого толку!

7–13 декабря 2022

Борис ЮДИН

(1949–2023)

Копаясь в интернете, иногда обнаруживаешь любопытные вещи — о самом поэте написано буквально несколько строчек, и повторяются только они в десятках публикаций, но в приложении к краткой заметке длинные списки его публикаций и о нём, по всему миру в альманахах, журналах, газетах и т.д. Громадное количество стран, а о самом поэте и написать практически нечего, хотя он был довольно известен. И на мой взгляд был хорошим, настоящим Поэтом.

Борис Юдин родился в Даугавпилсе в 1949 г. Окончил филологический факультет Даугавпилсского педагогического института. Писал не только стихи, но и прозу. С 1995 г. жил в США, в штате Нью-Джерси. Умер в 2023 г.

«Борис Юдин — поэт устоявшейся традиции, но в рамках этой традиции он давно нашёл свою интонацию. Лёгкий налёт иронии только обогащает лирическую наполненность стихотворного высказывания, свежесть и чистоту поэтического взгляда», — написал о нём поэт Даниил Чкония.

«Стихи Бориса Юдина дышат искренностью, нежностью, наблюдательностью, иронией и самоиронией», — отмечает критик Мария Уздина.

Василий Иванов

ВМЕСТО БИОГРАФИИ

Там, где на карте река провисает под тяжестью города,
Был молодым... Впрочем, что я? Там все были молоды.
Мёдом стекал млечный путь и ложился дорогами.
Ложками — ложь. За порогом — этапы с острогами.

Ох, как строга острога, и река, и сомовьи владения...
Мать — приключенья под ключ. Но блины — объедение!
Рыхлость Рахилей, Лий рахитичность и запахи затхлые.
Глубже пальто запахнуть — и не видно, что брюки заплатаны.
Рубль до зарплаты, похмелье, и грани отчаяния.
Разом гранёный — и всё по колено, и без покаяния.
Вот и не видно, не видно, и веки у Вия не подняты,
Не исчезает в пространстве убранство спартанское комнаты.
Да и пространство — простор простыней и прострация...
Галлюцинация всё это.
Галлюцинация.

* * *

Если выпадет снег и прикроет листвяную падаль,
Хрупкость первого льда и дорог комковатую мглу.
Если выпадет случай из рук чашкой чая и — на пол,
То, конечно, мы встретимся возле часов на углу.
Если выпадет дама бубён, непременно приедем,
Но сперва не узнаем друг друга в толпе у метро,
В окнах жадных троллейбусов, в лицах собак и соседей,
В неуютности липкой гостиничных номеров.
Если ляжет крестовая, буду ходить неприметно,
Озираясь тревожно, как изгнанный из дому пёс.
И давать объявления странные в местных газетах:
Одинокий брюнет... хочет встретить... Кого? — вот вопрос.
Станет вечер и выйдет из комнат червонная дама,
Нарисует сердечко помадой губной на стекле.
Будет осень упряма, бумагой заклеены рамы,
Чтобы ноги в тепле, а колода на нашем столе.
Открывай же пиковую! Ветер на улице взвояет.
Будут карты нам врать про любовь. И всю ночь напролёт
Будет снег бинтовать наши раны, чтоб не было крови.
Вот тогда непременно хоть кто-нибудь в гости придёт.

* * *

Помнится что много лет назад
В городе забытом Даугавпилсе
Я стократно повторял: «Сократ»,
Но увы! Мудрей не становился.
Там... а может, вовсе и не там
Годы распадалась на минуты,
И на кухнях жил портвейн «Агдам» —
Он покруче был любой цикуты.
Утопали улицы в пыли,
Солнце заходило на востоке,
И текли во все края земли
Строгие железные дороги.
Воет дикий ветер за дверьми
Трубами военного парада.
Поумнеть не вышло, чёрт возьми!
Впрочем, это не вина Сократа.

* * *

Загадай мне загадку. Всё равно я отгадку не знаю.
Погадай по руке и ответишь сама на вопрос.
Начинается осень промозглая, злая-презлая,
Исподлбья смотрящая в мир, как обиженный пёс.
Начинается осень. Холодные капли — за ворот.
За воротами грязь. Я сегодня слегка подшофе.
Мнут машины шоссе. Мокнет где-то непонятый город.
В нём с весны остывает невыпитый кофе в кафе.
Жаль, что я не приучен держать себя в рамках. А в рамках
Отражён позапрошлой любви неприрученный быт.
Там постель холодна, словно в морге шлифованный мрамор,
И прозектор в перчатках резиновых рядом стоит.

Что ж на завтра загадывать? Без толку книги на полку
Не клади, не грусти, новогодних подарков не жди.
А спроси меня лучше про ножницы, зайца и ёлку.
Я придумал ответы: Депрессия. Осень. Дожди.

* * *

Обнажены, напряжены, как провода под током,
Два юных тела по весне и кажется вполне,
Чуть только брызнут дерева горячим спелым соком,
Готовы девочки к любви, а мальчики к войне.
Готовы девочки раскрыть объятий обаянье,
Готовы мальчики за них пожертвовать собой.
Какой невидимый магнит неудержимо тянет
Тристанов к прелестям Изольд в губительный прибой?
Вот так планирует звезда в ладони летней ночи,
Так рвётся в устья рек лосось, а мошकारа на свет,
Стремясь в узорочье листвы, сдирают кожу почки,
Строкою мучится поэт, и тяжек ход планет.
Чтоб было всё предрешено, беременна солдатка,
Чужой любовью дышит ночь, отворено окно,
И морщит лоб мордатый Сфинкс, чтоб выдумать загадку,
В которой жизнь, любовь и смерть переплелись в одно.

* * *

Уехать бы из стороны,
Где волны зыбкостью больны,
И мы весь день обречены
Глазеть на пальмы, —
В тот край, где утверждают сны,
Что в мире липкой тишины

Они пророчески важны,
И предвкушение весны
Материально.
Где мордочки приезжих краль,
Поправ семейную мораль,
Любвеобильны.
Где Пастернаковский февраль
Рыдал чернильно.
Туда, где в бездорожье карт,
И чёрных оспинах проталин
Юоновский прозрачный «Март»
Сверхлевитанен.
Но тень от крыльев — на лицо:
Как ни мечтай, в конце концов
Наглеют чайки.
Бескрайна горькая вода,
В депо ржавеют поезда,
И обручальное кольцо
Так обречально.

* * *

Я в запой не уйду и на Дальний Восток не уеду.
Мне налево — лениво, направо — упущен момент.
А в песочнице мальчик куличики лепит к обеду
Из нелепостей Дантова ада и древних легенд.
Вот он мифами формочку, словно песком, набивает
И ладошкой своей отбивает неслышимый такт.
Я бы сел рядом с ним, но туда не выводит кривая,
А прямая — не к месту и выглядит как-то не так.
Геометрия русских дорог — вне ученья Эвклида:
Клином — клин, посох в руки и рюмочку на посошок.
На фиг мифы! Есть фи́га в кармане, старуха, корыто,
И на шпиле московском распят золотой петушок.

Отпустите меня, безразмерные русские вёрсты!
Жив ещё Минотавр и туристом истоптанный Крит.
Лепит мальчик кулич из песка. Засыпают погосты.
Постою, подожду. Он, надеюсь, меня угостит.

НЕГА СНЕГА

Нега снега.
И сводит с ума
Белопенное это кипенье,
Погружение в головокружение,
И предпраздничная кутерьма.
С неба — снег, а бретелька — с плеча.
Новый год... Стол украсился снедью.
Дребезжит телефон мелкой медью:
«Всё случайно, случайно, случа...»
А пока... Ждут улады уста,
Грезит Золушка музыкой бальной,
Нежен снег и фатальна фата,
И любовь, словно смерть, моментальна.

ПЕГАС

Ах ты, конь мой синегривый, белое лицо!
Что ж ты машешь надо мною вороным крылом?
Ветви яблонь истекают золотой пылью,
И потоки птичьей страсти омыают дом.
Слышно светлыми ночами, как растёт трава,
Занимаются любовью толстые жуки,
Тихо шепчут водяному сладкие слова
Две молоденьких русалки в глубине реки.
Что ж ты, конь мой синегривый, русский мой Пегас,
Вместо слов цветастых даришь только черноту?

Полночь входит тихой сапой, и ночник погас,
И лежит новокаином немота во рту.
Ты не вейся, ты не ворон, ты всего лишь конь.
Сядь, покурим, выпьем водки... На вот — закуси.
Дай на счастье погадаю. Покажи ладонь.
Не тревожься — до Парнаса я возьму такси.
В рюмку горькую тихонько оброни кольцо,
На столешнице, как скатерть, расстели рассказ.
Ах ты, конь мой долгогривый, бледное лицо!
О любви да об удаче в следующий раз.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Трёхлинейка давно прислонила к стене
Свой воронёный ствол,
Но Ворон не может забыть о войне,
Даже садясь за стол.
Он Ворон, он Вран — он чует, где враг,
Суров и колюч его глаз.
Всю ночь свозили трупы в овраг.
Зарыли — и весь сказ.
Всю ночь надрывался, кричал «воронок»,
Что он не «Конь вороной»,
«Максим» плевался, пока не заглох,
Тяжёлой свинцовой слюной.
И говорил, что смертельно устал
Горячий, как кровь, наган.
А то, что кричали: «Да здравствует Ста...» —
Уловка врага и обман.
Ворон каркнет. Победа взмахнёт крылом,
Поведёт от беды да к беде,
И историк запишет своим стилем
Кто кого победил и где.

Самогона гранёный — всего ничего.
Ворон в сало вонзает нож.
И топорщатся перья на горле его,
Как шомпола жесткий ёрш.

* * *

Местечковые гении с прокуренными зубами...
В тесных кухнях они не говорили — вещали.
И вращали планеты над головами.
Так Давид вращал пращу,
Чтоб без промаха — в Голиафовский лоб,
В паутинку мишени,
И заверещат дверные замки по ночам в стенах камер,
И конвойные рявкнут: «На выход с вещами!»
Городские пророки пили жидкое пиво из кружек.
Это искусство — сдуть пену так, чтоб не попала на брюки.
Это искусство вдвойне — разящая фраза,
Чтобы, рот разиня,
Стояли разини на грани экстаза,
В поллюциях революций.
Ведь, когда говорят поэты,
Молчат пушки.
Но тут же
Пушки чихнули, натужась.
Вспомнили пушки
Персиковый пушок у Пушкина на верхней губе.
Державин благославляет, во гроб сходя... Экая душка!
И кто-то в песенке играет на трубе.
А кто — неизвестно.
Снова на выход?
Но я уже выходил.
Пиджак, выходные ботинки, и радио бодро орало,

Что мечет мечи из орала.
Только не помню — что это было.
Но ведь был же какой-то повод для?
Помню только овации зала.
Помню только — наручники жали.
Городские пророки справляют поминки
По старым пластинкам.
Вздохи Бога, портреты от Босха...
Тирли, тирли, пропели, проели, пропили, проржавели...
Жалко.

* * *

Лёгкость рук и откровенность взглядов,
Рюмок запотевшее стекло,
Сладость губ и горечь шоколада
Да ликёра липкое тепло,
Облаков свинцовые белила,
Воробьиный щебет по утрам...
Господи! Когда всё это было?
Кажется ещё позавчера.

* * *

Я слово жду. Чтобы случайно
И изначально беспечально...
Так алкоголик возле чайной
Стоит и безнадёжно ждёт.
А вдруг да некто окрылённый
Спорхнёт с плеча и, умиленно
Купюрой пошуршав зелёной,
Стакан спасительный нальёт?
Так ждёт клиента проститутка,
Но не снимают третьи сутки.

Ночь, улица, фонарь и жутко
Молчит аптека, умер Блок,
Серп отражается на лужах,
И сын наверняка простужен,
Ментам опять «субботник» нужен,
И сутенёр жесток, как Бог.
Так сучки в течку жаждут случку,
Так ждут рабочие получку,
Так бабушка ждёт в гости внучку
И вздрагивает от звонка.
Вот так и я. А ведь могли бы
Дождей простуженные всхлипы,
Закатов золото на липах
И песни, что пропели рыбы,
Сложиться в слово. Но пока...



ИЗО

Пинхас ФИШЕЛЬ

(Париж)

«МЕГИЛАТ ЭСТЕР» В СТИЛЕ «АР ДЕКО»

Пинхас (Павел) Фишель — украинский художник, дизайнер, скульптор, график и иллюстратор, родился в 1971 году в Киеве. Он окончил Республиканскую художественную школу имени Т. Г. Шевченко в 1990 году (преподаватели — Олег Животков и Зоя Лерман), а затем Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры в 1996 году, где обучался на факультете живописи и театрально-декоративного искусства (преподаватель — Даниил Лидер). В 1999 году проходил стажировку в Иерусалимском университете.

Пинхас Фишель известен своими экспериментами в живописи и скульптуре, включая использование авторских подрамников и замену традиционных материалов, таких как масло, на пластилин. Творчество Пинхаса Фишеля охватывает живопись, скульптуру, сценографию и книжную иллюстрацию. Он получил президентскую премию Украины в 2016 году за иллюстрации к книге «Шахламоне́сы» Григория Фальковича.

Работы П. Фишеля представлены в частных коллекциях по всему миру, включая Украину, Францию. Эстонию, Нидерланды, Англию, Бельгию, Германию, Испанию, Израиль и США.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Пинхас Фишель с семьёй был

вынужден покинуть Киев. Сейчас художник живёт и работает в Париже, где у него за 4 года состоялось 6 персональных выставок.

В июле 2024 года П. Фишель провёл выставку «Resistance»; в павильоне Давиу в Люксембургском саду в Париже. Его работы исследуют темы сопротивления, конформизма и баланса между индивидуальностью и обществом.

Мы попросили художника вкратце рассказать о работе над «Мегилат Эстер», издание которого с иллюстрациями Пинхаса Фишеля планируется в 2027 году. Читатели «Нового Гильгамеша» смогут первыми увидеть эти иллюстрации на страницах нашего альманаха:

— *Пинхас, какой момент в жизни вдохновил вас начать создавать иллюстрации к «Мегилат Эстер»?*

— Тут необходима небольшая предыстория. Случайная встреча в пути, после нашего отъезда из Киева, привела нас в Париж. Мы приехали как раз на праздник Пурим, когда во всех синагогах мира читается «Мегилат Эстер». Мы оказались в синагоге на улице Монтевидео, 31. Община «Огель Авраам», которой принадлежит эта синагога, приняла нас, предоставив не только жилье, но и все, в чем мы нуждались, даже музыкальные инструменты и личное разрешение мэра Парижа, мадам Идальго, бесплатно парковаться в любом месте. Естественно, мне хотелось как-то выразить благодарность. Я заметил, что книги с текстом «Мегилат Эстер», которыми пользуются в общине, могли бы быть лучше проиллюстрированы, и предложил сделать новое издание со своими иллюстрациями в подарок общине.

Незадолго до этого во время чтения свитка «Мегилат Эстер» в синагоге я ощутил нечто вроде видения, дливше-

гося не более одной секунды, скорее это было даже не видение, а словно состояние транса перед отходом ко сну, когда образы сна уже как бы входят в известный нам окружающий мир, в обстановку комнаты и т.п. И это было мгновение, когда мне показалось, что эти древние события и герои свитка Эстер вошли в синагогу и описанные там события происходят прямо перед нами. И я подумал, что интересно было бы создать такие иллюстрации, где фоном известных исторических событий были бы интерьеры синагоги и предметы, знакомые каждому прихожанину. И так родилась идея оформления.

Поскольку основная интрига, лежащая в истоках моих иллюстраций к «Мегилат Эстер», заключается в том, что это древние события, происходящие в парижской синагоге на улице Монтевидео, 31, очень сильное влияние на мои иллюстрации оказал сам характер оформления интерьеров в стиле Ар-Деко, в котором построена эта синагога.

Поэтому получилась такая современная «ардекошная» книга. Сейчас еще только идет верстка и возможно, в процессе, будут добавлены еще иллюстрации. Однако, в основном, работа по оформлению закончена.

Во время работы над созданием иллюстраций мне пришлось овладевать огромным пластом комментариев и мидрашей, знакомиться с разного рода представлениями, которые связаны именно с праздником Пурим. Я совершил ряд личных открытий. Поскольку я все-таки мыслю как театральный художник, мне было важно понять, откуда берется (по Чехову) «ружье, стреляющее в конце»? Где оно до этого должно было висеть? В случае с «Мегилат Эстер», роль ружья исполняет царский конь, на котором восседает Мордехай по царскому указу, и злодей Аман обязан оказывать еврею почести. И с этого эпизода начинается «падение» Амана и всех, кто был с ним связан в антисемитском заговоре. До этого всего один раз появляется

упоминание о коне в тексте книги. Когда Аман, представляя себя царем, описывает, как он видит царские почести, и среди атрибутов власти, типа царской одежды, короны, Аман упоминает царского коня.

Мне удалось найти в комментариях к Мегиле мнение, что Артаксеркс (Ахашверош по-еврейски) не был царем по происхождению, а был старшим конюхом при правителе Вавилона Балшацаре. То есть знал и любил лошадей. Так у меня возник еще один значимый персонаж мегилы — царский конь. На нем восседает Ахашверош, одевшись в одежды первосвященника, демонстрируя всю полноту и универсальность своей власти. С конем Ахашверош проводит время в момент, когда к нему приходит Эстер просить за свой народ. Если бы это был мультфильм, видимо подобных эпизодов было бы больше.

Несмотря на то, что казнь Амана не вошла в иллюстрации, но раздумывая о возможных изображениях ее, я тоже открыл для себя много ранее не известного. Во множестве свитков изображают Амана и его сыновей повешенными на дереве (как казнили в Европе). Иосиф Флавий пишет, что Аман был распят (римская казнь), но современные историки говорят, что ни повешенья, ни распятия в Древней Персии не было. Основной казнью было насаживание на кол и вывешивание на всеобщее обозрение. В общем можно было много всего узнать за полтора года.

И сама стилистика работ не была для меня легкой, и я очень обрадовался, когда мне позволили продолжить работу над изданием так долго, как мне требовалось. Глава общины сказал мне, что, поскольку это будет экстраординарная книга, то неважно, сколько времени это займет. И сегодня, несмотря на то, что художественная работа над книгой практически завершена, продолжается еще процесс верстки и формирования цельного образа книги, и, ви-

димо, «Мегилат Эстер» с моими иллюстрациями, с Божьей помощью, увидит свет в следующем году.

Кстати, когда большая часть иллюстраций уже была сделана, оказалось что в Париже в этом году отмечают столетие Ар-Деко и в музее декоративного искусства проходит прекрасная выставка, посвященная этому стилю. Как-то я поймал сигналы времени.

Я очень благодарен своей жене и детям, которые были не только первыми зрителями и критиками моих иллюстраций, но и позволили мне в течение почти двух лет заниматься работой, не приносящей прямой выгоды, почувствовать себя, таким образом, свободным человеком по высказыванию Аристотеля, который сказал, что только раб работает исключительно за деньги.

— *Можете ли вы сравнить, как протекала ваша работа над иллюстрациями к «Шалахмонесам» Григория Фальковича и теперь работа над «Мегилат Эстер»?*

— Пожалуй, главное отличие в том, что в течение десяти лет, прошедших от начала создания образа книги до решения ее издать, никто, кроме меня, и поэта Григория Фальковича не верил, что «Шалахмонесы» увидят свет. Современная — средневековая книга, невероятно сложная по полиграфии (каждая страница с рельефом), революционная по наполнению (это первые в истории литературы еврейские стихи для детей на украинском языке). Для этой книги в момент ее появления не было читателей. Украинцам были не близки еврейские темы, а евреям в большинстве своем в начале 3-го тысячелетия был не близок украинский язык). Эта книга опередила время. И была издана в 2016 году, когда общая ситуация коренным образом изменилась.

Что же касается «Мегилат Эстер», здесь все гораздо понятней. В ее выходе заинтересованы, и она не сложна в смысле полиграфии, и в отличие от «Шалахмонесов», вряд ли будет очень дорогостоящим проектом.

Однако есть черты, объединяющие обе книжки. И стихами прекраснейшего Г. Фальковича, и текстом «Книги Эстер» я начал заниматься по собственному желанию, и совершенно бесплатно, здесь таится какая-то магия. Есть какие-то уровни творчества, которых невозможно достичь, руководствуясь меркантильными интересами. Занимаясь «Шалахмонесами» я стал совершенно другим, более глубоким художником, а иллюстрируя «Мегилу», я вновь смог почувствовать себя свободным человеком, и это дорогого стоит.

Подготовила Анна Лобановская



מגילת אסתר Megilat Esther



































**«В каждом из нас есть
что-то от Одиссея, когда
мы ищем самих себя,
надеемся дойти до цели
и вновь обрести родину,
свой очаг. Но, как в
лабиринте, в каждых
скитаниях существует
риск заблудиться.
Если же тебе удастся
выйти из лабиринта,
добраться до своего
очага, тогда ты
становишься другим».**

Мирча Элиаде

